ФИЛИПП ВЕЙЦМАН



ТОМ 3

1981



Сарра и Филипп Вейцман

ФИЛИПП ВЕЙЦМАН

БЕЗ ОТЕЧЕСТВА

ТЕЛЬ-АВИВ
1981

ТОМ ТРЕТИЙ

НА ЧУЖБИНЕ

Вот она — граница! Прах твой отряхаю,
О, Страна Родная! я с усталых ног...
И хоть с болью в сердце, но переступаю
Навсегда, конечно, через твой порог.

Память, не тревожь мне душу грустью тайной,
И угасни, пламя, у меня в груди:
Верности ненужной Родине случайной,
К мачехе недоброй пасынка любви.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В ИТАЛИИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: В пути.

В шестиместном купе, польского вагона первого класса, поместилось пять человек: нас трое и два папиных сослуживца по Экспортхлебу. Один из них, хорошо знавший Варшаву, посоветовал нам остановиться дня на два в этом городе, обещая свести в театр, и показать главные достопримечательности польской столицы. Мой отец колебался: с одной стороны ему хотелось воспользоваться случаем, но, с другой стороны, он ехал на службу, и не в его обычае было терять время, когда он знал, что там, в далекой Генуе, его ждет серьезная работа; но, пока, впереди имелся целый день пути и торопиться с решением этого вопроса было нечего.

На первой небольшой станции мы услышали крики, по-русски, польских газетчиков: "Русские газеты! Русские газеты!" Сразу бросилась в глаза старая орфография. Это были ежедневные органы белой эмиграции, выходящие в Варшаве.

В Слонюме к нам в купе села молодая, красивая польская девица, лет двадцати. Мой отец попытался заговорить с нею по-русски, но в ответ она только улыбалась и повторяла: "Не разумию цо Пан мове". Однако она довольно неплохо изъяснялась по-французски, и на этом языке папе удалось от нее узнать, что ее зовут Зося, что она чистокровная варшавянка и, что прогостив некоторое время в Слонюме, у своей тетки, она теперь возвращается домой.

Сослуживцы моего отца оказались шахматными мастерами. Один из них, изрядно соскучившись в дороге, предложил другому сыграть с ним партию. Шахмат у них не имелось, и тут я впервые в жизни увидел как два настоящих шахматиста играли без

доски. Каждый из них, по очереди, указывал словесно, без всяких записей, буквой и цифрой, сделанный им мысленно ход, и все ходы, и все варианты игры оба держали в своей памяти и никогда не ошибались. Удивительно!

Вопрос о том, остановиться ли нам на два дня в Варшаве, все еще не был решен; но подъезжая к ней, мой отец, всегда любивший ездить с максимальными удобствами, и даже с известным шиком, попросил, по-французски, юную польку, указать ему адреса лучших варшавских отелей. Паненка ехидно усмехнулась: "Как же так? Пан из социалистической страны едет, а в лучших отелях останавливаться хочет!" Однако адреса дала, но папа ими не воспользовался, и в последнюю минуту решил продолжать свой путь без промедлений. Солнце уже садилось, когда поезд прибыл в Варшаву. Девица опустила окно и стала звать носильщика: "Пст! пст!" Меня это очень удивило и покоробило: в СССР, когда зовут носильщика, то ему кричат: "Товарищ насильщик!", а не как собаке: пст! пст! Во мне тогда было еще много наивного идеализма.

На варшавском вокзале мы попрощались с нашими спутниками. Курьерский поезд "Варшава—Вена" отходил ровно в 22 часа.

Снова ночь в международном спальном вагоне. На этот раз, чтобы не беспокоить спящих пассажиров при переезде границ, паспорта были у всех отобраны в самый момент отхода поезда из Варшавы. Утром мы уже пересекали Чехословакию, и вскоре в вагоне зазвучала немецкая речь. В полдень поезд прибыл в Вену. Вспоминая теперь наше путешествие, я удивляюсь плохой организации, существовавшего в ту пору, западноевропейского железнодорожного движения. В Вене мы узнали, что вагона прямого сообщения, идущего в Геную, просто не существует. Отец, со своим служебным паспортом в руке, пошел объясняться к начальнику станции, который проявил себя очень предупредительным человеком, и забронировал для нас, в поезде, отходящем около полуночи в Венецию, отдельное купе первого класса, на три места. В Вене мы провели полдня в прогулках по городу. Обедали в хорошем ресторане и ели знаменитый венский "шницель". На закуску отец меня угостил бананом — фруктом, о котором доселе мне приходилось только изредка читать. В общем, я убедился на собственном гастрономическом опыте, что далекие путешествия полезны юношам, и сильно расширяют круг

их познаний. К вечеру мы все изрядно устали, а я еще немного простудился, и у меня слегка разболелось горло. Наконец настал час отъезда. Мы уселись в приготовленное нам трехместное купе, и устроились в нем, как могли лучше. Все же спать нам пришлось сидя.

Проснувшись утром и взглянув в окно, я сразу примирился и с усталостью, и с простудой: за окном высились горы, низвергались водопады, зеленели хвойные леса, а по склонам гор лепились маленькие селения с островерхими церквами, и расстилались зеленые луга. Ныряя из туннеля в туннель, поезд пересекал Тирольские Альпы. Заметив мой восторг, мама мне напомнила, что в этом году мне сильно повезло: вместо подготовки к началу занятий, я теперь сижу в поезде и любуюсь таким необычайным видом.

Еще одна граница: финансовая гвардия в зеленых шапочках с маленьким воткнутым в них пером, карабинеры в наполеоновских треуголках и звучная, певучая итальянская речь, заменившая немецкий отрывистый, несколько гортанный говор. На одной из станций в наш вагон вошла группа фашистов в черных рубашках. Вот они — враги коммунизма и трудящихся! Я ожидал увидеть каких-то разбойников, угрожающе глядящих на всех пассажиров. К моему удивлению это были, в своем большинстве, молодые, приятно улыбающиеся итальянцы, с лицами приветливыми и симпатичными.

В десять часов утра мы приехали в Венецию. На станции нам сказали (отец объяснялся с итальянцами по-французски), что поезд прямого сообщения отходит в Геную только на следующий день в 8 часов утра, но в 13 часов имеется другой поезд, идущий в Милан. Мы решили сесть в него, и перетерпеть еще одну пересадку. Чтобы убить время, отец нанял гондолу, и мы немного покатались в ней по Большому Каналу. Царица Адриатики, при моем с ней первом знакомстве, мне не понравилась. Я слишком устал в дороге, и не был способен воспринять все великолепие этого, увы, медленно умирающего, но единственного в своем великолепии, города. Зато я сразу был поражен грязью каналов и дохлыми кошками, плывущими в них по течению. Снова посадка в вагон, и только вечером мы прибыли в Милан. Поезд в Геную отходил ровно в полночь. Поужинав в станционном ресторане, мы, очень уставшими, сели в неспальный вагон первого класса, и приготовились, сидя, провести в пути нашу четвертую ночь.

К счастью еще, что мест свободных было много, и мне удалось лечь и растянуться во всю длину; это было воспрещено, но когда контролер, войдя в наш вагон, понял какой путь мы совершили, и как устали, то ограничился тем, что попросил подложить под ноги газеты. Милые итальянцы с их добрым сердцем!

Поезд еще стоял на миланской станции, когда я глубоко уснул. Была темная ночь; сквозь сон я услыхал голос моего отца: "Проснись, Филя, приехали!" Я, с большим трудом, открыл глаза. За окном, во мраке, виднелись очертания гор, и мелькали огни Генуи. На станции отец нанял такси и велел везти нас в хорошую гостиницу в центре города. Через десять минут мы оказались в отеле "Бристоль", и сняв в нем номер, тотчас улеглись спать. Проснувшись около полудня, и приведя себя в порядок, мы сошли в ресторан обедать; все было чрезвычайно дорого. Пообедав, отец отправился на место своей службы, в Торгпредство, находившееся очень близко от нашего отеля, а мы с мамой пошли гулять по улице Двадцатого Сентября, главной артерии города. Вернувшись в отель, мы там застали папу в компании одного из его новых сослуживцев, Юлиана Донатьевича Ландберга, который нам посоветовал сегодня же переехать в Нерви, небольшое предместье Генуи, в котором проживало тогда большинство служащих Торгпредства. Вечером того же дня, т. е. 2 сентября 1927 года, мы отправились туда, и поместились, на несколько дней в "Международном" отеле, находящемся на его центральной площади. Для меня началась новая жизнь.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Нерви.

Отель, в котором мы остановились, выходил одной своей стороной на "Пальмовую Аллею" (Viale delle Palme). Маленькая терраса, принадлежащая отелю, была отгорожена от Пальмовой Аллеи железной решеткой. В первое утро, немного отдохнув от столь длинного и утомительного путешествия, мы вышли на эту террасу пить кофе. Я был, по русскому обычаю, очень коротко подстрижен и носил толстовку, а мой большой еврейский нос резко выделялся на довольно худом лице. Через несколько минут, около решетки отеля, собралась группа мальчиков-итальянцев, с удивлением глядевших на меня. Это было немного неприятно, тем более, что они меня, немедленно окрестили, в честь их любимого

национального героя-петрушки: Пиноккио, прозвище, оставшееся за мной, несмотря на то, что впоследствии я отрастил свои волосы и надел европейский костюм. К счастью, итальянские мальчики, как и все вообще итальянцы, шутники, но не насмешники, и не в их обычае издеваться над кем бы то ни было, а в особенности над иностранцем. Поэтому мое такое прозвище меня не очень беспокоило.

Теперь я хочу, с риском быть принятым за агента итальянской туристской конторы, описать очаровательное местечко, в котором я провел первые полтора года моей жизни, в стране, впоследствии принявшей меня в число своих граждан.

Нерви — восточное предместье Генуи, расположено между небольшими, пестреющими домиками, горами, и синим Средиземным морем, является туристским центром, через который пролегают железная и две шоссейные дороги. На его центральной площади раньше находилась последняя остановка трамваев, а теперь — автобусов, связывающих Нерви с Генуей. От этой площади к вокзалу ведет широкая "Пальмовая Аллея", род бульвара, обсаженного с двух сторон пальмами. Около вокзала проложен спуск, проходящий под линией железной дороги, и ведущий к "Прогулке у Моря" (Paneggiata al Mare). "Прогулка" представляет собой нечто вроде длиннейшего балкона с перилами, опирающегося на скалы, и возвышающегося над морем. Этот "балкон", в четыре метра шириною и в два километра длиною, служит излюбленным местом гуляний всего нервийского населения, а по праздничным дням к нервийцам присоединяются многие жители самой Генуи. Скалы, на которые опирается эта "Прогулка" очень занимательны и живописны, они — ничто иное, как потоки застывшей лавы, извергнутой окружающими Нерви вулканами, погасшими еще до появления на земле первого человека. Кроме "Прогулки у Моря", в Нерви разбит довольно большой и очень красивый городской парк, прилегающий к железной дороге, но так как она полностью электрифицирована, то ее близость парку не мешает. В нем до сих пор сохранилась скамейка, стоящая у самой железной дороги, на которой, полвека тому назад, в праздничные дни по утрам, мы с отцом любили, сидя ожидать прохода курьерского поезда: Рим—Париж. Он состоял из пяти спальных вагонов и вагон-ресторана, и вихрем проносился мимо нас.

На небольшой площади, перед главным входом в парк, стоит очень старая аптека. В описываемое мною время, т. е. все те же

пятьдесят лет тому назад, на ее витрине красовалась надпись по-русски: "Здесь продаются русские лекарства". Теперь аптека еще существует, но странная надпись давно исчезла. С этой площади берет начало широкое шоссе, ведущее в гору к местечку, именуемому Сантилярио.

За парком, поближе к последнему генуэзскому предместью — Длинному Мысу (Capo Yungo), возвышается вилла, имеющая форму пагоды. Рассказывают, что в начале этого века, какой-то генуэзец-миллионер, выстроил ее для своей дальневосточной любовницы. В двадцати километрах от Нерви выступает далеко в море мыс Портофино. После Второй мировой войны он сделался шикарным центром международного туризма, и в его маленькой бухте жмутся друг к другу яхты архимиллионеров, а по зеленым склонам мыса лепятся их комфортабельные виллы.

На западе едва виднеется генуэзский порт, а еще дальше — горы Западной Ривьеры (Riviera Ponente).

В очень редкие ясные дни, когда ветер уносит пары, обыкновенно висящие над морем, на юг от мыса Портофино высовывается из-за горизонта остроконечная вершина горы: это — Корсика.

"Прогулка у Моря" берет свое начало у маленького залива, в который впадает небольшой ручей, текущий с соседних гор. Вокруг залива ютится рыбачий поселок: старое Нерви. Над ручьем переброшен горбатый каменный мостик, построенный еще римлянами. Он помнит тяжелый шаг легионеров, идущих завоевывать Галлию.

Я люблю Нерви, как я люблю Геную, как я люблю всю Италию вообще, и, честное слово, эта невольная туристская реклама, с моей стороны, совершенно бескорыстна.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: "Первый Дом Советов".

В двух минутах ходьбы от последней трамвайной остановки, стоит на улице Марко Сала, построенный еще в девятнадцатом веке, четырехэтажный дом, с довольно большим садом перед ним. Теперь в нем находится дорогой отель, но в 1927 году он принадлежал одной туринской семье. В его нижнем этаже жила пожилая женщина, доверенное лицо хозяев, управительница дома. Три верхних этажа сдавались внаем. Последнее время все они были заняты советскими служащими с их семьями. Когда кто из них оставлял квар-

тиру, ее немедленно снимал другой работник Торгпредства, и так продолжалось в течение нескольких лет. Даже те из них, которые не находили себе в нем свободной квартиры, искали помещение где-нибудь вблизи от него. Советская генуэзская колония прозвала в шутку этот дом: "Первый Дом Советов". К нашему прибытию в Нерви, в нем, как раз, освободился верхний этаж, и мой отец его нанял. Квартира на четвертом этаже была большая, и состояла из пяти комнат, трое из них были обращены окнами в сад, и из них было видно море, а две другие — в сторону гор. Кроме того имелся довольно длинный коридор, кухня и все удобства.

За полтора года моей жизни в Нерви, в "Первом Доме Советов", я имел возможность вблизи рассмотреть немалое количество высокопоставленных советских чиновников, можно сказать: сановников нового режима, представлявших собою, некоторым образом, сливки общества СССР в Италии. Постараюсь описать некоторых из них. Многие имена, но далеко не все, я изменил.

Либерман, Абрам Иосифович:

Директор хлебного отдела Торгпредства, и папин прямой начальник. Коммунист лет тридцати пяти. Простой, полуграмотный еврей, сделавший карьеру во время Революции и гражданской войны. Для пущей важности носит очки, но стекла в них простые, так как он обладает прекрасным зрением, и ни в каких очках не нуждается. Холост, но временно сожительствует со своей домашней работницей, невестой итальянского коммуниста (сосланного фашистами на острова), красивой и не строгой Джиной.

Никаноров, Петр Васильевич:

Директор какого-то отдела Торгпредства. Коммунист с 1917 года. Курносый, сорокалетний мужчина. Любит хорошенько выпить, и сочно выругаться. Про таких у нас говорили: "Рубаха — парень; ум — портянка". Женат на молоденькой дворяночке, Нине Васильевне. Потеряв все, бедная женщина, вероятно, нашла себе, в этом замужестве, защиту от революционных и всяческих бурь. У них — трехлетний сынок, Митя. Когда, однажды, этот Митя, как и все дети, выкинул какую-то забавную штуку, Никаноров, в искреннем восторге, воскликнул: "Поглядите на Митю! Ну, разве ж не сволочь? Сволочь и есть! Ах ты сукин сын,

Митька!" Добавлю еще, что чтобы иметь себе постоянную компанию, научил свою молодую жену пить.

Вуколов, Иван Семенович:

Директор мясного отдела Торгпредства. Коммунист с 1918 года. Молодой, белокурый, красивый и разбитной парень лет тридцати. По происхождению — купеческий сынок. Отец его был крупным мясником. Карьеру сделал примкнув к партии большевиков. Участвовал, хотя немного, в гражданской войне. Любит поговорить, и охотно рассказывает о себе. Приведу два примера из его автобиографических повествований:

"Когда я жил, еще до революции, при отце, то часто помогал ему в его работе. Вот придешь, бывало, на бойню, а там как раз быка режут. Здоровый такой бык; мычит — умирать не хочет. Вот я и беру большой стакан, а рядом ставлю бутылку водки. Как только быку горло перережут, кровь и начнет хлестать, а я стакан подставлю, наполню его кровью, она еще горячая — дымится, и залпом выпиваю ее, а потом наливаю в этот стакан водку, и запиваю ею бычачью кровь. Это приятно и здорово!"

Второй рассказ о себе, который он любил повторять, относится к области его "революционной" деятельности:

"Было это, товарищи, весной 1918 года. Служил я тогда в красногвардейцах, и наш отряд стоял в Москве. Узнало как-то правительство, что на одной из дач в двадцати верстах от столицы, по Курской дороге, собирается по ночам боевая группа правых эсеров. Ну, хорошо! Дали приказ, как только начнет смеркаться, выступать, чтобы их всех и захватить, так сказать, на месте преступления. Поход наш держали, конечно, втайне; даже мы сами узнали о его цели после того, как выступили. Привезли нас на грузовиках за версту от этой самой дачи. Дальше мы пошли пешком, чтобы не всполохнуть голубчиков раньше времени. Ну, думаем мы, накроем этих сволочей, будут знать, так их и растак, как "контры" замышлять. Ладно! Шли мы вначале по дороге, а под конец свернули с нее. А ночь черная — ни хрена не видно; да это нам на руку! Оттепель — сапоги грязь месят. Вот подкрались мы к этой самой даче: все тихо, собак нет. Ладно! Окружили дачу. Видим: перед нами забор в человеческий рост — дело плевое. Начальник командует: "Ребята, лезай!" Я вскарабкался первым, а за мною мой товарищ. Прыгаю вниз, и... трах!!! что-то ломается подо мною, и я проваливаюсь в выгребную яму, по самую

грудь в говно. Оказалось, что у самого забора стоял старый, деревянный нужник. Не успел я крикнуть товарищу, как он уже прыгнул рядом, и тоже провалился по грудь, а меня окатило с головою. Еле выбрались. А уж вонь то какая! Пришли на дачу — никого. Или узнали они про нас, и скрылись, или донос был ложный, только все — даром".

Вот таким образом товарищ Вуколов и сделался одним из директоров торгового представительства СССР в Италии.

Он был женат на стареющей кокотке высокого полета.

Клавдия Сергеевна, настоящая дама полусвета "belle epogue", за свою довольно длинную карьеру, была любовницей людей, принадлежавших к самому высшему обществу, и чуть ли в их числе не был один великий князь. Холодная по темпераменту, но хитрая и расчетливая, она сумела сохранить, несмотря на революцию, немалое количество золотых браслетов и брильянтовых колец, и вывезти часть этих богатств за границу. Держала себя Клавдия Сергеевна умело, и чувствовалось, что она не без образования, и пообтерлась в хорошем обществе. Однажды она сказала моей матери: "Знаете, Анна Павловна, я в моей жизни встречала мужчин — не чета моему теперешнему мужу. Я хорошо пожила, и любовные стороны жизни меня больше не интересуют, но я искренне люблю моего Ваню, как мать любит своего сына. До меня он был совершенно необтесанным парнем, а я его жить научила, да и мне приятно знать, что на старости лет у меня будет собственный угол. Если он мне иногда и изменяет с молодыми женщинами, то это вполне понятно, и я его не ревную. А бросить — он меня не бросит".

Впоследствии она его уговорила порвать с Советским Союзом, и остаться за границей. Они поселились в Германии. Позднее, уже при Гитлере, до нас дошел слух, что он ее все ж таки бросил.

Петяшкин, Василий Васильевич:

Коммунист. Директор одного из отделов Торгпредства. Болезненный человек лет пятидесяти. Получил кое-какое образование, и даже прошел несколько классов царской гимназии. Его товарищи отзываются о нем с пренебрежением: "Гимназист". Однако он был старым партийцем, и, кажется, сотрудничал в ГПУ. Несколько лет тому назад женился на дворянке, значительно моложе его. Марья Ивановна принадлежала к высшему дворянскому, петербургскому кругу. До революции получала образование в за-

крытом пансионе для"благородных девиц", чуть ли не в Смольном. Никто из нас не знал ее девичьей фамилии. Переворот застал Марью Ивановну в старшем классе института. В самом начале революции, потеряв своих родителей, она осталась одна, и прошла через всю бурю этих страшных лет. Никому никогда не рассказывала она о пережитом ею в те годы: ни что она делала, ни что с нею делали. Наконец встретила Летяшкина, и вышла за него замуж. Была она женщиной умной, красивой, хорошо воспитанной и тонкой, но очень развратной.

У кого подымется рука бросить в нее камень?!

Женщина, о которой я теперь хочу рассказать — личность историческая, и я нарочно не желаю менять ее имени.

Суханова, Галина Константиновна:

Жила она в "Первом Доме Советов", но какой точно пост занимала в Торгпредстве, я сказать не могу. Член коммунистической партии еще задолго до 1917 года, она была замужем за известным журналистом, Сухановым. Накануне Октябрьского переворота, на ее петроградской квартире, в отсутствии мужа, бывшего в то время в отъезде, состоялось, под председательством Ленина, тайное заседание, на котором были установлены последние подробности восстания против Временного правительства Керенского. Фанатически преданная коммунистической идее, она, насколько мне известно, во время знаменитой чистки, была обвинена в троцкизме, и вместе со своим мужем расстреляна Сталиным.

Довольно высокая и несколько сухощавая, некрасивая сорокалетняя брюнетка, эта умная и образованная, страдавшая частыми приступами астмы, женщина, ни одному мужчине не отказывала в своей "любви". Странное дело! Галина Константиновна совершенно искренне возмущалась, если при ней говорили какую-нибудь вольность или рассказывали скабрезный анекдот.

Близкая подруга Горького, она переписывалась с ним, и однажды, получив от него письмо из Сорренто, показала его нам. Горький начинал его словами: "Моей черной Галочке".

Корнеев, Петр Герасимович:

Человек лет сорока. Простой мужик. Коммунист, сделавший свою карьеру во время гражданской войны. Директор угольного отдела Торгпредства. Любил говорить: "Я — неграмотный; я не

знаю; я не учился во всяких там гимназиях. У меня есть специалист, мой помощник, так это его дело".

Женат на толстой, довольно добродушной, бабе, ему подстать. У них двое еще маленьких детей: сын и дочь. Его жена, когда удивляется или восхищается чем-нибудь, то восклицает: "Держите меня в трох!" Однажды о себе самой она выразилась следующим образом: "Я может и корова, да — дойная".

Кроме сановных директоров-коммунистов, в Торгпредстве работали беспартийные специалисты, так называемые — спецы. К ним принадлежал и мой отец. Они официально числились помощниками директоров, но, фактически, управляли всеми конторами генуэзского Торгпредства, ибо "товарищи директора" способны были только подписывать бумаги. Зато и вся ответственность падала на специалистов. Некоторые из них проживали в "Первом Доме Советов". Поговорим и о них:

Крайнин, Яков Львович:

Еврей лет сорока пяти. Росту он небольшого; под носом — маленькие, черненькие усики; похож на Шарло. Юркий, умный и хитрый господинчик; немного слишком самоуверенный. В прошлом был социал-демократом, а теперь он — беспартийный специалист угольного отделения Торгпредства; помощник Корнеева. Его жена, Ольга Абрамовна, рыженькая еврейка средних лет, скромная и милая женщина. У них дочь Рая, рыженькая как мать девушка, моя сверстница.

Яков Львович большой говорун и, как бы это сказать? — сочинитель. Если бы записать все его рассказы о самом себе, то вышел бы довольно увесистый том занимательных повестей. Он немного страдал, как большинство низкорослых мужчин, комплексом "dinferiorile". У него постоянно бывал такой вид, будто он собирался спросить: "А где здесь рояль, который я должен вынести?" Однажды, во время нашей с отцом прогулки по улице Двадцатого Сентября, мы встретили Якова Львовича, и он сопровождая нас до дому, очень красочно и занимательно рассказал нам о том, как, еще при старом режиме, на него напали за городом три вооруженных до зубов разбойника, и как он один обратил всех трех в бегство. Как жаль, что этот человек не был писателем! Кончил Яков Львович трагически; но об этом после.

В доме напротив проживали два Григорьева; оба были бес-

партийными специалистами. Один из них жил на третьем этаже, а другой на втором.

Григорьев, Семен Петрович:

Грузный господин лет шестидесяти. Милейший человек. Несмотря на свою беспартийность был знаком с Лениным. Фотограф-любитель, он упражнялся в этом искусстве на всех своих знакомых. У меня сохраняются снимки моих родителей, сделанные им на террасе его дома. Женат вторично на двадцатилетней женщине. Прежде чем жениться обратился к хирургу, последователю знаменитого профессора Воронова, и тот омолодил его при помощи обезьяних желез. Операция удалась, и первые месяцы жизни с молодой женой прошли вполне удовлетворительно; но вскоре, увы! он одряхлел пуще прежнего. "Он звезды сводит с небосклона, он свистнет — задрожит луна; но против времени закона его наука не сильна". Бедный Семен Петрович обратился вновь к врачам, но те ему сказали, что дважды подобную операцию делать нельзя. Дальнейшее осталось сокрыто мраком неизвестности. Вскоре "молодая чета" уехала в СССР.

Григорьев, Алексей Павлович:

Человек лет пятидесяти пяти. Женат на женщине двумя годами моложе его. Он много видел на своем веку; остроумен, а порой и желчен. В прошлом году Алексей Павлович, переутомившись на службе, получил легкое нервное расстройство, и несколько месяцев провел в специальной лечебнице, в СССР. Однако места в Торгпредстве не потерял, и после своего выздоровления, вернулся в Геную, на свою прежнюю работу.

Его жена, Мария Петровна, была очень полной дамой. Подружившись с моей матерью, она ей рассказала, что будучи еще молоденькой девушкой, она очень страдала от чрезмерной полноты. Чтобы похудеть, Мария Петровна обратилась к врачу, который дал ей какое-то лекарство, от которого она так быстро похудела, что через несколько месяцев стала худой "как щепка", и у нее начался процесс в левом легком. Пришлось спешно приступить к усиленному питанию. Туберкулез она излечила, но пополнела пуще прежнего; да такой и осталась.

Однажды, Григорьева пришла к маме, в пять часов, пить чай. Мужья еще все были на службе. Сидит Мария Петровна за столом, пьет чай, и мирно беседует с моей матерью, а в руке держит

свою маленькую дамскую сумочку. И видит мама, что каждую минуту гостья роняет эту сумку на пол, и потом с большим трудом ее поднимает. Наконец мама спрашивает Григорьеву: "Что с вами, Мария Петровна?" "Не знаю, милая Анна Павловна, но я себя не очень хорошо чувствую. Простите меня – я лучше домой пойду". Встала она со стула и пошатнулась. Мама вскочила и взяла ее под руку. С большим трудом спустились они с наших трех лестниц. Теперь надо было пройти длинную аллею, ведущую на улицу. Чувствует мама, что Мария Петровна становится все тяжелее и тяжелее. Кое-как вышли обе дамы из сада, и пересекли узенькую улицу, отделявшую его от дома Григорьевых. Две довольно крутые лестницы вели в квартиру Марии Петровны. Первую лестницу преодолели с большим трудом, но нога несчастной женщины начала подворачиваться. С ужасом видит моя мать, что Мария Петровна, всею своею тяжестью, начинает падать назад. "Мария Петровна, – почти плача, говорит ей мама, – сделайте еще одно маленькое усилие – мы уже пришли", а сама думает: "Упадет, убьется, и я с нею, упав с лестницы, убьюсь". Все-таки Бог спас: чудом добрались до двери дома. Мама одной рукой поддерживает Марию Петровну за спину, а другой ищет в ее сумке ключ от двери. Наконец мама отперла дверь, и привела Григорьеву в спальню, намереваясь уложить ее в постель; но тут бедняга внезапно упала на пол, и потеряла сознание. Мама побежала к сыну хозяина дома, имевшего в первом этаже маленькую гастрономическую лавку. Молодой человек вызвал по телефону врача, а сам поднялся наверх к больной. В Италии никто никогда, в беде, не остается без помощи и одиноким. Пришел врач. Общими усилиями подняли с пола бедную женщину, и уложили ее на кровать. Врач поставил диагноз: кровоизлияние мозга. В это время вернулся со службы Григорьев. Увидав маму он воскликнул: "Анна Павловна, вы у нас в гостях? Вот хорошо! – Алексей Павлович, Мария Петровна заболела – Что с нею?", – с этими словами он вбежал в спальную комнату, взглянул на жену, и вдруг начал свистеть. Вызвали скорую помощь, и отвезли ее в больницу. Она пробыла в ней несколько недель, и мы все ходили ее навещать.

Вышла она из больницы немного парализованной, со слегка перекошенным лицом, но ходить, хотя и с трудом, могла. Через четыре месяца после ее выздоровления они уехали в СССР, а еще через год мы узнали, что с нею случился второй удар, и она умерла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Под солнцем Нерви.

Есть такая туристская реклама: вид Нерви, а над ним, в небе, огромное, пылающее солнце, привязанное к Нерви канатом.

Со 2-го сентября 1927 года, для меня начался "солнечный" период моей жизни. Длился он больше года: до моего поступления в университет, и нашего переезда в Геную. В прошлом: Москва, школьные занятия, разные неприятности и т. п.; а теперь: безмятежное проживание под тепленьким итальянским солнцем. Помню: однажды, в Москве, я вышел из дому, и у меня захватило дыхание; воздух казался густым и ноздри слипались. Термометр показывал: –32° по Цельсию. Это было в январе 1927 года; а в январе 1928 года, опираясь на перила "Прогулки у Моря", я наблюдал, как английский турист плавал между скал. Правда, чувствительные к холоду итальянцы, глядя на него, только пожимали плечами: "Сумасшедший англичанин" (Paggo Iuglese); но все-таки: какая разница!

В октябре, в компании нескольких наших соседей, отцовских сослуживцев, мы наняли два экипажа, и поехали по Ривьере, через залитые солнцем чудесные местечки: Болиаско, Пьяве Лигуре, в Портофино Ветто — лесистый, горный перевал маленького, выдающегося в море, портофинского полуострова. Оттуда нам открылся дивный вид на две морские глади. С одной стороны виднелось все побережье, до Генуи включительно, а за нею синели вдали приморские Альпы Западной Ривьеры; а с другой стороны тянулась Восточная Ривьера. На перевале находилась гостиница, теперь закрытая, а при ней существовала замечательная коллекция кривых зеркал. За пару лир можно было хохотать до слез, рассматривая в них себя и других. С Портофино мы спустились в Санта Маргарита, а оттуда отправились в Рапалло. По дороге туда наш извозчик нам указал кнутом на отель, в котором был подписан, участниками Генуэзской Конференции, знаменитый Рапалльский договор.

Обыкновенно, почти целый день я проводил на берегу или в парке. Мои родители были убеждены, что через год, как было обещано моему отцу, мы вернемся в Москву, и там я закончу мою девятилетку. Итальянского языка я не учил, и им мало интересовался: на что он мог мне пригодиться на нашей Родине? Однако было решено, что я не должен терять даром целый год, и отец

нашел для меня учительницу английского языка, русского происхождения.

Леди Скотт, урожденная Философова, была пожилой и довольно бедной дамой. Она происходила из очень древней дворянской семьи Философовых, ведущих свое начало от греков, приехавших, при Владимире Святом, крестить Русь. Еще совсем молодой она встретила в России английского дворянина, и вышла за него замуж, но довольно скоро овдовела. Жила она в последнем домике Длинного Мыса, в двадцати шагах от границы Генуэзской Коммуны. Ее маленькая квартирка была бедная, но чистая и уютная. У старенькой леди почему-то нехватало носа. По этому поводу она рассказывала грустную повесть о тяжелом утюге, упавшем прямо на него. Может и правда! Однажды она показала свою, выцветшую от времени, русскую фотографию. С нее глядела семнадцатилетняя барышня, в длинном белом платье и круглой соломенной шляпке с лентой: черноволосая, стройная красавица, с тонкими чертами лица. Как жизнь, все-таки, меняет!

Она рассказала нам один, случившийся с нею в России, забавный анекдот: однажды, при приходе ее с мужем на званный вечер, в неком очень тонном высокопоставленном доме, лакей в дверях залы, возвестил: "Сэр Скотт и Леди скотина!"

У нее я недурно, и в довольно короткий срок, выучился английскому языку, который, впоследствии, совершенно забыл. Однако, изучение этого языка много времени у меня не брало, и почти целый день я был свободен как ветер.

Русская молодежь, проживавшая в то время в Нерви, была немногочисленна, и, кроме меня, состояла из Раи Крайнин, Надежды Альтман, дочери одного из бухгалтеров Торгпредства, двумя годами моложе меня, Ары Крашенко, девушки шестнадцати лет, дочери пожилой казачки, жившей в Нерви с незапамятных времен. Эта девушка не принадлежала к советской колонии. Вскоре к нам присоединились, только что приехавшие из Донецкого Бассейна, близнецы, брат и сестра: Юра и Лена. Их отец, обрусевший немец, по фамилии Розенштейн, был беспартийным, и служил бухгалтером в Генуэзском Торгпредстве. Он уже несколько лет как разошелся со своей женой, проживавшей где-то около Бахмута, и сошелся с некой Орловской, еврейкой, бывшей певицей, потерявшей голос. "Орловская" был, вероятно, театральным псевдонимом этой дамы, но все ее так и называли. Теперь Розенштейн выписал к себе в Геную своих двоих

детей, тем паче, что его бывшая жена вышла вновь замуж за какого-то инженера. В Нерви проживал еще один шестнадцатилетний подросток, по имени Роберто Тассистро. Его отец — итальянец давно умер, и он теперь жил со своей русской матерью и теткой. Он был авангардистом (avangvardirta), фашистское звание, соответствовавшее советскому комсомольцу; а так как я был советским юношей и, несмотря на мою беспартийность, верил еще в коммунистический идеал и чтил память Ленина, то мы с ним не встречались, и глядели друг на друга издали, и весьма враждебно. Много позже я сошелся с ним довольно близко, а его мать и тетка оказались милейшими и очень образованными русскими дамами.

Вот в каком кругу я проводил все мое время, наслаждаясь солнцем, морем и почти полным ничегонеделанием.

Теперь я должен сознаться, что именно здесь, под нервийским солнцем, ко мне слетела впервые муза поэзии. Большинство молодых людей пытаются писать стихи, но вскоре, обыкновенно заметив, что они не Пушкины, ссорятся со своей музой, и после нескольких семейных сцен, разводятся с нею окончательно.

Влюбившись в нее с первого взгляда, я до сих пор ее нежно люблю, не замечая недостатков моей подруги: коса она или кривобока. Если другим она не нравится, тем хуже для них, а я нахожу ее очень миленькой. Правда, что еще за год до нашей поездки в Италию, в 1926 году, в Одессе на даче, я, неожиданно для самого себя, сочинил четырехстишие, могущее быть началом, как мне тогда казалось, целой поэмы. Вот оно:

Ночь спустилась над Средним Фонтаном,
И море окуталось мглой;
Черные тучи ползли над Лиманом
Угрожая Одессе грозой.

Но дальше дело не пошло. И вот, под солнцем Нерви, меня внезапно прорвало. "Примиритесь же с музой моею!" ибо отныне, правда не очень часто, я буду помещать на страницах этих воспоминаний детища моего с нею брака.

Привожу несколько примеров моих нервийских поэтических опытов; все они были написаны мною в 1928 году:

РАССВЕТ

Звезды меркнут; пар клубится;
Тихо веет ветерок...
В легком свете серебрится
Вдаль бегущий ручеек.

Дремлет роща; степь в тумане;
Чуть светлей небес края;
А над дальними горами
Занимается заря.

В первом году моего пребывания в Италии я очень тосковал по Родине. В приводимом мною следующем стихотворении, отображается мое тогдашнее настроение:

НА ЧУЖБИНЕ

Вид горы высокой,
Плеск волны морской
Свод небес далекий —
Темно-голубой.

Чудеса природы
В чуждой мне стране:
Зелень, горы, воды...
Надоели мне.

Хочется мне снова
Увидать родной:
Пейзаж суровый,
Пейзаж простой;

Бури и бураны
Снеговых степей;
Скромные курганы
Родины моей.

НОЧЬ В НЕРВИ

Ночь спустилась на Нерви глубокая;
Светит месяц и плещет волна...
Где-то слышится песнь одинокая:
То смеется, то плачет она.

Тихо стонет волна средиземная,
Бьет о берег: светла и легка,
И так сладко звучит иноземная —
Итальянская песнь рыбака.

Читающий эти строки легко может заметить, что начало настоящей главы не соответствует ее концу. Действительно: с одной стороны я наслаждаюсь солнцем и морем; рад, что, вдали от Москвы и школы, могу спокойно бить баклуши; а с другой стороны мне уже все надоело, и хочется лишь одного: как можно скорее возвратиться на мою холодную Родину. Что делать! Я и сам это замечаю, но наша человеческая душа соткана из противоречий. Спросите про то любого философа.

От времени до времени, чтобы разнообразить несколько наш быт, Юра, Лена, Рая и я ездили в Геную. Трамвай на это тратил 45 минут, но сама дорога была столь живописна, что стоило просто проехаться туда и обратно.

7 ноября 1927 года, вся советская колония была приглашена в консульство, на торжественный вечер, устроенный Генеральным консулом Ридером, по случаю десятилетия Октябрьской революции. Были произнесены соответствующие речи; пели "Интернационал" и "Смело, товарищи, в ногу", и т. д. Вскоре после того, меня пригласил секретарь консульства Мицкевич, помогать ему разбирать, сохранившуюся у них русскую библиотеку, раньше принадлежавшую царскому консульству. Вдвоем с ним мы отобрали порядочное количество книг, приговоренных Мицкевичем к "аутодафе".

Прошла зима. Весною Нерви превратилась в настоящий райский уголок. Мы, местная советская молодежь, часами слонялись по парку или "Прогулки у Моря", и болтали, по-русски, всякий вздор, воображая, что нас никто не понимает. Однажды: Рая, Ара и я сидели на скамье и любовались морем. Около Ары уселся

какой-то пожилой господин, по виду — итальянский купец. Ара сказала: "Какой интересный молодой человек сидит возле меня". Пожилой господин повернул к ней голову, и на чистейшем русском языке, ответил: "Я тоже, барышня, в свое время был молод как и вы". Мы очень смутились, и с тех пор стали осторожней.

Когда на душе спокойно и весело, то время летит быстро...

Прошла и весна.

ГЛАВА ПЯТАЯ: Конец безмятежного существования.

В начале июня, директора хлебной конторы Либермана отозвали в Москву, а вслед за тем мой отец был назначен на его место. Это производство по службе мало обрадовало моего отца, и он написал торгпреду (торговому представителю) в Милан, где тогда находилось центральное управление Торгпредства, что, подчиняясь служебной дисциплине, он принимает управление хлебной конторой, но берет на себя смелость напомнить о данном ему обещании, вернуться в Москву не позже чем осенью 1928 года. На это письмо последовал краткий ответ: "Товарищ Вейцман, о вашем возвращении в СССР, пока, не может быть и речи". Ничего не оставалось другого, как подчиниться. Теперь у нас встал вопрос о моем дальнейшем образовании. Отец предложил мне выбрать отрасль знания по моему желанию. Я решил стать инженером-электротехником. Юра и Лена последовали моему примеру, а Рая записалась на химический факультет. Все студенты генуэзского политехникума, к какой бы специальности они ни готовились, были обязаны, до поступления в него, окончить два первых курса физико-математического факультета, и потом держать государственный экзамен (licengino). Таким образом, с будущей осени, мы должны были начать посещать университет. Пока что в нашем распоряжении имелось еще четыре месяца, которые мы посвятили изучению итальянского языка.

Из СССР стали приходить тревожные вести. Торгпредство получило приказ закупить в Италии хлеб. Вскоре стало очевидно, что у нас на Родине, снова начинался голод. Сталин быстро разрушал экономическое благополучие страны, с таким трудом восстановленное Лениным. Письма от наших родственников мы получали регулярно, но из них мы моглм узнать только о состоянии их здоровья.

Однажды маме приснился странный сон: она увидала себя еще девочкой, в Мариуполе. У ворот их дома стояла запряженная бричка, и ее отец, тоже еще совсем молодой, бойко вскочив на нее и взяв в руки вожжи, готовился уехать. Мама подбежала к нему: "Папа, куда ты едешь? Возьми и меня с собой", — и пыталась сесть рядом с ним; но он, решительно отстранив ее рукой, воскликнул: "Нет! Нет!". А затем, притянув к себе, поцеловал ее в лоб. Мама мгновенно проснулась, но уже будучи наяву, все еще чувствовала у себя на лбу отцовский поцелуй. Она разбудила папу, и расплакавшись сказала: "Мося, я уверена, что мой отец умер". В тот же день мама написала в Одессу письмо своей сестре Рикке, умоляя ее откровенно ответить, с обратной почтой: жив ли отец? Вскоре от тети Рикки пришло письмо; оно начиналось так: "Дорогая Нюта, увы, ты права, вот уже скоро месяц, как нашего папы не стало". Далее она писала о том, что их отец, последнее время, не вставал с постели, и был очень слаб. Сердце его начало сдавать. Умер он спокойно. Так окончил жизнь, на восьмидесятом году, этот не совсем обыкновенный человек.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: "Матриколя" (Matricola).

Итак я студент! 5 ноября 1928 года я впервые переступил порог "Alma Mater". Генуэзский университет помещался в старинном дворце, на улице Бальби. За монументальной дверью, перед небольшой лестницей, ведущей в нечто вроде "palio" (внутренний двор), сидят два почтенных, каменных, льва, с полуоткрытыми пастями, охраняя вход. Студенты шутили, что очень опасно класть руку в их пасть: могут откусить. Мы все четверо были уже приняты в университет, но, с точки зрения старых студентов, еще не принадлежали к их сословию: для этого надо было сделать "матриколя" (fure matricola). Матриколя (matricola), буквально, обозначает запись в регистр; но этот термин, в данном случае, распространяется и на записываемого в университет студента. Поэтому всех студентов-новичков называют "матриколями". В мое время, в итальянских университетах еще сохранилось много традиций, восходящих к средневековью, и студенческие нравы, вероятно, мало чем отличались от нравов учащейся молодежи пятнадцатого века; обстоятельство, впрочем, не мешавшее им серьезно из-

учать науки двадцатого. Все студенты делились на степени, зависевшие от количества лет, проведенных в стенах университета:

Новичок назывался "матриколя" (matricola).

Второкурсник — фасоль (faggiolo).

Третий год давал право на звание "старого" (angiano).

Четвертый год возводил студента в звание университетской колонны (colonna).

Оканчивающий курс получал высокий титул — "лауреандо" (laureando).

Но чтобы получить первую степень, и стать "матриколя", надо было ее "сделать". Для этого приглашались несколько старых студентов, и устраивалась, за счет новичка, пирушка. Затем ему выдавался специальный пергамент, называемый "матриколя", с печатным изображением наверху и текстом внизу. Новичок изображался в виде осла, которого постригают в студенты, а с обеих сторон этого рисунка, имелся целый ряд других, более или менее неприличных. Внизу, "макаронной" латынью объявлялось, что: именем Бахуса, Табака и Венеры, новичок делается полноправным студентом. Еще ниже следовали, написанные все той же "макаронной" латынью, наставления: мало учиться, много пить, курить и еще больше любить женщин.

Первый месяц после начала лекций, у дверей университета дежурили студенты, и проверяли наличие у новичка "матриколи". Если таковой не оказывалось при нем, то его не впускали. Затем имел место праздник "Матриколя". В этот день студенты одевали специальные, средневековые, цветные, шляпы, и ходили толпами по городу; заходили бесплатно в кинематографы и другие увеселительные учреждения, или же вламывались в кондиторские, и там наевшись пирожными, уходили ничего не заплатив. В этот праздник все их шалости им прощались, только хозяева кондитерских оставались обыкновенно недовольными.

Через несколько дней после открытия учебного года, мы, четверо, позвали пятерых знакомых итальянских студентов, и пошли с ними в довольно дорогую кофейню, где угостили их ликерами и пирожными. После пирушки наши друзья выдали каждому из нас по "матриколе", которую мы и предъявляли первое время, всякий раз при входе в университет. В начале учебного года, мы все, кроме Раи, жившей в Италии больше нашего, и потому говорившей уже немного по-итальянски, почти ничего не понимали из объясненного нам профессорами. Это было крайне

трудно и неприятно, но изучая высшую математику, мы, волей или неволей, усваивали одновременно и итальянский язык.

Несколько слов о моих профессорах:

Анализ алгебры нам преподавал молодой приват-доцент, еврей, по имени Бедарида. Профессором аналитической и проективной геометрии был пр. Тольяти; родной брат генерального секретаря итальянской коммунистической партии. Уже в мое время студенты говорили, что у него имеется брат-эмигрант, проживающий в Москве. Человек средних лет, он женился при нас на своей молодой ассистентке. Тольяти никогда не улыбался, только глаза его смеялись. Он был прекрасным профессором. Лекции по физике читал профессор Окялини, автор двух или трех научных открытий. Старый, весь седой, профессор Франческони, преподавал нам химию. Он дослуживал до пенсии свои последние месяцы. Многие поколения студентов прошли через его руки.

Не стану перечислять всех моих профессоров, но хочу, на этой странице, с глубоким уважением и симпатией, вспомнить о профессоре начертательной геометрии, читавшем свои лекции на втором курсе физико-математического факультета. Имя профессора Джино Лориа можно найти в любой энциклопедии. Он прославился, главным образом, своим монументальным трудом: "История Математики". На экзаменах Лориа почти никогда не "проваливал" кандидата. О нем студенты, смеясь, говорили, что он настолько учен, что не видит особой разницы между самым знающим и самым невежественным из студентов, а потому предпочитает пропускать всех. Кажется, что оно так и было. Когда мне пришлось держать экзамены по начертательной геометрии, то, в предложенной мне задаче, я запутался и остановился. Надо сказать, что на экзаменах я всегда очень нервничал. Взглянув на меня он снисходительно улыбнулся: "Да вы успокойтесь, ведь я отлично вижу, что вы подготовлены", затем оставив меня стоять у доски, с мелом в руке, он отвернулся и стал о чем-то беседовать с двумя другими членами экзаменационной комиссии. И я, действительно, скоро успокоился, и решил, заданную мне задачу. Он повернулся, посмотрел на доску и сказал: "Вот видите — вы и ответили; я же знал, что вы подготовлены". И он поставил мне приличную отметку.

Прибавлю, что этот отличный человек был туринским евреем.

В праздник "Матриколя", мы с Юрой вдвоем гуляли по улице Двадцатого Сентября, и там встретили какого-то итальянского

студента. Продолжая вместе с ним нашу прогулку, мы зашли в кофейню, выпили по чашке кофе со взбитыми сливками и, конечно, заплатили все что требовалось, не воспользовавшись правами матриколи. Выйдя из кофейни, наш новый приятель предложил нам пойти к женщинам. Мы были несколько смущены, так как дело было впервые; но пошли. Хорошо были организованы в Италии в то время дома терпимости! Чистота; тишина; молодые, опрятно одетые и красивые женщины, и принимая небольшие меры предосторожности, риск заболеть сводился, практически, к нулю. Почти все студенты довольно регулярно посещали эти дома, да иначе и быть не могло. Хочу быть искренним до конца: я женился довольно поздно и, следовательно, обладая нормальным темпераментом, имел немало дел с этими женщинами. Я к ним никогда не чувствовал ни презрения, ни отвращения, ни соболезнования, и считаю, что "самая древняя из профессий" совершенно естественна и необходима. Может быть я недостаточно чуток, но мне ни разу не пришлось столкнуться с Катюшей Масловой, Соней Мармеладовой или Женькой из "Ямы" Куприна, и вообще ни с одной из "святых" проституток русской литературы. Все это значительно проще. Я совершенно не понимаю студента, чеховского героя, заболевшего нервным расстройством, после посещения им одного из таких домов. По-моему, он и раньше был не совсем нормален.

Посещать лекции и жить в Нерви стало неудобно, да и папа уставал от ежедневных поездок. Поэтому мы оставили "Первый Дом Советов", и наняли себе квартиру в Генуе, на третьем этаже шестиэтажного дома, на Туринском проспекте. Розенштейны тоже поселились недалеко от нас, а Крайнины — совсем рядом. К этому времени мои родители довольно близко сошлись с родителями Раи.

На Родине я привык быть одним из первых учеников, но в Италии, без знания языка, дело пошло значительно хуже, и на первом экзамене я позорно провалился. Языки мне всегда давались трудно и, вероятно, это было одной из главных причин, что на прохождение инженерных наук, я затратил так много времени. Как бы то ни было, но первый год кончился и, благополучно сдав пару экзаменов, я перешел на второй курс.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Служба моего отца в Торгпредстве.

Недавно прибывший в Милан новый торгпред, доктор Левинсон, нашел, что управлять Торгпредством в Генуе, сидя в Милане, являлось делом громоздким и, следовательно, неудобным. Через Геную, первый порт Италии, шел почти весь экспорт-импорт товаров. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе; и доктор Левинсон решил перенести в столицу Лигурии, свое главное управление. Но подобную операцию он не мог совершить без разрешения советского посла в Риме. На все это требовалось много времени, а потому он решил, пока суд да дело, назначить одного из управляющих контор, своим наместником в Генуе. Выбор его пал на моего отца. Однако это новое, хотя и временное, производство по службе, еще больше отдаляло день нашего возвращения в Москву; но отец уже больше на этом не настаивал, так как не хотел отрывать меня от моих университетских занятий. В СССР все еще существовала процентная норма для детей "пролетариев в белых воротничках".

Вскоре, Советский Союз, нуждавшийся в иностранной валюте, продал Италии некоторое количество платины, и деликатная операция перенесения этого дорогого металла, из советского консульства в Итальянский Государственный Банк, была поручена моему отцу. Доверия к своим товарищам по партии, было, видимо, у Левинсона, мало. Теперь отец стоял во главе всего экспорта и импорта между СССР и Италией.

Однажды СССР продал итальянской армии крупную партию мяса. По этому поводу папа рассказывал об одном забавном случае. Для заключения договора, ему пришлось иметь дело с итальянским полковником, заведовавшим интендантством генуэзского военного округа. Этот офицер пригласил моего отца присутствовать при официальном контроле качества, продаваемого Советским Союзом, мяса. Для этой цели было из него сварено "минестроне" — род итальянского борща. Сам полковник попробовал его и одобрил. Потом дал попробовать его и моему отцу. "Минестроне" было отличное. Наконец позвали рядового солдата, и дали ему тарелку этого борща. Солдат, по приказу полковника, уселся за стол, и в присутствии его и моего отца, съел весь борщ, до капли, после чего встал и вытянулся по форме.

"Понравилось тебе минестроне?" — спросил его полковник.

— Никак нет, господин полковник!

— Почему? — удивился последний.

— Слишком горяч, господин полковник.

— Пошел вон, дурак!

Мой отец не долго занимал пост заместителя торгпреда в Генуе. Осенью 1929 года, доктор Левинсон переехал в этот город, и лично взял на себя управление Торгпредством, а в феврале 1930 года, на пост директора хлебной конторы, был прислан из СССР, наш старый знакомый по ростовскому Госторгу, Давид Ильич Копель. В Ростове, Давид Ильич был помощником отца, а здесь он стал его прямым начальником, и мой отец, вновь, превратился в помощника директора — беспартийного специалиста.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Трагический конец Крайнина.

Однажды, сидя у нас за чашкой чая, Ольга Абрамовна Крайнина сказала моей матери: "Знаете что, Анна Павловна, мы, может быть, скоро уедем в Нью-Йорк".

— Как так? — удивилась мама.

— На прошлой неделе Яшу позвал Левинсон в свой кабинет, был очень с ним любезен, и показал ему только что пришедшее письмо из Москвы; в Америке Торгпредство очень нуждается в хорошем специалисте, и высшие власти решили послать туда моего мужа.

— Вы довольны такой перспективой? — поинтересовалась моя мать.

— Я не очень. Раю придется оторвать от ее учения, да и вообще: когда привыкаешь к одному месту, то неохотно его меняешь на другое. Когда мы собрались ехать из Харькова в Геную, то я много плакала — у меня там осталась сестра. Но Яша настоял, и вот мы уже пять лет, как живем в Италии, и нам тут не худо. Так и теперь. Я ему сказала: "Послушай, Яша, а как же будет с Раиными занятиями в университете?" Но он мне возразил, что Рая — девочка способная, подучится английскому языку, и поступит на химический факультет, при нью-йоркском университете.

Когда мой отец вернулся со службы, мама ему рассказала о предполагаемом переводе Крайнина в Соединенные Штаты.

— Да, я уже об этом слыхал, — ответил папа, — но странно, что он, перед своим переводом в Америку, должен будет прочесть в Харькове доклад о своей работе в Италии.

— Что же тут странного? — возразила моя мать, — это только доказывает, что его, как специалиста, очень ценят.

— Возможно.

На этом их разговор оборвался.

Крайнин был счастлив — ему давно хотелось попасть в Америку. "Скажите, Яков Львович, — спросил его мой отец, — вас ничего не смущает в вашем переводе в Нью-Йорк?" — "Что же меня тут может смущать? Вы знаете, Моисей Давидович, есть такая русская пословица: "Волков бояться — в лес не ходить." И еще вот, что я вам скажу: я старый воробей, и на мякине меня не проведешь. Левинсон мне показал всю его переписку с Москвой. Ему очень не хочется меня отпускать из Генуи, но высшее начальство настаивает на моем переводе." — "Все это прекрасно, — заметил мой отец, — но почему вы, предварительно, должны ехать в Харьков, и читать там какой-то доклад?" — "Они, вероятно, нуждаются в моем опыте", — ответил самодовольно Крайнин. — "Тем лучше! Но я вам все же скажу, Яков Львович, будьте осторожны! Дорога из Генуи в Нью-Йорк не лежит через Харьков."

Прошло еще несколько недель. Однажды Крайнин пришел вечером к нам. "Ну, дорогие друзья, получена телеграмма, меня спешно требуют в Нью-Йорк. В будущий вторник я уезжаю в Харьков делать доклад, а затем вернусь в Геную, возьму Ольгу и Раичку, и мы, первым пароходом, уедем в Америку. Эту телеграмму мне показал сам Левинсон; можно ли еще сомневаться? Но я вас, Моисей Давидович, все-таки послушался, и принял добавочные меры предосторожности. Здесь, у меня, есть один знакомый капитан небольшого итальянского торгового судна, которое совершает регулярные рейсы между Генуей и Одессой. Этот капитан мне обещал, в случае нужды, укрыть меня в трюме его судна. Я знаю расписание его ближайших рейсов. Вы знаете — мне это не впервые. Я старый социал-демократ, и не раз бегал из царских тюрем. Мне все трюки известны".

В день отъезда, за несколько часов до отхода поезда, он пришел к нам проститься. Яков Львович казался весел, но уже на пороге нашей квартиры, он остановился, обнял и расцеловал каждого из нас и, дрогнувшим голосом, сказал: "Я беру с вас слово: если что недоброе со мною случится, не оставляйте Ольгу и Раичку, будьте им второй семьей". Затем отвернулся, махнул рукой, и быстро сбежал с лестницы. Больше мы его никогда не видели.

Вскоре, в партийных кругах близких к Левинсону, послышались речи: "Славно мы его поймали! Попался Крайнин! Дал себя обмануть как последний дурак!" и т. д. Стало известно, что несколько месяцев тому назад, Корнеев и Крайнин подписали крупный коммерческий договор с одним итальянским купцом. Этот договор показался Москве очень невыгодным. По этому поводу был запрошен директор конторы, Корнеев, который, по своему обыкновению, ответил, что будучи малограмотным, он вполне доверился своему помощнику-специалисту, т. е. Крайнину. Было решено, что Яков Львович, несомненно, получил, от итальянского купца, крупную взятку, и поэтому его следует заманить в СССР, и там судить. Эту операцию поручили доктору Левинсону. Операция удалась. Одновременно получили из Харькова письмо от Крайнина. Тон этого письма был веселый и довольный. В нем он сообщал о том, как удачно прошел его доклад, и как все с ним любезны. Теперь он готовился к возвращению в Геную..., а там — в Нью-Йорк. Мой отец рассказал Ольге Абрамовне обо всех разговорах, слышанных им в Торгпредстве. Бедняжка расплакалась: "Моисей Давидович, что же мне делать? Посоветуйте, ради Бога". — "Судя по его письму, он еще на свободе, — заметил мой отец; — остается последнее средство попытаться его спасти. Телеграфируйте: "Рая при смерти выезжай немедленно". Может быть ему удастся бежать". — "Что вы говорите, Моисей Давидович! он так любит Раичку, такая телеграмма может его убить". — "Ничего другого не остается". Но Ольга Абрамовна не послушалась совета моего отца.

Прошло еще несколько недель. От Якова Львовича не приходило никаких вестей. Между тем Корнеев был отозван в СССР и, как мы после узнали, вышел сухой из воды, свалив все на Крайнина. Внезапно, от этого последнего, пришло долгожданное письмо; но какое странное! Он в нем писал, что Раичке учиться в Италии нечего, и требовал чтобы Ольга Абрамовна и Рая поехали, немедленно, в Харьков. Ольга Абрамовна пришла к нам и с плачем прочла его. Несомненно, что он составить такое письмо не мог, а если и написал его, то не по своей воле. "Он арестован! арестован!" — рыдала несчастная женщина. Долго после этого о Крайнине не приходило никаких вестей. В конце концов Ольга Абрамовна написала письмо своей сестре в Харьков, умоляя навести справки о ее муже. Через месяц пришел ответ. Ее сестра сообщала, что Яков Львович умер от той самой болезни, от кото-

рой скончался Исаак Рабинович. Так звали их приятеля, расстрелянного большевиками, в 1919 году, в Харькове.

В Южной Африке, в Кап-Штате, проживала замужняя сестра Якова Львовича. Супруги имели там собственную типографию, хорошо зарабатывали, и были весьма богаты. Узнав о трагической смерти ее брата, она заплатила местным журналистам, и в печати появились статьи об ужасах сталинского террора, и о судьбе одной из его жертв, Крайнина. В те времена получить иностранцам право на въезд, и на постоянное жительство в Южную Африку, было почти невозможно; но этим путем ей удалось тронуть южноафриканские власти, и они, в виде исключения, выдали семье жертвы эмигрантскую визу. Рае очень хотелось поехать туда, но Ольга Абрамовна отказалась. Моя мать стала ее уговаривать: "Там вы будете в своей семье. Ваши родственники богаты. Рая выйдет хорошо замуж". Но Крайнина только сердилась на маму. "Ваш Филя, конечно, будет продолжать свое учение в университете, а моя Рая его бросит". — "Но это не одно и то же, — возражала моя мать, — она девочка и выйдет замуж". — "Никакой разницы нет", — упрямилась Ольга Абрамовна, и осталась в Генуе.

Еще несколько слов об этой трагедии:

Вскоре стало известно, что договор, подписанный Крайниным, оказался крайне выгодным для СССР. Говорили, что итальянский купец, его подписавший, рвал на себе волосы.

Прибавлю еще, что торгпред, доктор Левинсон, за завлечение Крайнина в западню, был награжден каким-то советским орденом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: Советский режим и фашизм.

Я жил в СССР, при Ленине и Сталине, а в Италии, при Муссолини. Фашизм я знал еще до того как, под влиянием Гитлера, он стал расистским. Теперь мне хочется провести параллель между этими двумя диктатурами. Прежде всего, что такое фашизм? Когда я задал этот вопрос одному французскому коммунисту — он мне ответил: "Фашистами называются все враги коммунизма и трудящихся". Иными словами, в его представлении, фашизм есть ничто иное как антитезис коммунизма. Привожу выдержку из Советской Энциклопедии: "Фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового

капитала. Фашизм употребляется также для наименования наиболее реакционного течения в капиталистических странах, возникшего в период общего кризиса капитализма и выражающего интересы самых реакционных и агрессивных кругов империалистической буржуазии. Харктерным для фашистской диктатуры является, в области внутренней политики, уничтожение всех демократических прав и свобод, установление открытого террористического режима." (Советская Трехтомная Энциклопедия. Издание 1955 года. Страница 498.)

Короче: согласно этому определению, фашизм есть враг коммунизма, демократии, свободы и трудящихся.

Я попросил одного убежденного итальянского фашиста определить мне слово фашизм. Он мне, не задумываясь, ответил: "Фашизм есть режим порядка". По-моему, порядок есть необходимое средство для достижения любой цели; но, отнюдь, не самоцель, ибо наибольший порядок царит на кладбище, а на втором месте, в этом смысле, стоит образцовая тюрьма. Фашисты говорят, что одна из основных целей их движения есть попытка заменить принцип борьбы классов, принципом их сотрудничества. В этом последнем определении заключается несомненная доля истины, но и много утопии и простого обмана. Открытая диктатура капитализма? Возможно. Вспомним, однако, что Муссолини создавал нарочно социально-полезные работы, как например: осушение болот, проведение дорог и т. п., и для этой цели обложил мелкий, средний, и отчасти крупный, капитал, очень тяжелыми налогами.

Есть еще одно определение фашизма. По этому поводу расскажу маленький анекдот: за столом, в кругу своей семьи и ближайших сотрудников, сидит Муссолини и обедает. Во время еды разговор ведется о политике, и слово "фашизм" звучит беспрестанно. Бруно, один из маленьких сыновей "Дуче", отставил тарелку с недоеденными макаронами, и спрашивает отца: "Папа, что такое фашизм?" Но отец беседует с Стараче, и не слушает своего сына. Однако Бруно, как и все дети в подобном случае, упорствует: "Папа, что такое фашизм? что такое фашизм?" Наконец, выведенный из себя Муссолини, гневно восклицает: "Ешь и молчи!" Не это ли — настоящий ответ на вопрос?!

Что касается гражданских свобод, то их, действительно, при фашизме не было; но и при советском режиме их тоже, увы, нету. Отметим все же разницу между отсутствием свободы у Муссолини

и у Сталина. Возьмем как наиболее характерный пример — печать. В фашистской Италии, в книгах и газетах можно было писать о чем угодно, кроме пары запрещенных тем: политики (если она не соответствовала официальной), и религии, а также морали, тесно с нею связанной. В СССР, при Сталине, можно было писать исключительно на темы,диктуемые правительством; все остальное было строго запрещено.

Дело, конечно, не только в гражданских свободах, как бы они ни были необходимы для права на достойное существование всякого гражданина, но и в материальном угнетении, т. е. грубой эксплуатации фашистами всех трудящихся, и в "полном отсутствии оного угнетения" в сталинской Советской России. По этому поводу я расскажу об одном происшествии, в мое время имевшем место в генуэзском советском Торгпредстве.

Многие итальянские коммунисты, потерявшие, после фашистского переворота, право на работу, служили в нем у своих русских товарищей-единомышленников. В один прекрасный день советский посол в Риме, по неизвестной причине, распорядился их всех немедленно уволить. Сказано — сделано! Итальянские сотрудники получили, согласно советским законам, предупреждение за месяц, и жалованье за две недели вперед.

Среди итальянских сотрудников генуэзского Торгпредства, была одна домашняя работница — коммунистка, и мать комсомолки. Кроме уборки конторы, сметания пыли и мытья полов, ей поручали носить на почту письма и пакеты. Получив расчет и плату за две недели вперед, она возмутилась и объявила, что с таким расчетом не согласна, так как по фашистским законам простому служащему, при расчете, полагается двухнедельная плата за каждый год службы, а служащему, пользовавшемуся доверием, — месячная плата. Так как она носила на почту письма и пакеты, то считает себя доверенной служащей, и следовательно, после пяти лет работы ей полагается плата за пять месяцев вперед. В случае неуплаты ей этой суммы, она пойдет жаловаться в фашистский трибунал по делам защиты труда.

Торгпред спешно запросил посла, и получил от него приказ: "Для избежания скандала, выплатить ей немедля всю требуемую сумму". Неправда-ли — пикантная история?!

Что касается "открытой террористической диктатуры" в странах фашизма, то тень несчастного Крайнина, в ряду сотен тысяч

таких же невинных жертв, может свидетельствовать о полном отсутствии подобного террора в Советском Союзе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: Еще один спиритический сеанс.

Прошло свыше полугода после трагической смерти Крайнина. В Торгпредстве произошли некоторые перемены. Копель не ужился со своими коллегами, и был отозван в Москву. На его место, начальником моего отца, был назначен некий Браверман; еще один еврей-коммунист. Уехали в Советский Союз и Розенштейн с женою и с дочерью. В Генуе, с целью продолжать свое образование, остался только сын — Юра. Его отец как-то устроился с пересылкой ему денег. Юра снял маленькую комнату, в одной итальянской семье, на шестом этаже, в доме рядом с нашим, и большую часть своего свободного времени проводил у нас. Мы с ним часто сражались в шахматы. Кроме того, обладая недурным слухом, Юра купил себе мандолину и выучился на ней немного бренчать.

Однажды вечером разговор зашел о спиритизме, и мой отец рассказал о памятном сеансе, имевшем место в Таганроге, в конце гражданской войны. "Попробуем и мы, — предложил мне Юра. — Идем ко мне, там нам никто не помешает." Посередине его комнаты стоял стол; на него мы положили лист бумаги, начертали на нем, печатными буквами, весь русский алфавит, положили сверху перевернутое блюдце, с нарисованной на нем стрелкой, и усевшись по обеим сторонам стола, начали вызывать разных духов. Позади меня, на расстоянии одного метра, стоял низенький комод и на нем лежала юрина мандолина. Тусклая электрическая лампочка висела на проволоке над столом, и скупо освещала комнату. По прошествии нескольких минут блюдце заскользило по бумаге. Разные духи вызываемые нами, на наши глупые вопросы давали еще более глупые ответы, и чувствовалось, что мы сами, подсознательно, толкаем блюдце куда хотим. "Вызовем духа Крайнина, — предложил мне Юра, — Крайнин, вы здесь?" "Да", — ответило блюдце. После двух или трех ничегонезначащих вопросов мы спросили его: выдержит ли Рая предстоящий экзамен и какую получит на нем отметку? Вышло, что экзамен она выдержит и, что получит 24/30. Еще пара вопросов, и, неожиданно, блюдце составило фразу: "Я больше не хочу вам отвечать", но мы настаивали. Получился еще один ответ, и опять отказ про-

должать. В душе мы всему этому совершенно не верили, и относились как к простой игре; но тут, видя странное упорство блюдца, явно не желавшего продолжать ползать по бумаге, Юра воскликнул: "Ладно, мы вас оставим в покое, но не раньше чем вы произведете какую-нибудь материализацию. Хотим материализацию!" Блюдце больше не двигалось, но мы продолжали упорствовать. Вдруг, мандолина, лежащая позади меня на комоде, зазвучала как если бы кто дернул ее струну. Мы переглянулись. "Вероятно одна из струн лопнула, — сказал Юра, — это бывает", — и встав со своего места пошел посмотреть; но нет: все струны оказались целы. "Это материализация", — сказал я. Юра, ввиду успеха, предложил продолжать опыт. Мы вновь уселись вокруг стола и сомкнули на блюдце пальцами цепь; но не прошло и двух минут как комната погрузилась в полный мрак. Потом выяснилось, что перегорела электрическая лампочка. Очутившись неожиданно в темноте, мы испугались и, покинув Юрину комнату, поспешно спустились в нашу жилую и освещенную квартиру. Мама рассказывала потом, что когда мы вошли, вид у нас был очень испуганный.

Что это было? Отчего зазвучала мандолина? Почему, две минуты спустя, перегорела лампа? Почему все это произошло после нашего настаивания на материализации? Ряд ничего незначащих совпадений?

На ближайшем экзамене Рая получила 24/30.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: Невозвращенцы.

В 1930 году в Лондоне несколько секретарш советского посольства, сговорившись между собой, отказались возвратиться в СССР, и попросили у Англии политического убежища. Советский посол потребовал их выдачи, ссылаясь на какие-то статьи советско-английского договора. После кратких дипломатических препирательств, английское правительство в выдаче отказало. Рассказывали, что англичане, со свойственным им юмором, мотивировали свой отказ старинным законом, согласно которому: "Всякий раб, ставший на территорию Великобритании, становится свободным". Эти секретарши оказались первыми ласточками. Впоследствии, наученные опытом, советские власти, на выдаче своих чиновников, не пожелавших вернуться, больше не настаивали.

Узнику, вырвавшемуся на волю, идти обратно в темницу охоты мало. Таких отказавшихся возвращаться в "Советский Рай", прозвали "невозвращенцами", и "невозвращенчество", вскоре, приняло эпидемический характер.

В 1931 году, во Франции, произошло событие, придавшее явлению "невозвращенчества" более серьезный оттенок.

В советском посольстве в Париже, некий Беседовский, старый коммунист, занимал пост первого советника, и как таковой, на иерархической лестнице, стоял непосредственно после посла, и в отсутствии последнего замещал его. Он был женат, имел детей, и со своей семьей жил в здании посольства. В последнее время, как и многие, он попал в немилость к Сталину, и получил приказ вернуться в Москву. Его отъезд был отложен по случаю отсутствия посла, отправившегося в Лондон с какой-то дипломатической миссией. Беседовский отлично понимал, что обозначала для него явиться перед пресветлыми очами разгневанного Иосифа Виссарионовича. Василий Шибанов, бестрепетный посланник князя Курбского, рисковал меньшим. Несчастный советник советского посольства решил остаться во Франции. Но решить было легче чем сделать. В единственном коридоре ведущем на улицу, денно и нощно дежурили два агента ГПУ. Он попробовал выйти, но его не пустили. Беседовский понял, что он и его семья — уже пленники. Позади посольства находился, принадлежащий ему маленький сад, в который выходила дверь из его квартиры. Однажды утром он решился: скрываясь от нескромных глаз за деревьями, первый советник добрался, никем незамеченный, до задней стены окружавшей сад. Вспомнив свою молодость, он довольно легко вскарабкался на нее и спрыгнул в чей-то двор. Перебежав его и достигнув другой стены, он перелез и через нее, и очутился на маленькой уличке. Теперь Беседовский быстро пошел по ней, стараясь, как можно скорее, удалиться от посольства. На одной из ближайших улиц он встретил такси, и велел везти себя в префектуру, где и был немедленно принят префектом парижской полиции. Этому последнему беглец объяснил какая угроза нависла над ним и его семьей, и умолял вырвать из рук ГПУ его жену и детей. Сам он будет просить у Франции политического убежища. "К сожалению, — заметил префект, — я бессилен что либо предпринять, так как советское посольство экстерриториально, и только сам посол может разрешить французской полиции войти в него". — "Но посол в отъезде", — возразил Беседовский. —

"В его отсутствии подобное разрешение мне может дать первый советник посольства". — "Первый советник — это я". — "В таком случае все затруднения устраняются". И префект дал распоряжение четырем французским "ажанам", сопутствовать Беседовскому. Когда все пятеро достигли дверей посольства, сторожившие внутри его агенты ГПУ, пытались им препятствовать, но были отстранены полицейскими, которые войдя, прямо направились в квартиру, занимаемую первым советником, вывели из посольства его семью и вынесли все их личное имущество. Беседовский получил право политического убежища во Франции, и сделался "невозвращенцем". Впоследствии он стал издавать в Париже газету "Борьба".

В Советском Союзе, в правительственных кругах, такой необычайный факт, вызвал огромное волнение. Вскоре, в Москве, был опубликован закон, который назвали законом Беседовского. В силу его, все "невозвращенцы" объявлялись изменниками, и в случае перехода ими советской границы, подлежали, в 24 часа, расстрелу без суда. Все их имущество должно было быть конфисковано.

Этот грозный закон мало кого остановил, и после Беседовского, как говорится: "по его почину", начали оставаться за границей многие советские сановники. В Турции, с казенными деньгами, сбежал сам посол Ибрагимов. Список всех не вернувшихся в СССР, очень длинен.

Существует старый международный закон, в силу которого бежавший с судна матрос должен быть выдан, по первому требованию, стране, под флагом которой он плавал, властями той страны на чей территории он сошел на берег.

Много советских торговых судов заходят в генуэзский порт. Одному из матросов такого судна удалось бежать. Первым делом он пошел в генуэзскую центральную полицию "Квестуру" (Qvestura). Там он попросил быть принятым начальником иностранного отдела. Этот пост занимал, в то время, прекрасный человек: командор Нацолези. Выслушав беглеца Нацолези сказал: "По закону я вас обязан был бы задержать и выдать советскому правительству; но ничего подобного я не сделаю, однако и право на жительство в Италии вам дать не могу. Постарайтесь, в недельний срок, покинуть нашу страну".

— У меня есть родственники во Франции, я с ними уже списался, и они выхлопотали для меня визу. Через несколько дней она должна прийти во французское консульство в Генуе.

— Тем лучше! Перед отъездом приходите попрощаться со мной.

Через час после его ухода, в кабинете Нацолези сидел генеральный советский консул, Ридель. "С нашего парохода, стоящего в генуэзском порту, сбежал матрос. Вот его имя и приметы. Мое правительство, на основании существующего международного закона, требует его выдачи.

— Хорошо, — ответил Нацолези, — приму все надлежащие меры.

На следующий день, звонок, по телефону, из советского консульства:

— Нашли беглеца?

— Нет еще, господин консул; ищем.

Каждый день звонил телефон в кабинете начальника иностранного отдела генуэзской квестуры, и каждый раз, Нацолези отвечал: "Ищем". На шестой день к нему явился счастливый матрос, и показав французскую визу, сказал:

— С первым поездом уезжаю во Францию, и безмерно вам благодарен.

— Очень рад за вас! Желаю вам счастья!

И они обнялись на прощание.

Италия завербовала себе еще одного верного друга. Советскому консульству Назолези в конце концов ответил, что беглый матрос не найден, но, что, по его сведениям, ему удалось скрыться в Югославии.

В генуэзском Торгпредстве первым остался в Италии еврей, Шиффер. Прекрасный специалист пароходного дела, он быстро нашел себе другую службу, и сделался "невозвращенцем". Другому служащему, также не пожелавшему возвратиться в СССР, по имени Маркович, личности несколько темной, Италия отказала в праве убежища, и он уехал во Францию.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: Разрыв с Родиной.

В 1930 году, Советский Союз стал экспортировать хлеб, в огромном количестве и по чрезвычайно низкой цене: это был знаменитый сталинский демпинг. Этим путем Сталин рассчитывал подорвать весь мировой капиталистический рынок; но только вконец разрушил, уже расстроенную коллективизацией, экономику страны. В СССР снова начался голод. Была совершена грубая ошибка; ...но Сталин не мог ошибаться! Следовало найти "виновных",

и обвинив их в саботаже и экономической контрреволюции, снять с диктатора всякую ответственность за случившееся. "Отцу Народов" это не впервые: еще одним показательным процессом больше, с его десятком невинных жертв, — вот и все. Кого это могло остановить? Кого удивить?

Есть такая старая русская революционная песня; ее, говорят, любил Ленин. Она начинается строфами:

Как дело измены, как совесть тирана
Осенняя ночка темна...

Дело измены стоит здесь рядом с совестью тирана. Тиран — всегда изменник.

"Ты знаешь, Нюта, мой коллега, хлебный специалист при лондонском Торгпредстве, был внезапно отозван в Москву, но отказался туда ехать, и остался в Англии". Отец только что вернулся со службы, и теперь, несколько взволнованно, рассказывал эту новость моей матери.

— А если тебя отзовут — ты поедешь? — спросила она его.

— Я за собою никакой вины не ведаю, и рвать с моей Родиной не собираюсь.

Это было осенью 1931 года: однажды на службе, к отцу подошел некто Минущин, известный всем и каждому как "секретный" сотрудник ГПУ, так называемый "сексот", и сказал:

— Товарищ Вейцман, вы должны будете, в скором будущем, совершить небольшую поездку в Советский Союз.

— Небольшую поездку? — удивился мой отец.

— Да.

— Зачем это?

— Да так.

На этом разговор оборвался. Придя домой, папа дословно передал его маме, и добавил: "Что это все значит? Почему Минущин, ни с того, ни с сего, сказал мне такую вещь? Он, конечно, набитый дурак, но его кто-то подослал. Между прочим: наш хлебный специалист при парижском Торгпредстве, так же, как и лондонский, отозван в Москву. Говорят, что он уже уехал. Все это чрезвычайно странно".

"Моисей Давидович, товарищ Браверман вас просит к себе в кабинет". Мой отец оторвался от диктовки своей секретарше, Серафиме Ивановне, какого-то делового письма, и поспешил на зов начальника.

— Садитесь, пожалуйста, Моисей Давидович, я вас долго не задержу. В будущем году, в марте месяце, в Москве созывается международный съезд хлебников, и решено вас командировать на него, как представителя СССР.

— Очень тронут за честь; но, сколько мне известно, такой съезд уже имел место в Вене, всего только шесть месяцев тому назад, и великолепно обошелся без меня. Два подобных съезда, в один и тот же год, не бывают.

— Как вам угодно, Моисей Давидович, я только передаю вам то, что мне велено сказать.

Мой отец вышел из кабинета своего начальника очень взволнованным, и вернувшись вечером домой, сказал: "Боюсь, что меня, как бедного Крайнина, стараются заманить в СССР. Если бы меня просто отозвали, я, конечно, повиновался бы; но теперь решил быть сугубо осторожным". Моя мать одобрила отца.

В январе 1932 года, папа был вновь вызван к Браверману.

— Моисей Давидович, этой весной вы должны будете провести ваш отпуск в СССР. Если только вы пожелаете, мы вас устроим в доме отдыха, в Кисловодске. В конце весны там очень хорошо.

— С каких пор место отдыха стало принудительным?

— Таково новое распоряжение, полученное из Москвы, и обязательное для всех: все ответственные служащие, проживающие более двух лет за границей, должны провести летний отпуск в Советском Союзе.

Мой отец ничего ему на это не ответил; но вернувшись домой, сказал нам: "На этот раз их намерение заполучить меня в СССР совершенно очевидно. Но мне слишком памятен пример Крайнина, и я решился остаться в Италии".

Он был очень расстроен, и в тот вечер с ним случился маленький припадок: он внезапно упал, и на минуту лишился чувств. Однако довольно быстро пришел в себя и не велел звать врача.

В Париже выходила русская эмигрантская газета "Последние Новости", издаваемая профессором истории, Павлом Николаевичем Милюковым; лидером той самой партии КД, к которой принадлежал в Геническе мой отец. Профессора Милюкова, после февральской революции, прочили в первые президенты Российской Демократической Республики. Эту газету уже два года, как мы выписывали из Парижа, и читали ее с наслаждением.

Однажды, развернув первую страницу, нам бросился в глаза,

напечатанный крупным шрифтом, заголовок: "Трагическая смерть советского хлебного специалиста из гамбургского Торгпредства, Могилевского". Дальше следовала статья в которой рассказывалось подробно, что Могилевский недавно получил приказ о возвращении в СССР, и не понимая причины такого внезапного, и для него совершенно неожиданного, отзыва, испугался. Конечно он мог бы не вернуться, как это сделал его лондонский коллега; но не зная за собой никакой вины, на подобный шаг не решился.

Уже проехав Берлин, Могилевский заметил в своем вагоне мужчину и женщину, по виду русских, явно следивших за ним. Чем ближе — советская граница, тем наглее становились соглядатаи, а когда, на станции Столбцы, все пассажиры вышли из вагонов, для таможенной проверки багажа, оба шпиона, совершенно открыто, подошли к нему и молча пошли рядом с ним, по обеим сторонам, как бы конвоируя пленного. Совершенно растерявшись, и забыв, что он находится на польской территории, и, что роковой рубеж еще не перейден, несчастный, неожиданно оттолкнув от себя двух чекистов, пустился бежать по перрону, и чувствуя за собой погоню, бросился под маневрирующий паровоз. Когда его подняли он был жив и в сознании. Подошедшим жандармам Могилевский объяснил причину своего жеста, и указал на остановившуюся в отдалении пару советских шпионов. Польские жандармы погнались за ними, но им удалось скрыться между вагонами и их не нашли. Могилевский умер. Русский еврей, он был родом из Мариуполя, и в детстве дружил с моей мамой. Представьте себе какое впечатление произвело на нее, и на всех нас, это известие. Вскоре мы узнали, что вызванный в Москву специалист-хлебник из парижского Торгпредства, по прибытии туда был арестован. Все эти события еще больше укрепили моего отца в его решении остаться в Италии, и все же он колебался.

В числе сослуживцев отца был коммунист, по имени Барабаш, хорват по происхождению. Его жена, Елена Михайловна, очень дружила с моей матерью. Барабаш происходил из старинной дворянской семьи, и в начале Первой мировой войны был полковником генерального штаба Австро-Венгерской Империи. В момент поражения и падения этой последней он находился в Венгрии и там, в самом начале революции, примкнул к коммунистическому движению, и принял командование полком, в Красной Армии

Бела Куна. Барабаш был энтузиастом: он глубоко уверовал в правоту и величие коммунистического идеала, в силу и талант Бела Куна и в гений Ленина. У него был брат, такой же полковник австрийского генерального штаба, каким был он сам; но, отнюдь, не разделявший его идей. Вспыхнула гражданская война и братья расстались.

После одного из сражений, в котором красный полковник Барабаш одержал полную победу, разгромив дравшиеся против него части адмирала Хорти, из допроса пленных выяснилось, что более двух третей вражеского полка было перебито, и, что им командовал полковник Барабаш. Два брата сражались один против другого, рискуя стать братоубийцами. К счастью Бог этого не допустил и обы вышли живыми из гражданского побоища.

После победы адмирала Хорти, Барабаш сопровождал Бела Куна в его изгнание в СССР, и так принял советское гражданство, и сделался членом коммунистической партии Советского Союза. Честный и искренний коммунист, он после смерти Ленина и прихода к власти Сталина, быстро понял, что установившийся режим ничего общего с первоначальной идеей коммунизма не имеет, и кончил тем, что совершенно разочаровался в нем. Работая в генуэзском Торгпредстве, он стал тайно переписываться со своим братом, который теперь занимал высокий пост в Югославии, при короле Александре. Он не скрыл от брата своих настроений, и тот предложил ему приехать в Белград, обещая выхлопотать ему у короля полное прощение, и найти для него там работу. Елена Михайловна умоляла его принять предложение брата; но он, на все ее мольбы, упорно отвечал: "В жизни можно быть изменником только раз".

Как я уже выше сказал, Елена Михайловна очень дружила с моей матерью, и они поверяли друг другу все их семейные тайны. Конечно, официально, мужья не должны были знать о чем говорили их жены. Однажды вечером у нас сидели Барабаш и Елена Михайловна, и беседовали с моими родителями на разные нейтральные темы. И вот, совершенно вне всякой связи с ведущейся беседой, Барабаш обратился к моему отцу со следующими словами: "Когда вы, дорогой Моисей Давидович, решаетесь на что либо, то никогда не колебайтесь, и не садитесь между двумя стульями, ибо, в этом случае, вы рискуете упасть. Простите меня, если можете, за этот непрошенный совет". Больше он ничего не прибавил.

Вскоре Барабаш, с женой и сыном, вернулся в СССР и, как нам передавали, был расстрелян Сталиным.

Вновь мой отец был вызван в кабинет начальника, но на этот раз к самому торгпреду, Абраму Львовичу Левинсону.

— Моисей Давидович, мне сказали, что вы отказываетесь провести ваш ближайший отпуск в Союзе; почему?

— Послушайте, Абрам Львович, я просто ничего не понимаю! Минущин, которому нет до этого никакого дела, встречает меня как-то на улице, и заявляет, что я должен, внезапно, подняться и поехать в Москву. Немного времени спустя Браверман мне сообщает, что я выбран делегатом на несуществующий съезд хлебников, долженствующий, якобы, быть весною в СССР. Проходит еще немного времени, и все тот же Браверман, вновь вызывает меня к себе в кабинет, и мне говорит, что я буду обязан, этой весной, провести мой отдых в Кисловодске. Если бы вы лично, в самом начале, мне просто сообщили о моем отзыве в Москву, я бы, немедленно, и не раздумывая ни минуты, уехал туда. Но теперь, скажу вам искренне, Абрам Львович: я боюсь, и совершенно не понимаю почему, продолжая работать в генуэзском Торгпредстве, я должен провести мой ближайший отпуск в Кисловодске.

— Послушайте, Моисей Давидович, я вас очень уважаю и с вами буду откровенен до конца. Конечно: Минущин и Браверман — два дурака, но дело не в них и не в глупостях, которые они вам говорили. Большинство ответственных советских работников за границей, от времени до времени, должны возвращаться, хотя бы и на самый короткий срок, в Советский Союз, подышать там, так сказать, родным воздухом. Я ничего не хочу от вас скрывать: это делается по требованию некоторых учреждений — вы сами знаете о чем я говорю. Не в Кисловодск вас зовут. По приезде в Москву, вас, наверное, потаскают по разным местам, и подвергнут допросам; но, с другой стороны, чего вам бояться? Потаскают вас и отпустят; а я вам прямо скажу: я редко встречал столь честного и преданного работника как вы. Когда для вас окончится вся эта крайне неприятная процедура, вы отдохнете и вновь вернетесь в Геную, на ваше прежнее место. Ну, что — вы едете?

— Пока еще я не еду. Разрешите мне собраться с мыслями и подумать обо всем этом.

— Подумайте немного — я вас не тороплю. Однако, мой совет:

не тяните долго; для вас же будет лучше. До свидания, Моисей Давидович, когда надумаете, дайте мне об этом знать.

В тот вечер отец сказал моей матери: "Видишь, Нюта, Крайнина Левинсон поймал мечтою об Америке, а меня он старается подкупить своею искренностью. Завтра я пойду в Квестуру и там узнаю — можем ли мы остаться в Италии. В случае утвердительного ответа, мы в Советский Союз больше не вернемся. Не хочу рисковать быть расстрелянным как Крайнин.

Начальник иностранного отдела Квестуры, командор ордена "Короны Италии", Нацолези, принял моего отца приветливо. Отец подробно и искренне рассказал ему о своем положении, и попросил, для себя и семьи, разрешение остаться в Италии. Нацолези достал из шкафа большую папку, с именем моего отца на обложке, раскрыл ее, и минут с десять внимательно просматривал; наконец захлопнув папку, и отложив ее в сторону, он улыбнулся и сказал: "Синьор Вейцман, вы и ваша семья можете навсегда поселиться в Италии; она вас берет под свое покровительство. У вас, вероятно, нет больших средств к существованию, а потому я вам советую взять у большевиков как можно больше денег".

В середине марта к нам, неожиданно, приехал двоюродный брат моего отца, сын дедушки "Мороза", Арнольд Иосифович Вейцман. Приехал он в Геную, под предлогом деловой командировки; но папа сразу понял, что этот предлог ложен. Прогостил у нас Арнольд с неделю, и с первых же дней начал уговаривать нас вернуться в Советский Союз. Его аргументы были трех родов:

1. "Это все — нервы и химеры; Мосе опасаться нечего."

2. "Филя будет продолжать учиться в Москве; а если в силу процентной нормы, касающейся детей интеллигентов, он и не сможет продолжать свое учение в высшем учебном заведении, то, ведь, не все люди имеют университетские дипломы; в СССР работы достаточно и для людей со средним образованием."

3. "Надо думать и о родственниках. Всем братьям, родным и двоюродным, такой Мосин поступок может сильно повредить."

Отец с ним не спорил; но моя мать ему отвечала, что рисковать жизнью Моси, ради избавления Арнольда от возможных неприятностей, она не намерена. Что касается моего образования, то оно не является основной причиной нашего, предполагаемого, разрыва с Советским Союзом, но, что мое будущее тоже

дорого ее материнскому сердцу. В конце концов он уехал ничего не добившись. Несомненно, что он был к нам подослан. Вот как сталинская тирания развращала нравы, превращая близких людей в предателей!

Для заключения крупного торгового договора с Италией, в апреле 1932 года, в Геную приехал один из главных директоров Внешторга, член правительства, член Центрального Комитета Партии, Вульфсон. Через два дня после своего приезда он отправился, с моим отцом, осматривать электрическую мельницу, находящуюся недалеко от Венеции. Во время пути они разговорились. Они были довольно хорошо знакомы еше со времен службы моего отца в Москве. Вульфсон принадлежал к, ныне исчезнувшей, категории старых подпольщиков царских времен, коммунистов-идеалистов, и был человеком высокой честности.

— Мне говорили о вас, товарищ Вейцман, и я чувствую, что мы вас теряем, — сказал Вульфсон.

Отец изложил ему все обстоятельства, и объяснил свои опасения. Вульфсон долго уговаривал отца переменить свое решение, и наконец отец ему сказал:

— Товарищ Вульфсон, я вас очень уважаю и верю вам; если вы мне дадите ваше честное слово, что я ничем серьезным не рискую, и в случае моего возвращения мне ничего худого не сделают, то я немедленно уеду в СССР. Дайте на это мне ваше честное слово!

— Нет, товарищ Вейцман, я этого слова вам дать не могу; делайте как знаете.

При расставании они расцеловались.

Однажды вечером мой отец, возвратившись со службы, сказал: "Все кончено! Больше я в Торгпредство не вернусь. Час тому назад Браверман заявил мне: "Моисей Давидович, вы должны, немедля уехать в Москву. Даю вам на сборы недельный срок". Я сказал ему: "хорошо"; сдал секретарше все текущие дела и ключи от письменного стола, и пошел домой.

— Садись, Мося, ужинать, — сказала ему мама.

— Спасибо — не хочу. Постели мне, пожалуйста, постель.

Он лег и замолчал, не отвечая больше ни на какие вопросы. Ночь прошла спокойно, но утром отец не встал с постели, и продолжал лежать, хотя казался в полном сознании. Мама принесла ему завтрак, который он съел молча. Позвали врача. Врач ничего серьезного не нашел, объясняя его состояние сильным нервным

шоком, и сказал, что, по всей вероятности, через несколько дней это пройдет; но предупредил, что больному нужен полный покой. Между тем Торгпредство прислало и своего врача. Перед вечером к нам явился его прямой начальник, Браверман. Открыла ему мать.

— Моисей Давидович болен?

— Да! Поглядите сами до чего вы его довели!

Браверман прямо прошел в спальную моего отца.

— Что это, Моисей Давидович, вы болеете?

Никакого ответа не последовало.

— Можно ли быть таким нервным?

Отец продолжал молчать; но тут вмешалась моя мать:

— Вот как вы дорожите вашими лучшими работниками! Вы их доводите до болезни, замучиваете, а потом приходите навещать.

— При чем тут я? Ваш Моисей Давидович переутомился. Он слишком много работал. Я всегда удивлялся его трудоспособности; но последнее время он стал, без причины, нервным. Ладно! Пусть недельки с две он отдохнет, с вами, в Нерви, а потом поедет в Советский Союз, проводить там свой отпуск. Все служащие, без исключения, должны его проводить в СССР.

— А почему Ляпин не едет? Он тоже ответственный работник, и живет в Генуе больше трех лет.

— Это не ваше дело!

— Вы очень ошибаетесь: это мое дело! Зачем моему мужу ехать, проводить свой отпуск, в Советский Союз? Ему теперь надо отдыхать и лечиться, а вы посылаете в страну, в которой царит голод.

— Какой такой голод?! Что вы такое говорите?

— А, что вы думаете, что мы не знаем? что нам неизвестно, что у вас там творится? Отлично известно! Вновь люди с голоду мрут.

— Вот они — наши жены! Все несчастья идут от них! они нас толкают на всякие глупости! Оставим его с вами отдыхать в Нерви целый месяц. К тому времени Минущин с женою тоже отправятся в СССР. Вместе они и поедут.

— Как?! Чтобы мой муж поехал в Советский Союз в сопровождении Минущиных! Вы, что? вчера родились? вы не знаете кто они такие? Когда он захочет уехать в СССР, то поедет туда в компании своей жены и сына, а не двух, всем известных, чекистов.

— Какие такие чекисты?! Как вы смеете так говорить!

Короче: оба подняли такой крик, что я испугался, но моя мать высказала Браверману все, что лежало у нее на душе. Во время этой сцены мой отец не проронил ни слова. Наконец, накричавшись до хрипоты, Браверман ушел.

Отец, как немой, пролежал целую неделю, но в одно прекрасное утро, к нашей великой радости, он заговорил и встал. Первым делом он пошел к Нацолези, и сказал ему, что боится за себя и свою семью.

"Будьте осторожны, — ответил отцу Командор, — с моей стороны я приму надлежащие меры, однако не могу поставить около ваших дверей двух карабинеров. Но не волнуйтесь: в Италии Кутеповых на улице не крадут. Советую вам, на всякий случай, переменить квартиру".

Мы так и сделали, и через несколько дней сняли две комнаты в одной итальянской семье, недалеко от прежнего места жительства.

7 мая 1932 года, мой отец передал мне конверт с письмом, на имя торгпреда Левинсона, о своей официальной отставке и окончательном разрыве.

Он, конечно, не последовал совету Нацолези, и не только не задержал у себя лишней копейки, но отослал в Торгпредство пишущую машинку, с русским шрифтом, взятую им из конторы еще в Нерви, на дом, и о которой решительно все забыли.

Я принял из рук отца, письмо, оно было не заказное, и бросил его в первый почтовый ящик.

Alea jacta est!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Без Родины.

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Лермонтов.

ГЛАВА ПЕРВАЯ : Первые дни изгнания.

Пыль Москвы, на ленте старой шляпы,
Я, как символ, свято берегу.

Лоло (Мунштейн)

Итак — все кончено! Отныне я: "аполиде", "апатрид", "хайматлос", короче, человек без родины.

Отечества, моего настоящего, моего Святого Отечества, земли моих предков, я еще не знал, а Родину — навеки потерял.

Правда! Я не был, как Лермонтовский Демон, изгнанником рая, а, скорее, ада; но этот ад мне был родным, и я с ним свыкся.

Голубое небо; голубое море; теплое, ласковое солнце; кругом меня добрый, милый итальянский народ, а на сердце скребут кошки.

"Горек хлеб изгнания и тяжелы ступени чужого порога", — сказал Данте. Но надо было приспособляться и жить. Выбор итальянской семьи, у которой мы сняли две комнаты, оказался неудачным. Семья состояла из пожилой вдовы, незамужней дочери, где-то служившей, и четырнадцатилетней племянницы — сироты, полуидиотки. Люди они были хорошие, но глубоко несчастные. Как говорится: "Пришла беда — открывай ворота". Года два тому назад умер муж хозяйки, ее единственный сын недавно погиб при автомобильной катастрофе; а старшая дочь, еще при жизни отца, сбежала с любовником, который ее, вскоре, бросил. Домой она не вернулась, и теперь сделалась простой уличной девкой. Когда у самих так тяжело на душе, эта атмосфера общего горя, еще больше действовала на нас подавляюще. Моя мать часами плакала, а отец, теперь, не выходил один из дому, и я его везде сопровождал, оставляя мать одну. Перемена квартиры ни к чему не послужила, и торгпредские "товарищи" нас сразу выследили. Через несколько дней после переезда на новую квартиру, к нам явилась бывшая секретарша отца, Серафима Ивановна. Папа ее не принял; вышла к ней мама.

"Здравствуйте, Анна Павловна, — затараторила она, как ни в чем не бывало. — Я пришла навестить Моисея Давидовича. Как его здоровье? Кстати, я захватила с собою некоторые деловые бумаги, и хотела бы ему их показать. Мне самой в них разобраться не удалось". Отец ей передал через маму, что он больше никакого отношения, к делам Торгпредства, не имеет. Кроме того он извиняется, но принять ее не может, и просит больше его не беспокоить. Серафима Ивановна, которой было просто поручено посмотреть как это мы теперь живем, нисколько не смутилась таким приемом, очень любезно попрощалась с мамой, и ушла. Это был наш последний, непосредственный контакт с Торгпредством.

В первый год нашего пребывания в Генуе, когда никто из нас и не помышлял о возможном разрыве с Советским Союзом, мне раза два довелось быть гидом матросов с советского корабля, желающих посмотреть город, а в особенности знаменитое кладбище, Кампо Санто. Много позже, незадолго до нашего перехода

на эмигрантское положение, когда многие члены советской колонии уже об этом знали или догадывались, в Геную прибыл очередной советский пароход. К моему отцу, тогда еще работавшему в Торгпредстве, подошел все тот же Минущин:

— Моисей Давидович, пожалуйста, пошлите завтра вашего сына на "Красный Крым", что стоит в порту. Завтра воскресенье, он, вероятно, свободен и сможет сопровождать наших матросов на Кампо Санто.

— Пусть они сойдут на берег и назначат свидание моему сыну, и он их будет сопровождать куда они пожелают.

— Нет, это невозможно; матросы сами не смогут ориентироваться. Вашему сыну придется взойти на пароход.

— Мой сын не может этого сделать.

— Почему?

— Он боится моря.

Минущин больше не настаивал.

Вскоре после нашего разрыва с Советским Союзом, к нам, украдкой, пришел Юра Розенштейн. Он недавно получил из СССР письмо от своего отца, и принес его нам показать. В нем Розенштейн писал своему сыну, что теперь он не должен больше нас посещать, так как "болезнь очень опасная и заразительная". Юра не послушался. Недавно советский консул, Ридель, позвал его к себе и сделал ему строгий выговор: "Вы дружили с семьей Вейцман, нам это хорошо известно, следовательно вы не могли не знать, что они собираются остаться в Италии, и окончательно порвать с Советским Союзом. Если бы мы были вовремя о том уведомлены, то попытались бы спасти хотя бы сына". "Спасти", значило: увезти меня насильно в Советский Союз. Потом Юра нам рассказал, что дня четыре тому назад, в Геную прибыло еще одно торговое судно из Одессы. В воскресенье его снова позвал консул Ридель, и попросил пойти на это судно и организовать для матросов небольшую туристскую экспедицию в город и на Кампо Санто. Он пошел. У сходен парохода стоял фашистский милиционер. При виде Юры, он коротко спросил: "Куда вы идете и зачем?" Получив ответ, фашист возразил: "Я вас одного на советское судно не пущу", — и взойдя на палубу, остался стоять на ней до тех пор пока Юра, в сопровождении матросов, не сошел на берег.

В фашистской Италии людей не крали.

С Москвой нас все еще связывали кое-какие материальные интересы. Перед отъездом, как я уже об этом рассказывал выше, мой отец положил в сберегательную кассу, на свое имя, довольно приличную сумму денег. По закону "Беседовского", все имущество "невозвращенца" подлежало конфискации. Желая спасти хоть часть этих денег, он написал туда просьбу о пересылке небольшой суммы денег в Одессу, на имя Леонида Чудновского, мужа тети Рикки, сестры моей матери; эта операция ему удалась, и тетя Рикка получила переведенные папой деньги сполна. Ободренный удачей отец стал переводить, тете в Одессу, ежемесячно, по сотне червонцев. В конце концов, когда денег, в московской сберегательной кассе, на книжке моего отца, осталось уже совсем немного, ее директор, вероятно узнав о случившемся, прекратил переводы.

В свое время, еще в Москве, для нашей тамошней комнаты, мы купили новенькую и весьма дорогую мебель. На полу у нас лежала знаменитая кавказская медвежья шкура. Всю эту обстановку мы поручили на хранение, до нашего возвращения, одному близкому родственнику Либмана, проживавшему в Москве. Мой отец написал ему письмо, прося передать все наше, находящееся у него имущество, предъявительнице доверенности. Одновременно он послал такую доверенность в Харьков, другой маминой сестре, тете Берте. Для этой цели моя тетя, после получения доверенности, поехала в Москву; но родственник Либмана отказался выдать мебель, заявив: "Пусть Моисей Давидович придет и сам ее возьмет". Мебель пропала.

Переписка с СССР сделалась редкой; писали только сестры мамы, и то не часто. В одном из последних писем, полученных отцом из Симферополя, незадолго до его разрыва с советской Россией, его сестра Рахиль ему сообщила о смерти его матери.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Открытие домашнего пансиона.

В момент нашего разрыва с СССР, после четырех с половиной лет службы моего отца в Торгпредстве, в течение которых он получал, в долларах, весьма немалое жалованье, у нас оказалось сэкономлено около 35.000 лир. Относительная мизерность этой суммы, обеспечивающая нам, самое большее, три года почти нищенского существования, объяснялась: во-первых, исключитель-

ной честностью моего отца, а во-вторых, тем, что думая возвратиться в Москву, мы не экономили. Однажды, будучи еще директором хлебной конторы Торгпредства, мой отец совершил, с неким богатейшим генуэзским купцом, многомиллионную сделку, после чего этот последний предложил отцу 5% со всей суммы. Папа очень возмутился и заявил, что если тот еще раз посмеет ему делать подобные предложения, то он с ним больше никаких коммерческих операций совершать не будет.

"Но, — возразил купец, — у нас так принято: это не взятка. Вы сами должны были заметить, что я не предложил вам этих денег до подписания контракта".

— Все равно, — ответил мой отец, — за мою работу мне платит государство, и никаких побочных заработков я иметь не намерен.

После разрыва с Торгпредством, никакое государство моему отцу больше жалованья не платило, и надо было серьезно начинать думать о будущем. В моих занятиях на факультете я, увы, продвигался очень медленно, и еще совершенно не знал, когда смогу заменить отца на его посту кормильца нашей семьи. Перед нами начал маячить призрак нищенства и голода на чужбине, и в самом недалеком будущем. Между тем, мы оставили несчастную итальянскую семью, с ее угнетающей атмосферой, и сняли комнату, все в том же районе, в другой семье, где нас не окружало еще и чужое горе. На новой квартире, родители мои понемногу воспряли духом, и начали искать выхода из создавшегося положения.

Вскоре после нас, еще один служащий Торгпредства отказался вернуться в советский рай. Юлиан Донатьевич Ляндзберг, обрусевший немец, тот самый который первым пришел в отель Бристоль познакомиться с нами, через несколько часов после нашего приезда в Геную, занимал в Торгпредстве не столь высокое положение как мой отец, и жалованье ему шло более скромное. Вследствие этого, денег он имел еще меньше, чем мы. В момент его перехода на эмигрантское положение, ему было лет шестьдесят; он был женат на женщине на четверть века моложе его. Звали эту даму: Луиза Густавовна, урожденная Там. Мать ее была родом украинка, из знаменитой семьи Чечель. Ее предок, казненный Петром, был сподвижником Мазепы. "На плахе гибнет Чечель смелый...", писал Пушкин в поэме "Полтава". После недолгих переговоров мои родители решили, вместе с супругами Лянд-

зберг, открыть домашний пансион. Для этой цели отец дал тридцать тысяч лир, а Ляндзберг вложил в дело еще десять тысяч. Пропорционально вкладам: три четверти чистого заработка, ежели таковый окажется, будет принадлежать нам, а четверть — им. Сняли прекрасную квартиру, на третьем этаже дома № 14, на Корсо Торино. На довольно дорогую обстановку ушли почти все сорок тысяч лир. Квартира была комфортабельной; состояла из шести комнат, кухни и ванной; имелось в ней и водяное отопление, идущее из кухни, и т. д.

Зарегистрировали пансион, получили на него разрешение полиции, дали объявление в местной газете и стали ждать жильцов. Первыми жильцами оказались два молодых заштатных чиновника, министерства путей сообщения, начинающий инженер Бартолелли и землемер Мальето. Вскоре к ним присоединилась пятидесятилетняя незамужняя швейцарка, Маргарита Геренгутен. Она была рантье; но подрабатывала еще уроками языков. Мы наняли двух итальянских девушек-сестер: Розу и Ливию, и с их помощью мама храбро взялась вести домашний пансион.

Во время революции и гражданской войны, она немного научилась стряпать для своей семьи, и теперь это ей пригодилось, а Роза начала обучать ее итальянской кухне. Каждое утро маме приходилось ходить на рынок, а он отстоял довольно далеко от дома, и, нередко, носить оттуда почти непосильные для нее тяжести. В это самое время Роза готовила на кухне обед, а Ливия убирала квартиру. Папа взял на себя всю официальную часть: бухгалтерию, выправление всяких бумаг, сношения с клиентами и т. д. Я продолжал учиться, медленно преодолевал трудности наук и языка. Нередко я падал духом, и тогда мой отец мне говорил: "Что нюни распустил! Тебе не стыдно? Тот не студент кто не проваливался на экзаменах!" Бедный отец! Он меня старался ободрить, а сам очень страшился будущего и страдал от вынужденного бездействия.

Через месяц после открытия нашего пансиона, отец, в компании с Ляндзбергом, решили заняться коммерцией. У папы оказались в Польше, в Слонюме, кое-какие связи среди тамошних евреев-купцов. Он списался с ними, и предложил им экспортировать в Италию польские яйца. Они быстро согласились. Не вхожу в подробности дела; скажу коротко: польские евреи сразу обманули моего отца, и он потеряв на этом деле тысяч с пять лир, остался совершенно без свободных средств. Это была его послед-

няя попытка продолжать активное существование. После неудачи с яйцами, он ограничился ведением дел нашего домашнего пансиона, и стал быстро дряхлеть.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Наш пансион.

Жизнь в нашем пансионе понемногу наладилась. Мама большую часть дня проводила на кухне, где, с помощью Розы, готовила обед и ужин. Чистого заработка у нас не было никакого, наоборот: ежемесячно мы терпели убыток, в среднем, в 300 лир. Однако такое положение дел нам позволяло, живя в хорошей квартире и прекрасно питаясь, значительно отдалить фатальную развязку, т. е. нищенство. Ляндзберги прожили с нами около года, но потом, Юлиану Донатьевичу посчастливилось найти какое-то занятие, и продав нам свою долю нашего общего дела, он переехал с жёною на другую квартиру. Отец заплатил ему долгосрочными векселями.

По истечении года после открытия нашего домашнего пансиона, мой отец был вызван к налоговому инспектору. Оказалось, что помимо всех прочих, весьма тяжелых, налогов, следовало платить государству еще известный процент с чистой прибыли. Передаю, почти дословно, разговор, имевший место по этому случаю, в кабинете итальянского налогового инспектора.

— Вы синьор Вейцман?

— Да.

— Вы хозяин домашнего пансиона на Корсо Торино № 14?

— Совершенно верно.

— Какая ваша, синьор, чистая годовая прибыль?

— 3.600 лир чистого убытка.

— Этого не может быть! Для чего вы, в таком случае, содержите ваш пансион?

— Для того, чтобы тратить в месяц 300 лир вместо 1000.

— Вы иностранец?

— Да.

— Откуда вы родом?

— Я русский беженец.

— А! Ну, это другое дело!

В результате мы были освобождены от уплаты этого налога.

В половине первого дня, и в семь часов вечера, все наши жиль-

цы, вместе с нами, собирались вокруг большого овального стола, для обеда и ужина. Этот стол был у нас чем-то вроде "табльдота". Теперь, когда я вспоминаю мою жизнь середины тридцатых годов, передо мною проходит вереница лиц: мужских и женских, старых и молодых; всех кто, между осенью 1932 года и летом 1938 года, жили в стенах нашего маленького пансиона. Были среди них люди хорошие и плохие, но первые преобладали. Но надо признаться, что все наши пансионеры имели одну общую черту: все они, за полный пансион, платили слишком мало. Теперь я расскажу, желающим послушать, о некоторых из них:

Инженер Бруно Бартолелли:

Этот молодой, удивительно скромный, тихий и даровитый инженер, был первым нашим жильцом. Родом из Пармы, города сыра и фиалок, он происходил из очень религиозной католической семьи. Его сестра, с которой я был знаком, впоследствии постриглась в монахини. Сам Бруно к религии большой склонности не имел.

По окончании пармского лицея, он уехал, продолжать свое образование, в Турин, и там поступил в политехникум. Для ограждения сына от греховного влияния этого слишком веселого города, родители поместили его, на полный пансион, к одному давно знакомому священнику. Скромный юноша, воспитанный в лоне своей очень католической семьи, почти по-пуритански, стал проводить все свои свободные от лекций часы, у себя в комнате, за книгой. Набожный католический священник первое время, молча, но с удивлением, наблюдал келейную жизнь молодого студента. Наконец, однажды, он не выдержал, и позвав к себе Бруно, прочел ему, на правах духовного отца, строгую нотацию, что, дескать, так жить нехорошо: учение не убежит, а вот годы молодости уходят безвозвратно — это он по себе знает. Кроме того, по улицам ходят, всей Италии известные своим изяществом и грацией, "тоты" (tota: молодая туринская девушка), а "тоты" созданы самим Господом для того чтобы за ними ухаживали и их любили. Этим вечером духовный наставник отправил своего питомца немного погулять по светлым и веселым улицам Турина. С того дня добрый священник не имел никакого основания быть недовольным Бруно. Надо сказать, что Бруно Бартолелли обладал исключительными способностями, и никакие "тоты" помешать его учению не могли. Блестяще окончив факультет гражданской

инженерии, он поступил в Генуе, заштатным чиновником, в министерство путей сообщения, в департамент постройки шоссейных дорог, и поселился в нашем пансионе. Прожил он у нас года четыре. Я редко встречал более скромного человека. Однажды, не сказав ни слова, он уехал на несколько дней в Рим, держать конкурсный экзамен, и только позже, и то случайно, мы узнали, что он его блестяще выдержал, одним из первых, и сделался штатным чиновником. Когда мама его спросила об этом, он только застенчиво улыбнулся: "Да, выдержал". В своем министерстве Бруно пошел быстро в гору. Года через два мы узнали, опять таки со стороны, что он был награжден орденом "Итальянской Короны". После завоевания Эфиопии, Бартолелли был послан туда строить дороги, но через несколько месяцев вернулся в Италию больным. Он, в Эритрее, схватил довольно злокачественную форму малярии. Вскоре после его возвращения в Геную, Бартолелли был переведен в Милан, на пост директора миланского отделения министерства. Позже мы узнали о его женитьбе на дочери министра. В 1938 году, в то время, когда, в одно туманное утро, он инспектировал работы по ремонту дороги, грузовой автомобиль наехал на него и отрезал ему обе ноги. Он умер в больнице, оставив беременной свою молодую жену. Какая жалость!

Лейтенанты: Марини и Силедони

Целых три года прожили в нашем пансионе два молодых лейтенанта морских инженерных войск: Марини и Силедони. Для продвижения по службе они были обязаны окончить Генуэзскую Высшую Кораблестроительную школу. Она считалась первой в Италии и второй, после лондонской, во всей Европе. Приехав, с этой целью, в Геную, оба лейтенанта поселились у нас.

Марини был родом с острова Эльбы, и происходил из простой и небогатой семьи. Он не был тщеславен, за чинами не гнался, но страстно желал разбогатеть. Так как на свои собственные средства этот юноша не мог продолжать учиться, то он выбрал морскую инженерную карьеру с целью получения, за счет государственной казны, диплома инженера-кораблестроителя, с тем чтобы после, прослужив положенное число лет, выйти в отставку, и поступить на верфи, в качестве штатского инженера. В этом случае он мог рассчитывать на весьма крупное жалованье. Такая перспектива его прельщала значительно больше золотых эполет.

Этот бравый моряк очень страшился простуды, и ложась спать закупоривал наглухо свое окно. Кроме того он, вообще, был пуглив и нервен как "кисейная" барышня начала девятнадцатого века. К нам, раз в неделю, приходила гладить белье, одна уже немолодая, но бойкая на язык, женщина. Как-то раз она выгладила, по мнению Марини, плохо его рубашку. Он попытался сделать ей замечание, но в ответ на это прачка начала осыпать офицера руганью. В страхе он убежал в свою комнату, но она не оставила его и там, и когда в дело вмешалась моя мать, то застала Марини, взлезшего с ногами на свою кровать, а прачку стоящую, подбоченясь, перед ним, и ругающую его "на чем свет стоит". Мама, кое-как, успокоила разошедшуюся бабу, и дала возможность храброму воину слезть с кровати на пол. У Марини была любовница, замужняя итальянская еврейка. Он нам рассказывал о своей к ней любви. Это его глубокое чувство к чужой жене не помешало ему посвататься к дочери богатого генуэзского купца. Невесту свою он нисколько не любил, но ревновал, и запрещал, без его разрешения, выходить на улицу, даже в сопровождении ее матери. Она нередко плакала, но слушалась жениха. Таковы были нравы.

Когда оба офицера получили свои дипломы, они покинули наш пансион, а вскоре мы узнали, что Марини был произведен в капитаны, и поступил, по собственной просьбе, в подводный флот. Я думаю, что он это сделал для избежания сквозных ветров. Дальнейшая судьба сего морского волка мне неизвестна.

Его товарищ, Силедони, итальянский дворянин, происходил от боковой ветви графов того же имени. Очень породистый, он всем своим видом соответствовал понятию об офицере, и умел с шиком носить военную форму. Он был слегка заносчив и не очень умен. Однажды, играя с ним в шахматы, я позволил себе вольность выиграть у него партию. Он серьезно обиделся. Этот лейтенант всем говорил о своей заветной мечте — дослужиться до генерала. По получении диплома, Силедони был переведен в Ля Специя — самый большой военный порт Италии. Там с ним случилось несчастье: он познакомился с несовершеннолетней девицей, дочерью торговки рыбой на тамошнем рынке, и соблазнил ее. Счастливая дочь, немедленно рассказала, о таком своем успехе, матери, и та, вызвав к себе офицера, потребовала, чтобы он женился на обесчещенной им ее дочери, угрожая ему, в противном случае, передать дело в суд, и обвинить его в совращении малолетних. Пришлось подчиниться; и гордый потомок графов оказался жена-

тым на вульгарной, строптивой и довольно развратной бабе. Говорили, что со стороны семьи жениха никто на свадьбе не присутствовал. Он еще раза два приезжал в Геную, и всякий раз останавливался в нашем пансионе. Таким образом мы имели счастье и честь познакомиться с его молодой супругой. Есть такая известная оперетта: "Дочь мадам Анго". Марини говорил, что он предпочел бы отказаться от своей карьеры и отсидеть несколько лет в тюрьме, нежели жениться на подобной особе.

Генеральша:

Однажды к нам явился молодой артиллерийский офицер, и попросил показать ему хорошую комнату, желая снять ее, с полным пансионом, не для себя, но для своей матери-вдовы. Комната ему понравилась, и о цене он не спорил. Через несколько дней у нас поселилась новая жилица — шестидесятилетняя вдова генерала Карлонези. Это была весьма подвижная женщина, худенькая и не высокого роста. Свою комнату она обставила и украсила статуэтками, изображениями мадонн и разных католических святых, а также портретами своего мужа. С портретов глядел пожилой, но еще красивый, мужчина, затянутый в военный мундир, и всем своим бравым видом доказывавший, что покойный генерал был человеком любившим и умевшим хорошо пожить. Его вдова оказалась женщиной доброй, общительной и разговорчивой. Она нам сообщила, что ее муж, два года тому назад был произведен в бригадные генералы, и вот уже пять месяцев как внезапно скончался от удара. Вскоре, в разговоре с моим отцом, генеральша рассказала о своей любви к покойному мужу, и о своей несправедливой к нему ревности.

"Подумайте только, — рассказывала вдова, — какая я была глупая: раз как-то открываю ящик его стола, и нахожу в нем распечатанное женское письмо, на имя полковника Карлонези. Я разворачиваю его и читаю: письмо было любовное. Когда пришел мой муж, я побежала ему навстречу с этим письмом, и начала его осыпать упреками. Он взял его у меня из рук, рассмеялся и сказал: "Глупенькая, разве ты не видишь, что оно не ко мне? На конверте написано: полковнику Карлонези, а я, ведь, генерал". Ведь это правда! Какая я была нехорошая, какая ревнивая!" Она расплакалась.

Генеральша была крайне религиозна. К ней часто ходили монахини. Она нам объяснила, что дает им деньги на молитвы о душе

мужа. Таким образом бедная женщина надеялась сократить срок пребывания усопшего генерала в чистилище. Генеральша нам еще рассказывала, что своих обоих сыновей-офицеров она воспитывала в духе религии и строжайшей морали: "Я им запрещала еще с детства, когда они мылись в ванне, раздеваться догола. Не хорошо быть голым даже перед самим собой! Они мылись в длинных рубахах".

Я не имел удовольствия знать ее другого сына, но тот, который снял у нас комнату, внешне сильно походил на отца, и трудно было предположить, глядя на него, что наставления и уроки благочестия его матери принесли большие плоды. Однажды она спросила маму, какой она веры. Мама ей сказала:

— Я еврейка.

— Еврейка, — удивилась она, — а, что значит еврейка? Вы в Бога веруете?

— Конечно верую.

— А в Мадонну?

— В Мадонну не верую.

— Как странно!

В другой раз она принесла маме букет цветов. Мама немного удивилась.

"Сегодня день святой Анны, — пояснила она, — так это — ваш праздник".

Мама ее горячо поблагодарила. Какая симпатичная женщина!

"Медиум":

"Есть у вас свободная комната? Я приехала из Турина на два месяца". На пороге стояла довольно красивая женщина лет тридцати, и держала за руки двух детей: мальчика лет шести, и девочку двумя годами моложе. Свободная комната у нас оказалась. Молодая женщина представилась: "Синьора Мария Валентини. Мой муж служит в Турине на железной дороге. Приехала в Геную, главным образом, для детей. Врач мне посоветовал везти их к морю; но Ривьера мне не по карману. Буду их водить, каждый день, на пляж; он, кажется, отсюда недалек".

Эта дама прожила у нас ровно два месяца: июль и август. Дети оказались крайне невоспитанными: рвали в комнате обои; пачкали, портили и ломали все, что только могли; но нам очень разборчивыми быть не приходилось; синьора Валентини платила за комнату, с полным пансионом, довольно прилично, и вполне исправно.

Эта дама нам поведала, что ее муж зарабатывает мало, но, к счастью, она помогает ему своей нелегкой профессией: она — медиум. За весьма приличную плату, эта современная Пифия, впадала в транс, во время которого в нее вселялся некий дух, по имени Эргос, и тогда она, изменившимся голосом, предсказывала будущее. Однажды, желая продемонстрировать перед нами, и всеми нашими пансионерами, свое искусство, она любезно предложила, совершенно бесплатно, впасть в транс. "Что-ж, впадайте", — согласились мы все хором,... и она впала. Сидя удобно на стуле, синьора Валентини некоторое время беседовала с нами о том и о сем, и, вдруг, затряслась, закатила глаза, и совершенно другим голосом стала пророчить. По ее уверению это уже была не она, а синьор Эргос. Мы задавали ей разные вопросы, а она, в ответ на них, порола всякий вздор. Через некоторое время после ее отъезда мы получили письмо, подписанное Эргосом. Этот дружелюбный дух нам предлагал писать ему, т. е., конечно, синьоре Валентини, о наших жизненных затруднениях: он смело берется их всех разрешить.

Год спустя мы прочли в газетах о том, что в Риме была арестована целая шайка жуликов, во главе, которой стояла Мария Валентини. Она, с помощью сообщников, гаданиями и предсказаниями, выманивала большие деньги у доверчивых людей. Вся шайка попала в тюрьму. Как это Эргос не предупредил их всех заблаговременно?!

Графиня Де Сантини:

Высокая, стройная, с правильными, но не очень красивыми чертами лица, уже потерявшими свежесть первой молодости, такова была эта стареющая, почти сорокалетняя, девушка, вместе со своею подругой, снявшая у нас комнату. Графиня Элена Де Сантини являлась прямым потомком древней семьи графов Священной Германо-Римской Империи. Родом из Вероны, она приехала в Геную служить, в качестве заместительницы заведующей, в недавно открывшемся бюро социального страхования. Бедная как церковная крыса — она жила исключительно на свое довольно небольшое жалованье. Умная, тонкая, прекрасно воспитанная, обладая сильным и настойчивым характером, она была хитра как лисица, и не очень добра. Ее предки, все родом из Вероны — северные итальянцы по крови, веками служили германским императорам, и являлись обладателями феодальных замков и земель. В

эпоху борьбы за освобождение Италии, ее дед внезапно почувствовал, что в его венах течет итальянская, а не немецкая, кровь, и вступил в тайное общество "Молодая Италия". Он был разоблачен, арестован, судим, лишен всех своих титулов и дворянства, и приговорен к пожизненному заключению в одном из многочисленных австрийских застенков. Все их огромное имущество было конфисковано и отошло к Австрийской Короне.

Отец Элены Де Сантини был адвокатом с очень небольшой практикой, и свою дочь он смог только хорошо воспитать, но у него не хватило средств дать ей высшее образование.

При Муссолини была учреждена специальная геральдическая комиссия, которая, за довольно крупную сумму, бралась произвести нужные розыски, и официально восстановить в правах и титулах, всех потомков древних родов, желающих получить право на ношение, по примеру их предков, громких имен.

Элена, как я уже отметил выше, была умна, но честолюбива: ей очень хотелось быть графиней. Несколько раз она просила своего отца обратиться в геральдическую комиссию, и заплатив нужную сумму, вернуть себе графскую корону. На просьбу дочери, пожилой адвокат неизменно отвечал: "Граф без денег — жалок; в бедности звание плебея — достойней". Элена Де Сантини должна была довольствоваться званием дочери бедного адвоката, и зарабатывать "хлеб свой насущный в поте лица своего". Бедная стареющая дева часто повторяла две итальянские поговорки: "Труд облагораживает; но благородные (т. е. дворяне) не работают". Или еще хуже того: "Труд облагораживает человека, и возводит его на степень скотины". За неимением титула ей очень хотелось хотя бы разбогатеть.

К этому времени у нас поселился некий Доктор Бралида. Бралида был родом из Турина; окончив там Высший Коммерческий Институт, и получив диплом, он поступил на знаменитую итальянскую фабрику "Фиат". Прослужив на ней около десяти лет, он был переведен из Турина в Геную, на пост заместителя директора генуэзского отделения этой фабрики, и стал получать весьма приличное жалованье. В начале своего пребывания в нашем пансионе Бралида не обращал на синьору Де Сантини никакого внимания. Раз как-то моя мать ему сказала: "Вы холосты, синьор Бралида, почему бы вам не посвататься к Де Сантини? Уверяю вас, что она отличная девушка". — "Дорогая синьора, я скорее брошусь

в море чем женюсь на этой старой деве, она старше меня, по крайней мере, лет на пять".

Есть, однако, такая поговорка: "Что женщина хочет — Бог хочет".

Элена решила, в сердце своем, что такого случая упускать не следует, и со свойственной ей хитростью, тонкостью и упорством, стала плести вокруг Бралида супружеские сети. Начала она с забот о его здоровье, которое, надо отметить, было у него отличное; стала интересоваться его пищеварением (темой, итальянцев нисколько не шокирующей), и поить его ромашкой. Дальше — больше, и через год они повенчались, а вскоре потом Бралида был переведен в Триест, на место директора тамошнего отделения "Фиата". Несмотря на то, что подобное замужество лишало Элену всякой надежды на графскую корону, сколь мне известно, их брак оказался удачным. Наш пансион принес им обоим счастье.

По поводу Де Сантини мне вспоминается один курьезный эпизод, принадлежащий все к той же области гаданий:

Как-то вечером, вокруг нашего обеденного стола собрались трое: Элена, мой отец и я. Разговор шел о судьбах людей и о том, что каждого из нас ожидает.

— Давайте, я вам погадаю на картах, — предложила Де Сантини.

— Разве вы умеете? — удивился мой отец. Она никогда раньше не гадала, и это занятие ей было как будто, даже, не к лицу.

— Очень умею, — и она разложила на столе игральные карты. После ряда довольно удачных, но нетрудных и весьма банальных предсказываний, она нам заявила: — Вам, и всей вашей семье предстоит далекое морское путешествие.

— Наверное в Раппало, — рассмеялся мой отец. В то время, между Генуей и Раппало ходил небольшой туристский пароход.

— О нет, — твердо заявила Элена, — много более далекое.

Часто, после, мы вспоминали ее предсказание.

"Ариец":

Это был девятнадцатилетний сицилиянец, родом из Катанеи, маленького роста, худощавый и очень смуглый, с несколько курчавыми, жесткими, волосами и черными, как греческие маслины, глазами. "Джованни Джоффридо", — представился он моему отцу. Он снял у нас комнату на шесть месяцев, с полным пансионом. Вскоре мы познакомились с ним поближе. Все свое среднее образование, по причине мне неизвестной, этот уроженец подножия

Этны, получил в Берлине, и теперь, с немецким дипломом в кармане, приехал в Геную, для поступления в университет, на юридический факультет. Он оказался горячим поклонником Гитлера и его бредовых расистских идей.

"Я — чистокровный ариец, — заявил он нам всем, по прошествии пары дней пребывания под нашим кровом. — Моими предками были скандинавские викинги, древние завоеватели Сицилии, и мое настоящее имя: Иоган Готфрид".

Никто с ним, по этому поводу, не спорил: если какому-нибудь негритенку или арабченку придет в голову называть себя: Иоган, Олаф или Кнут; Готфрид или Зигфрид; какое кому дело? и кому это мешает? Но, однажды, сидя за нашим "табльдотом", он разговорился, разгорячился, и начал нападать на евреев. Джоффридо, конечно, ничего не знал о нашей религии, да и другие жильцы ею мало интересовались.

"Еврейская раса есть низшая раса — начал горячо проповедывать черномазый потомок викингов. — Все евреи, без исключения: грязны, подлы, трусливы и злы. В берлинской гимназии нам это все прекрасно объяснили и доказали".

Как мой отец стерпел, и не выгнал его, в тот же час, из нашего дома, я до сих пор не понимаю.

Но тут вмешался доктор Бралида: "Что вы, молодой человек, за чушь несете?! Какие глупости вы порете! У меня, в Турине, имеются несколько друзей-евреев; я их отлично и близко знаю: все они прекрасные люди".

Спор у них завязался горячий. Мы молчали.

Месяца два спустя, молодой поклонник фюрера, схватил сильный грипп. Он слег, и у него поднялась температура до сорока. Позвали врача. Гордый представитель высшей расы метался в жару, говорил, что он еще молод и не хочет умирать, плакал как малый ребенок и звал свою маму. Моей матери стало его сердечно жаль, и она, во все время болезни, ухаживала за ним, как за своим сыном. По выздоровлении он, первым делом, написал длинное письмо своей матери, жившей в его родной Катанеи, в котором подробно рассказал о своей болезни, и об уходе за ним. Вскоре синьора Джоффридо приехала к нам навестить сына, и горячо благодарила за него всех нас. В конце весны, по окончании учебного года, Джоффридо уехал к себе в Сицилию. Прощаясь с нами он очень расстрогался.

— Так вам было хорошо у нас? — спросила его моя мать.

— Так хорошо, как если бы вы были моими родителями! — ответил, со слезами на глазах, молодой антисемит. — Если я, в будущем году, вернусь в Геную, то, непременно, остановлюсь у вас.

— А знаете ли вы, что всю эту зиму вы жили в еврейской семье? Мы евреи, — сказала ему моя мать.

Услыхав это, "ариец" остался стоять с полуоткрытым ртом, с выпученными глазами, сделался весь красный, и не знал, что ответить.

— Так вот, — добавила мама, — вы еще молоды, людей и жизни не знаете; вам набивают голову глупостями, клеветой и ложью. Теперь вы видите каковы евреи!

Сделавшись еще более красным, и пробормотав какие-то извинения, а также классическую фразу: "Этого не может быть! ведь вы такие симпатичные и добрые!" он схватил свои чемоданы и убежал.

Через год Джоффридо вернулся в Геную, продолжать свое университетское образование, и пришел нас навестить, но у нас не поселился. Впоследствии мы его потеряли из виду.

Дочь Альбиона:

В течение шести месяцев у нас проживали две англичанки: мать и дочь. Мать: худощавая женщина лет шестидесяти, страдала сильными, и довольно частыми, сердечными припадками; дочь: девица лет тридцати пяти, была довольно высокой и скорее пухлой, нежели полной женщиной. Она преподавала английский язык в школе Берлиц. С самого начала молодая англичанка нам показалась несколько странной, и вскоре мы узнали от самой матери, что мисс Мери пьет запоем. Когда дочь не пила, то вела себя нормально; но только что у нее начинался запой, как она совершенно менялась, и ради удовлетворения своего порока была способна на кражу, и вообще на все. Когда у нее начинался запой, то она пила до тех пор пока не делалась больной. Кроме запоя за нею не водилось никаких человеческих слабостей: она мало ела, сладостей не любила, не курила и к мужчинам была совершенно равнодушна. Несчастная мать очень страдала. Она нам рассказывала, что делала все возможное для излечения своей дочери, но — безрезультатно. Когда мать находила у нее вино, то отбирала его и выливала, а дочь покупала новые бутылки, на свои, а иногда и на чужие, деньги, и прятала их.

Однажды старая леди попросила моего отца помочь ей найти, в нашем пансионе, тайник, в котором, несомненно, дочь прячет

алкоголь, так как, не выходя из дому, Мери напивалась почти до белой горячки. После непродолжительных поисков, мой отец открыл целый склад винных бутылок, в ванной комнате. Старая мать была ему очень благодарна, но дочь страшно рассердилась, и обозвала моего отца шпионом. В другой раз к нам протелефонировали из школы Берлиц, прося забрать оттуда мисс, так как она совершенно пьяна. По просьбе матери, мой отец сопровождал ее, в такси, в школу, и с его помощью, но с большим трудом, они привезли домой, пьяную как стелька, девицу. В конце концов она потеряла свое место учительницы, и обе женщины вернулись, к себе, в Англию.

Долго ли могло еще переносить больное сердце матери такой порок дочери? — я не знаю. С ужасом думаю о судьбе дочери, оставшейся совершенно одной, под властью алкоголя.

Испанские гранды:

В июле 1936 года, в Испании вспыхнула гражданская война, со всеми ее, хорошо нам известными, ужасами. Вскоре в фашистскую Италию стали прибывать беженцы из территорий, еще занятых республиканцами. Обе воюющие стороны, как это всегда бывает во время гражданской войны, соревновались в жестокостях. Однажды к нам пришли снимать комнату две уже немолодые дамы. Старшая из них, высокая, седая и еще красивая женщина, носила громкий титул Маркизы. Младшая, ее двоюродная сестра, была вдовою графа. Обе, родом из Барселоны, принадлежали к самой высшей каталонской аристократии, и происходили из семьи испанских грандов, тесно связанных с павшей династией, и друживших с семьею бывшего диктатора, генерала Прима де Ривера. Дамы сняли у нас самую лучшую комнату, и прожили в ней около года. За эти месяцы мы их близко узнали. Глядя на них, я понял какова бывает настоящая высшая аристократия. Таких милых, воспитанных и, одновременно, простых людей я после редко встречал. Обедали они и ужинали с нами, за общим столом, и каждый раз, по окончании еды, Маркиза шла на кухню лично благодарить мою мать, принужденную все время там оставаться.

Обе женщины потеряли в Испании все свое имущество и жили на деньги, которые, к счастью, имелись у них, на текущих счетах, в швейцарских банках.

Единственный сын графини дрался в рядах франкистов, и вско-

ре бедная женщина получила из испанского консульства официальное сообщение о его смерти. Что должна была пережить несчастная мать, получив эту ужасную весть, вообразить не трудно; но, вероятно, наплакавшись вдоволь у себя в комнате, она как всегда вышла к обеденному столу, и чтобы не навязывать другим своего горя, ничем его внешне не проявила.

Из газет мы узнали о расстреле республиканскими властями основателя фалангизма, сына бывшего диктатора, Хозе Антонио Прима де Ривера. По этому поводу Маркиза нам рассказала: "Я его лично очень близко знала с самого его детства. Он был милейшим юношей. После основания им фалангизма я ему говорила: "Дорогой Хозе, ваше движение весьма симпатично, но, по-моему, вы просто фантазируете". — "Нет, синьора Маркиза, — отвечал он мне, — вы сами увидите как это серьезно". — Бедный мальчик! теперь мы действительно увидели".

Они не были франкистами, и к генералу Франсиско Франко большой симпатии не питали. Уже через несколько лет, когда под давлением событий, мой отец решил попытаться эмигрировать в Испанию, он написал Маркизе об этом. Она ответила ему пространным французским письмом. Маркиза писала, что если бы на испанском троне сидел законный король, то для нашей иммиграции не было бы никакого затруднения; но, увы, трон вакантен, а с Генералисимусом у нее нет ничего общего.

Фалик Доктор:

"Хочешь познакомиться с одним румынским студентом? Он, как и ты, говорит по-русски". Это предложение, сделанное мне одним из моих товарищей по политехникуму, я принял с радостью. Знакомство тотчас состоялось. Мы представились друг другу; новый знакомый назвал себя: Фалик Доктор. Я был тогда на третьем курсе электротехнического факультета, а он кончал кораблестроительный, и прилежно трудился над чертежом парохода, для дипломного экзамена. На борту воображаемого, им спроектированного судна, Фалик Доктор тщательно вывел имя: "Иосиф Трумпельдор". Вскоре мы подружились, а через месяц он переехал жить в наш пансион и прожил в нем свыше двух лет.

Фалик был не только очень способным человеком: в том же году он окончил блестяще кораблестроительный факультет, считавшийся самым тяжелым; но был едва ли не самым умным из всех встречаемых впоследствии мною, людей. Будучи убежден-

ным сионистом, он утверждал: "Еврей будет до тех пор гоним и презираем, пока не вернет себе своего Отечества, и не сможет говорить каждому и всякому, открыто и с гордостью: я — еврей".

Ему я обязан ясным сознанием моей принадлежности к еврейскому народу, а не только к религии. Фалик сделал из меня сиониста на всю жизнь.

Он был сыном бедного учителя древнееврейского языка, в маленьком бессарабском городке Бельцы. О своем отце, с которым он постоянно переписывался, Фалик всегда отзывался с большой сыновней любовью. Отец его умер во время пребывания Фалика в нашем пансионе. Он очень горевал. По окончании кораблестроительного факультета, ему, как иностранцу, не удалось попасть на корабельные верфи, и после перемены нескольких мест своей службы он устроился в бюро регистрации патентов. Он пытался получить итальянское гражданство, но это ему не удалось. Я до сих пор горжусь дружбой Фалика Доктора.

Среди ужасов расистских гонений и бури Второй мировой войны, я потерял его из виду. Прошу тебя, Фалик, если ты жив и тебе попадутся на глаза эти строки — откликнись!

Сионисты-ревизионисты:

В тридцатых годах, между Хайфой и другими портами Средиземного моря, плавало, под английским флагом, несколько, зафрахтованных сионистской партией "ревизионистов", коммерческих судов. Последователи доктрины Жаботинского старались создать из еврея не только земледельца, но и рабочего, солдата и моряка.

Одно из таких судов зашло в генуэзский порт. Трое из евреев-матросов, наткнулись случайно в телефонной книге на наше имя, пришли, в обеденное время, к нам в пансион. Один из них, родом из Риги, говорил прекрасно по-русски. Он переменил прежнюю свою фамилию — Рабинович на Авиви, и она значилась в его англо-палестинском паспорте. Каждый день, пока их пароход стоял в генуэзском порту, они приходили к нам столоваться.

Я спросил Авиви: "В чем заключается разница между "просто" сионизмом и сионизмом-ревизионизмом?" Он мне ответил: "Разница заключается в том, что все другие сионисты хотят, для нашего народа, основания в Палестине собственного независимого государства, и еще чего-нибудь другого, как например: аристократической республики, демократической республики, социалистической рес-

публики и т. д. Мы же хотим, для нашего народа, только собственное и независимое государство в Палестине, — и больше ничего. Когда будет восстановлено наше древнее Отечество, мы будем иметь право спорить о преимуществе того или иного политического режима; но пока, так учит наш вождь — Жаботинский, все наши усилия должны быть устремлены только к одной цели: еврейскому государству. К сожалению, многие у нас этого не понимают. В Палестине, нередко, вспыхивают забастовки среди еврейских рабочих, на экономической почве. Если даже эти забастовки бывают вполне обоснованными, мы все же против них, и боремся с ними, так как они подрывают строительство и ослабляют нашу мощь. За это нас прозвали еврейскими фашистами. Фашисты так фашисты; мы глупых кличек не боимся и знаем, что делаем".

После их отъезда я много думал о словах Авиви, и пришел к выводу, что ревизионисты были вполне правы.

Если мой друг Фалик Доктор сделал из меня сиониста, то Авиви уточнил мои взгляды на это движение, и мои симпатии.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Наши друзья и знакомые:

Крайнины:

После трагической смерти Якова Львовича Крайнина, мы еще больше сблизились с его вдовою и дочерью. Мои родители свято держали обещание, данное ему в момент расставания. Не проходило дня без того чтобы мы не виделись с Ольгой Абрамовной. Материально она не нуждалась, а морально мы старались, как могли, ее поддержать. Что касается Раи, то она стала для меня чем-то вроде сестры. Смешно сказать, но во все время нашей дружбы, а она длилась более десяти лет, мы с нею ни разу не поцеловались. Это объяснялось, конечно, отсутствием между нами всяких других чувств кроме дружбы. У Раи характер был скрытный, но мне, как своему другу и названному брату, она открывала свои сердечные тайны. Раз как-то Рая мне сказала: "Ты знаешь, Филя, я познакомилась с одним очень интересным молодым человеком: он политический ссыльный, и ему совсем недавно разрешили вернуться из ссылки; зовут его Марчелло Сцилини, он сын профессора математики, тоже политического ссыльного. Оба они коммунисты".

Мне эта новость не очень понравилась. Как никак, а Раин отец

был расстрелян советскими большевиками, не для того чтобы она флиртовала потом с итальянским коммунистом. Но, выслушивая все, что она считала возможным мне рассказать, я сам в ее дела не вмешивался и мнения своего не высказывал. Это ее простое знакомство очень быстро перешло в страстную любовь, и они сделались женихом и невестой. Вскоре Рая сильно заболела и пролежала в постели много недель. Врач запретил ей заниматься химией, и она оставила университет. Ее тетке, в Южной Африке, удалось продлить, еще на шесть месяцев, их иммиграционную визу. Теперь Ольга Абрамовна умоляла дочь порвать со своим женихом-коммунистом и уехать в Кап Штат, но Рая, раньше очень желавшая этого, теперь ни о какой поездке и слушать не хотела. Ее жених, без гроша в кармане, кончал фармацевтический факультет. Волей-неволей, но деньгами ему помогала Ольга Абрамовна. Когда Сцилини окончил университет, Рая вышла за него замуж. Всякий раз, при проезде через Геную короля или кого-либо из очень высокопоставленных особ, ее муж, вместе со свекром, бывали, неизменно, арестованы.

Буловичи:

Ида Соломоновна Булович, русская еврейка, считалась одной из лучших учительниц музыки и пения в Генуе. Она была замужем за довольно известным артистом государственных театров СССР. В начале революции Ида Соломоновна, вместе со своими двумя дочерьми, уехала в Италию, и обосновалась в Генуе. Обе девочки учились в итальянских школах, и натурализовались. Старшая дочь, Клара, окончила филологический факультет, выдержала конкурсный экзамен и была принята, в качестве кадровой учительницы итальянского языка, в генуэзский классический лицей. Она была горячей фашисткой, и преклонялась перед Муссолини. Младшая дочь, по имени Мила, в то время была еще девочкой-подростком, и училась, довольно плохо, на преподавательницу низших школ. Наши семьи сдружились, и бывали часто друг у друга. Клара, имевшая большие связи в фашистской среде, дала мне возможность через ГУФ (Группо Университарио Фашиста), получить бесплатно учебные пособия, на покупку которых у нас не было средств. Кроме того она мне доставала частные уроки, облегчавшие немного наше весьма нелегкое материальное положение, и дававшие мне возможность иметь небольшие карманные деньги. Муж Иды Соломоновны, последнее время,

во всех своих письмах, уговаривал их вернуться в СССР. В одном из них, обращаясь прямо к своей дочери, он писал:

"Клара, брось свои заскорузлые идеи и приезжай в Советский Союз. Здесь твоя младшая сестра, Мила, получит воспитание, соответствующее духу времени, и она станет гражданкой мира".

Клара ему на это ответила:

"Я не желаю чтобы моя сестра стала гражданкой всего мира, и женщиной всех мужчин; но я хочу чтобы она была гражданкой Италии, и женой одного мужа".

Но артист Булович продолжал делать шаги для их возвращения в Советский Союз; и вот, однажды, к ним явился советский консул, и стал их уговаривать:

— Подумайте только: вся ваша семья состоит из высоко интеллигентных людей, а наша страна в них так нуждается.

Тут на него, буквально, набросилась Клара:

— Нуждается для того чтобы их расстреливать! Вы убили всех ваших интеллигентов, а теперь зовете к себе других на предмет их истребления. Нет, благодарю вас, но я предпочитаю продолжать жить в фашистской Италии, которая умеет ценить и беречь людей.

Консул ушел от них вне себя. Вскоре и отец Клары прекратил их звать вернуться в СССР. Однажды я познакомил Клару с Фаликом, и целый час, с наслаждением, присутствовал при их политическом диспуте.

— Что нам, евреям, еще нужно, — говорила Клара, — мы, в Италии, пользуемся всеми правами, и население к нам хорошо относится. Зачем нам нужен сионизм?

— В Италии к нам хорошо относятся, это верно; но мы, все же, не итальянцы, и это не наша страна. Здесь, как и везде, возможны вспышки антисемитизма.

— Какие могут быть в Италии вспышки антисемитизма? Мы, евреи, страдаем манией преследования. В итальянской конституции сказано: "Католическая религия является государственной религией; но все остальные верования — терпимы".

— Вот это и не хорошо, что они терпимы. Терпимость — плохое слово: сегодня терпят, а завтра не терпят.

Как всегда бывает, в подобных случаях, каждый остался при своем мнении. Года через три после этого диспута жизнь доказала, что Фалик был прав. Клару расистские законы глубоко потрясли, и она поневоле потеряла веру в свой идеал. Впрочем ей удалось,

благодаря знакомству с каким-то епископом, получить иммиграционную визу в одну из южноамериканских республик. После Второй мировой войны Клара вернулась в Италию, вышла замуж и поселилась в Риме. Судьба всех остальных членов этой семьи мне неизвестна.

Семья Лиштванг:

Когда у моей матери как-то разболелись зубы, один из наших знакомых посоветовал ей пойти к единственному русскому врачу в Генуе, Елене Ивановне Лиштванг. Таким образом мы с ними познакомились. Семья Лиштванг состояла из Елены Ивановны, ее мужа, Леонида Исакиевича, и ее престарелой матери.

Леонид Исакиевич был неплохим художником: некоторые его рисунки украшали обложки известного французского журнала "Иллюстрасьон". Он был тридцатью годами старше своей жены, но они очень любили друг друга. Елена Ивановна ухаживала за своим старым мужем как если бы он был ее единственным сыном, и всячески баловала его.

Они приехали в Геную в самом начале революции. В России он был уже женат, имел детей и внуков, но влюбившись в молодую женщину, бросил жену, и всю свою семью, на произвол судьбы, и уехал с Еленой Ивановной в Италию. О нем говорили, что он якобы еврейского происхождения, и, что его зовут не Леонид Исакиевич, но Лев Исаевич, и он изменил свои имя и отчество чтобы казаться более русским. Он горячо отрицал это, и утверждал, чьл происходит из старинного литовского дворянского рода: Лиштва. Как бы там ни было, но русская колония в Генуе, правда слегка посмеивалась над ним, выбрала его старостой местной православной церкви.

Елена Ивановна, чистокровная русская, была религиозна до ханжества, и раз в год совершала паломничество к какой-нибудь святыне, хотя бы и католической.

Мы изредка бывали друг у друга. Ее матери было свыше восьмидесяти лет, и она начала, постепенно, впадать в детство; за нею приходилось ухаживать как за дитятей, что раздражало Елену Ивановну, которая, увы, очень плохо обращалась с бедной старушкой. Наконец смерть избавила несчастную от страданий.

Несколько месяцев спустя, после кончины ее матери, Елена Ивановна с мужем совершили очередное паломничество в какой-то католический монастырь, находящийся на горе на высоте более

чем двух тысяч метров. В нем, в первый же день их пребывания, не выдержав слишком большой для нее высоты, Елена Ивановна скоропостижно скончалась. Леонид Исакиевич привез ее тело в Геную. Этот человек, на восьмидесятом году своей жизни, внезапно остался совершенно одиноким, в чужой стране, и без денег. Он сразу растерялся, упал духом и опустился. Сперва он было решил окончить свои дни в стенах какого-нибудь монастыря; но в Италии православных монастырей не оказалось, а в католические не принимали без весьма крупного денежного вклада. В конце концов он нашел временное убежище в одной бедной русской семье, куда его приняли из милости; но там Леонида Исакиевича, привыкшему к теплому и ласковому уходу за ним, любящей его жены, третировали как собаку.

Эта семья жила в старом доме, на пятом этаже.

Нас уже не было в Генуе, когда, из письма к нам Ольги Абрамовны, мы узнали, что Леонид Исакиевич выбросился из окна. Какой ужасный конец!

Мария Мироновна Дымшиц:

Это была девушка лет двадцати пяти; невысокая, очень полная, но довольно красивая. Мария Мироновна была дочерью директора одной крупной русской торговой фирмы в Милане. От времени до времени она приезжала в Геную, и тогда останавливалась в нашем пансионе. У нее был брат; но я его лично не знал. Мария Мироновна писала, и была автором нескольких повестей и довольно большого числа мелких рассказов. Писала она их по-итальянски, и подписывала свои произведения псевдонимом: Миро. Мы с нею сдружились, и она нам преподнесла, на память, маленький сборник своих рассказов: "Свет под дверью". Эту книгу я сохранил до сего дня.

Странной девушкой была Мария Мироновна: всего на свете боялась. Страстная по натуре она мечтала о любви, но страшилась мужчин; ей хотелось путешествовать, но она боялась захворать в пути, и т. д. Несмотря на эти странности Мария Мироновна была образованной, умной и доброй девушкой. В 1937 году у нее, внезапно, умер отец, и она ужасно горевала.

Покинув Геную мы совершенно потеряли ее из виду, и только недавно я узнал об ее трагической смерти: вместе с матерью они были взяты немцами, и погибли в одном из гитлеровских кон-

центрационных лагерей. Ее брат избежал этой участи, успев куда-то, своевременно, скрыться.

Роберто Тасистро:

Я уже писал выше о моем нервийском знакомом, Роберто Тасистро, и о том, что мы с ним, позднее, сделались приятелями.

Перед нашим отъездом из Италии его мать говорила моей: "Как жаль, что мой сын — не еврей: он бы теперь, как и ваш, уехал куда-нибудь подальше. Война, увы, неизбежна, и его, конечно, призовут".

Так оно и было. В 1946 году мы написали письмо синьоре Тасистро, и от нее узнали, что Роберто жив. Он проделал всю войну на русском фронте; насмотрелся там всяческих ужасов; вернулся, еще до окончания ее, домой, с идеями диаметрально противоположными тем, с которыми ушел на фронт, и примкнув к партизанам, во время освобождения Северной Италии, дрался против фашистов, в Генуе, на баррикадах. Лет восемь тому назад я с ним встретился как со старым приятелем. Его мать и тетка тогда уже умерли. После провозглашения в Италии республики, он получил хорошее место в генуэзском муниципалитете. Уже много лет как Роберто был женат на красивой сицилиянке и имел дочь. Я несколько раз, во время моего посещения Генуи, бывал у него, и он мне тогда рассказывал об Италии во время войны и о судьбах многих наших общих знакомых. В прошлом году Роберто умер от болезни сердца.

Теперь я хочу, с его слов, поведать моему читателю самую, с моей точки зрения, страшную драму, героя которой я очень хорошо и близко знал:

Семья Понтевеккио:

Однажды, перед вечером, к нам в пансион пришла целая семья: муж, жена и трое детей. Мой отец вышел к ним. Муж заговорил по-русски:

"Мы пришли не снимать у вас комнаты, а только познакомиться с вами; нам сказали, что это русский пансион. Разрешите представиться: Иван Павлович Понтевеккио, моя жена Грета Яковлевна и мои трое детей. Я всего несколько месяцев как приехал из СССР, и мне не хватает русской речи".

Мама приготовила чай, послала купить несколько пирожных, и сидя за столом мы разговорились. Иван Павлович, родом с

юга России, происходил из семьи обрусевших итальянцев, каких было у нас там немало. Он не знал итальянского языка, и говорил только по-русски. Не очень давно советское правительство издало закон, в силу которого все иностранцы, живущие постоянно на территории Советского Союза, должны или натурализоваться или покинуть страну. Он выбрал последнее. Жена его была русской немкой. Теперь, приехав в Италию, он оказался в очень тяжелом положении. Генуэзский муниципалитет устроил их в "Альберго дей повери" (гостиница для бедных), нечто вроде большого ночлежного дома, куда все бесприютные приходили провести ночь. Понтевеккио отвели, на временное пользование, отдельную комнатушку. Обедали они раз в день, в столовке для бедных, где дамы-патронессы давали, всякому туда пришедшему, не спрашивая у него ничего, большой ломоть хлеба, и полную тарелку довольно хорошего мясного супа; но дети нуждались, конечно, в ином питании. Люди они были образованные, но полное незнание языка мешало Ивану Павловичу найти себе приличную постоянную службу, и он довольствовался мизерным и нерегулярным заработком простого поденного рабочего. Они часто стали бывать у нас, и мы, несколько раз, посетили их в "Альберго дей повери"; действительно: условия тамошней жизни были непереносимыми. Их клетушку они содержали в примерной чистоте, и создали в ней даже подобие уюта; но кругом царила грязь и вонь. Поздно вечером приходили шумные толпы бродяг, и несчастная семья запиралась в своей комнатке, боясь за себя, а в особенности, за детей. Иван Павлович не был рабочим, и выбивался из сил, чтобы заработать хотя бы несколько лир в день. Администрация приюта предупредила, что очень долго она терпеть их там не намерена. Они с ужасом думали о будущем, не видя никакого выхода из создавшегося положения.

Мои родители полюбили этих тихих, несчастных, интеллигентных людей, и они привязались к нам. Вскоре, чтобы облегчить семью, старший сын, Николай, которому недавно исполнилось семнадцать лет, поступил, вольноопределяющимся, в военный флот, и стал делать медленную и трудную карьеру унтер-офицера. Хотя, на этой службе, Николай почти ничего не зарабатывал, но одним ртом в семье стало меньше.

Все они казались милейшими людьми, и в момент нашего с ними расставания Грета Яковлевна плакала. Во время войны мы нередко вспоминали эту семью, и с ужасом думали о ее судь-

бе. Время уносит людей, и стирает из памяти имена и события. Впоследствии я уже почти не думал о Понтевеккио; но в моих воспоминаниях они остались несчастными, но близкими сердцу, друзьями; быть может погибшими во время мировой катастрофы.

Всего восемь лет тому назад, беседуя с Роберто, я спросил его о судьбе Понтевеккио. Вот, что он мне поведал:

Во время войны немцы предложили ему сотрудничать с ними. Страх и бедность – плохие советники! Напуганный перспективой нищенства, а, быть может, и голодной смерти всей его семьи, этот несчастный продал свою совесть, и за хорошую плату сделался довольно видным местным сотрудником Гестапо. Все русское население Генуи его очень боялось. Вероятно немало крови и слез невинных жертв пали на его душу.

Во время освобождения Северной Италии, он попал в руки партизан, и был казнен. Семья его, покрытая позором, скрылась куда-то, и след их был потерян.

ГЛАВА ПЯТАЯ : В середине тридцатых годов.

Порвав с Советским Союзом, мы остались без всяких документов, кроме итальянского "соджерно" (права на жительство). Вновь мой отец отправился к Нацолези, просить о выдаче нам какой-нибудь официальной бумажки, могущей, в случае необходимости, заменить нам наш советский паспорт; но Командор возразил, что мы, формально, продолжаем считаться советскими гражданами, до тех пор, пока мой отец не сможет доказать противного. Папа нашелся, и послал в Рим, в советское посольство, просьбу о продлении его паспорта, в который были вписаны и мы с мамой. Очень скоро получился ответ. На официальном бланке, украшенном гербом Советского Союза, посольство СССР нас уведомляло, что мы все трое, в силу закона о "невозвращенцах", лишены советского гражданства, и, следовательно, наш паспорт продлен быть более не может. С этим письмом отец отправился к Нацолези, и тот, не чиня нам больше никаких затруднений, выдал каждому из нас индивидуальный документ, именуемый паспортом: "для иностранцев без родины (аполиде), типа Нансен, находящихся под покровительством Италии". На этот документ, как на настоящий паспорт, можно было поставить любую визу.

В случае отъезда за границу этот паспорт мог быть продлен, но только однажды, в любом итальянском консульстве. По прошествии срока продления, если предъявитель его не возвратился в Италию, этот "нансеновский" документ терял свою силу, и несчастный "аполиде" лишался покровительства Итальянского Королевства.

Несмотря на мои, совсем недавно приобретенные сионистские убеждения, мне было очень горько сознание потери Родины, и я завидовал каждому итальянцу, живущему в своей стране. "Чужие окна — в них огни; чужие двери на запоре..." Шли месяцы, шли годы, а я, ломая свои молодые зубы, с превеликим трудом продолжал ими грызть пресловутый "гранит науки".

Другая трудная, и очень интимная, проблема мучила меня. Из песни слов не выкинешь, а говорить — так все говорить! Я был уже в том возрасте, в котором, нормальному и здоровому молодому человеку, трудно обходиться без женщины. Первое время у меня совершенно не было карманных денег, и я, часто гуляя вечерами по улицам Генуи, с вожделением глядел на всех встречаемых мною женщин, а в особенности на уличных девушек, которых было, в то время, немало.

В один теплый, летний вечер, во время такой прогулки, я встретил и загляделся на идущую по тротуару довольно миловидную женщину. В то время весь мой опыт из этой области ограничивался единственным посещением публичного дома, в самом начале моего студенчества, в компании Юры и незнакомого нам молодого человека. С уличными девицами я еще никогда дела не имел, и их немного опасался. Отсутствие карманных денег меня ограждало от искушений. На этот раз молодая женщина заметила мой голодный взгляд, и обратилась ко мне с классической фразой: "Симпатичный брюнет, дай папироску". Я ей грустно сознался, что не только не курю, но, увы, не имею ни одной лиры в кармане.

— Так таки совсем не имеешь? — удивилась она.

— Совсем без денег, — печально ответил я.

— А кем ты будешь? Ты служишь где-нибудь?

— Нет, я студент.

— Ах, студент!

Она помолчала, и с любопытством разглядывала меня, пока я, с жадностью, глядел на ее довольно крупные и тяжелые груди,

видневшиеся под белой блузкой. Полные женщины мне всегда нравились.

"Ну что ж! нет у тебя денег, и не надо; сойдет и так! Пойдем со мной".

Я пошел за нею, и эта добрая девушка сделала все зависящее от нее, чтобы я остался доволен. Однако, в течение некоторого времени, я сильно трусил: не заразила ли она меня чем; но все прошло вполне благополучно. Видно девица была вполне здоровой. Впрочем, в то время, случаи заболевания венерическими болезнями в Генуе, несмотря на то, что это был огромный международный порт, были, благодаря очень строгому санитарному надзору, сравнительно редки. Дон Аминадо, в одном из своих шутливых фельетонов, рассказывал, как в тишине монастырской кельи, один совсем дряхлый, серебробородый монах, бия себя в грудь, и вспоминая свои юношеские прегрешения, а их у него было немало, со слезами молил Господа о прощении; но в самом конце покаяния не выдержал, и громко воскликнул: "Ах! и вспомнить, и то лестно нам!"

Когда даваемые мною частные уроки математики мне позволили иметь немного карманных денег, я начал, от времени до времени, посещать публичные дома. Делал я это втайне от родителей, а в особенности от моего отца, помнившего наставления своего дяди-врача, и боявшегося за мое здоровье. Правда, что риск там схватить дурную болезнь, принимая некоторые, известные, меры предосторожности, сводился почти к нулю. Совершенно особый и курьезный мирок представляли собою такие дома, и было интересно, помимо всего прочего, слушать разговоры современных жриц Афродиты. Раз как-то, одна из них произнесла, в общей зале, перед всеми нами, клиентами дома, целую речь, утверждая, что мужчины, имеющие дела с уличными девушками, свиньи: "Все эти девки: грязные и больные; как только вы не брезгуете ими и не боитесь!" Пансионерки публичных домов считали себя чем-то вроде аристократии, и гордились своим воображаемым превосходством.

В другой раз, это уже было во время итало-абиссинской войны, некая девица, которую ее подруги звали Бьянка, крупная, красивая брюнетка, воскликнула: "Правда ли это, что вербуют желающих девушек для отправления их в Абиссинию, в специальные публичные дома для военных? Я — патриотка, и буду проситься поехать туда".

Осенью 1935 года началась вторая итало-абиссинская война; первая имела место в девяностых годах прошлого века, и итальянцы ее проиграли. Вторая война окончилась весною 1936 года, полной победой Италии и завоеванием всей Абиссинии. Объявляя войну, Муссолини воскликнул: "Мы терпели сорок лет — теперь баста!"

По этому поводу рассказывали смешной анекдот:

С некоторых пор фашистские власти распорядились, на стенах домов и на заборах, писать краской, аршинными буквами, какую-нибудь фразу из многочисленных речей "Дуче". Например: по случаю внутреннего государственного займа, на предмет развития авиации, Муссолини вдохновенно воскликнул: "Дайте крылья Родине!", и эту фразу можно было теперь прочесть на многих стенах.

В одной вилле, огороженной высоким каменным забором, жили две старые девы. Местный секретарь фашистской партии вызвал их к себе, и велел им украсить их забор хотя бы одной фразой произнесенной "гениальным" вождем.

"Можем ли мы выбрать, из его речей, любую фразу, по нашему вкусу? — спросили секретаря старые девы.

— Совершенно все равно; лишь бы она была произнесена нашим Дуче".

Шестидесятилетние девы ушли весьма довольные, и через несколько дней, на их заборе красовалась надпись, выведенная огромными буквами, и черным по белому: "Мы терпели сорок лет — теперь баста!"

На страницах ежедневных газет, написанные жирным шрифтом, замелькали экзотические названия городов и местностей: Асмара, Массау, Гондар, Харар, Амба-Аладжи, Дира-Дау, Могадишье и, конечно, "Новый Цветок", сиречь Адис-Абеба.

Несчастный Негус Негести, Алье Селасье, обратился за помощью в Лигу Наций. На пленарном заседании того, что должно было представлять собою эмбрион международного парламента, было решено вынести суровое порицание Италии, и применить к ней санкции экономического бойкота. Этот "мудрый" акт международной говорильни, толкнул Италию на сближение с гитлеровской Германией. В ответ на экономические санкции Муссолини обратился ко всему населению с призывом, добровольно, отдать государству все имеющееся у него золото, и, в частности, все обручальные кольца. Взамен их были сфабрикованы миллионы колец

из неокисляющейся стали. Они обменивались на золотые, и являлись внешним признаком патриотизма. Многие годы спустя, их еще можно было видеть на пальцах сотен тысяч граждан.

Ольга Абрамовна Крайнина имела несколько золотых колец, браслетов и цепочек. Недолго думая, охваченная чувством горячей благодарности к стране ее приютившей, она собрала все свое золото, и отнесла его в специальный, созданный для этой цели, центр, при местном федеральном секретариате фашистской партии. Ее имя было вписано в список жертвователей, и вскоре, в генуэзском партийном ежедневнике, была напечатана статья, восхвалявшая благородный жест иностранки, нашедшей себе приют в Италии. Эта статья ставила ее в пример многим чистокровным итальянцам. Ольга Абрамовна очень гордилась газетной похвалой.

Мы все, евреи, таковы: достаточно нас, хотя бы немного, приласкать, как мы готовы сделаться роялистами большими чем сам король. Я это по себе хорошо знаю.

Война окончилась. Муссолини торжественно провозгласил возрождение Римской Империи, и плюгавенький Виктор Эмануил Третий стал именоваться: королем Италии, Императором Эфиопии. Вся Италия распевала модную песенку: "Фачетта Нера" (Черное личико), и пила абиссинский чай — каркаде.

Одно время, еще в период войны, в стране исчезли лимоны. В народе говорили, что они были необходимы для фабрикации удушливых газов, которые, якобы, были употреблены итальянцами при штурме горной твердыни Амба Аладжи.

Газеты повествовали, как мирное население абиссинских городов и деревень, восторженно встречало итальянских воинов, поднятием вверх своей правой руки. Один из моих приятелей — студентов остроумно заметил, что абиссинцы так настроены в пользу фашизма, и столь довольны нашим приходом, что, при виде итальянских солдат, они не только правую руку подымают вверх, но, даже, обе руки.

Другой студент, артиллерийский офицер запаса, рассказывал при мне, что эфиопы были очень плохо и примитивно вооружены и, что он сам, командуя батареей, стоял во весь рост, не опасаясь вражеских пуль и снарядов, которые до него долетать не могли. Куря свою папиросу, он наблюдал в бинокль как, после каждого им данного залпа, в стане врага летели в воздух головы, руки и ноги. Зрелище было, вероятно, весьма занимательное.

В ответ на санкции Лиги Наций Муссолини объявил, что Италия должна стать экономически совершенно независимой страной. Послушные итальянцы тотчас начали изобретать всяческие суррогаты, долженствующие сократить импорт заграничных продуктов первой необходимости. Некий, несомненно талантливый, химик изобрел "ланиталь", искусственную шерсть... из молока. Шерсть была белая, шелковистая и приятная на ощупь; но совершенно не грела. Все же это изобретение вызвало общий восторг, и при фабрике, начавшей производить индустриальным путем эту молочную шерсть, находилась "золотая книга", род альбома, в который всякий желающий мог вписать свои впечатления. На одной из страниц этой "книги", среди многих восторженных фраз, можно было прочесть следующее шутливое воззвание: "Женщины Италии, дайте шерсть Родине!"

Обыватель острил, что сорок пять миллионов итальянцев суть сорок пять миллионов каторжников приговоренных, неизвестно за что, к пожизненному восторгу.

Окончилась итальяно-абиссинская война, переполнившая национальной гордостью многие итальянские сердца. Приближался конец тридцатых годов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Моя натурализация.

Утлый челн нашего домашнего пансиона стал давать течь, и медленно погружаться в пучину долгов. Чтобы не утонуть, пришлось бросать за его борт всякий ценный груз: папин портсигар из массивного золота, чудом сохранившегося до сих пор подарка его сослуживцев, но, как некурящему, ему совершенно ненужного; прекрасные, старинные золотые часы с пружинкой, и многое другое. Все это пошло в ломбард, или в подвалы Итальянского Государственного Банка. Надо было продержаться до окончания мною политехникума — берег был уже на виду. Но теперь встал еще другой вопрос: что я буду делать когда получу диплом? Правда, безработных инженеров, в то время, в Италии не было, но многие серьезные карьеры были для меня, как для иностранца, закрыты. Моя натурализация стала для нас необходимой, а я так горячо мечтал обрести вторую Родину. Мой отец решил действовать, и собрав остатки своей, когда-то огромной энергии, пошел в Квес-

туру к Нацолези. Командор, по-прежнему, любезно принял моего отца, и сразу его обнадежил:

— Вы прекрасно сделали, что пришли ко мне. В конечном итоге натурализация вашего сына зависит от меня. Не беспокойтесь: резолюция которую я положу на его просьбу о гражданстве, будет такого рода, что он его получит в самый кратчайший срок.

— Ну, а мне вы дадите итальянское гражданство? — полушутя, полусерьезно, спросил его мой отец.

— А вам я его не дам.

— Почему?

— Потому что вы уже человек пожилой, и нас не интересуете. Да и для чего вам, синьор Вейцман, гражданство? С вашим соджерно в кармане вы можете всю жизнь пользоваться гостеприимством Италии.

В июне 1937 года, я подал в генуэзскую Префектуру просьбу о моей натурализации, и все необходимые документы. Существовало еще одно затруднение: в момент получения гражданства следовало заплатить специальный налог в размере 500 лир. Для нас, в то время, эта сумма была огромной, но отец решил заложить еще свое золотое кольцо, и с большим брильянтом, и как-нибудь наскрести необходимую сумму. Прошло несколько недель. Однажды, читая местную газету, отец увидал, на ее первой странице, опубликованный новый правительственный декрет, в силу которого сумма, уплачиваемая государству при получении гражданства, повышается с 500 до 5000 лир. Наши надежды рухнули. Было решено, что я, на следующий день, пойду в Префектуру, и попрошу вернуть мне мою просьбу о натурализации, ввиду полной, для меня, невозможности, заплатить такие деньги. Я пошел. Мои бумаги находились еще в Генуе, и были мне тотчас возвращены.

Уже с полгода как, вместе со своей женой, поселился в нашем пансионе, только что перешедший на пенсию, главный канцлер Аппеляционного Генуэзского суда, командор Артур Катанцаро. Он был: великим офицером ордена Итальянской Короны; командором ордена Итальянской Звезды; кавалером ордена святых Маврикия и Лазаря, и носителем многих других орденов. Все эти многочисленные знаки отличия, и его высокое положение на государственной иерархической лестнице, не мешали ему и его жене быть прекрасными и добрыми людьми. По отношению к ним я сохраняю до сих пор чувство горячей благодарности. Узнав о

крушении наших надежд, командор Катанцаро посоветовал мне написать просьбу прямо на имя Муссолини, и просить "Дуче" сделать для меня исключение, и применить ко мне, как к неимущему русскому беженцу, в случае дачи мне гражданства, предыдущий закон о взыскании только 500 лир. Он сам составил это письмо, я его подписал, и оно было отправлено в Рим на имя: "Его Превосходительства, Председателя Совета Министров, Бенито Муссолини". У Артура Катанцаро оказался в Риме друг, бывший личный секретарь первого секретаря при Президиуме Совета Министров. Командор, от себя, написал ему письмо, изложил суть дела, и просил его, если это будет возможно, посодействовать.

В начале сентября я, неожиданно, получил из местной Префектуры бумагу, в которой мне предлагалось вновь подать просьбу о моем гражданстве. Я поспешил отнести ее, вместе со всеми необходимыми бумагами, в Префектуру, и начал ждать.

Прошло несколько месяцев. Командор Катанцаро вновь написал своему другу в Рим. Вскоре, от этого последнего, пришел ответ: "Декрет о принятии в итальянское гражданство синьора Вейцмана Филиппа, уже подписан Муссолини, и находится, для подписи, у короля".

Настал новый год; потом прошла зима. Я снова начал беспокоиться, но утром 3 апреля получилась, на мое имя, повестка из Квестуры, с предложением явиться туда.

Нацолези принял меня с улыбкой: "Ваше соджерно при вас? Дайте мне его — оно вам больше не нужно". Я повиновался, и взамен его он мне протянул Королевский Декрет, датированный 1 февраля 1938 года, дарующий мне итальянское гражданство, совершенно бесплатно. Через несколько дней, в сопровождении двух свидетелей: командора Артура Катанцаро, и еще одной, проживавшей в нашем пансионе, дамы, я пришел в генуэзский Муниципалитет, и был принят самим "Подеста" (городской голова). Подеста, с трехцветным шарфом через плечо, предложил мне поднять правую руку, и присягнуть в верности Италии и ее законам. По окончании церемонии дачи присяги, я, и мои свидетели, расписались в огромном кадастре. С этого момента, бывший ростовский пионер сделался итальянским гражданином, и верноподданным Его Королевского и Императорского Величества, Виктора Эммануила Третьего. Чего только не бывает в жизни!

Артур Катанцаро подарил мне книгу, дорогого издания: "История Генуи". По его мнению, я, став, теперь приемным сыном этого древнего города, должен был быть знакомым с его прошлым. Теперь инициативу моей дальнейшей "итальянизации" взял на себя мой отец. Дней через десять он пошел в Муниципалитет, захватив с собой четыре моих фотографии, и попросил для меня удостоверение личности, в котором значилось бы что я, Филипп Вейцман, итальянец по национальности. Это удостоверение ему было тотчас выдано. Затем он пошел справляться о моей военнообязанности. Ему объяснили, что я, как единственный сын отца, которому уже свыше шестидесяти лет, могу, если только пожелаю, быть освобожденным от военной обязанности. Отец возразил, что его сын должен служить своей новой Родине, за что его там похвалили. В июне меня вызвали для медицинского осмотра, и нашли годным для военной службы. Мне предстояло, как студенту, пройти шестимесячный курс в юнкерском училище, и потом шесть месяцев служить в качестве офицера тяжелой артиллерии, или саперных войск, в чине подпоручика. Как я был тогда рад и горд: ведь мне удалось обрести себе вторую Родину!

У меня остались еще три экзамена до окончания политехникума, которые я решил сдать этой осенью.

Наше будущее несколько посветлело; но увы! не надолго.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Расистские законы.

Уже в конце весны 1938 года, в итальянских правительственных кругах, начали появляться первые симптомы нарождения чудовищной, античеловеческой и антинаучной, доктрины, именуемой расизмом. Правда, что еще раньше, в связи с антиитальянскими экономическими санкциями Лиги Наций, вызвавшими сближение Италии с гитлеровской Германией, в некоторых фашистских кругах, близких к Фариначе, послышались первые антисемитские выпады; но на них мало обращали внимания. Всем итальянским евреям был памятен знаменитый ответ Муссолини известному журналисту и писателю Людвигу: "Расизм? По-моему это вопрос самосознания; на девяносто девять процентов вопрос самосознания". Муссолини считал, что принадлежность человека к той или иной расе или нации, обуславливается его культурой

и сентиментальными привязанностями. Итальянские фашисты высмеивали немецких нацистов, и после некоторых весьма скандальных историй, имевших место в Германии, сделали слово "наци" синонимом педераста. Но военные и политические успехи Гитлера, произвели сильное впечатление на Муссолини, и сближение Италии с Германией становилось все более и более тесным. Однако дружба с "фюрером" шла через расизм,... и Муссолини предал своих ереев. Увы! Не только бывший сельский учитель, сын простого кузнеца, пошел на это предательство, но и потомок бесчисленных рыцарей, графов, герцогов и королей, выдал с головою своих верноподданных. Король Виктор Эммануил Второй сказал: "Королевской династии Ди Савоя известна дорога изгнания, но не бесчестия". Его внук познакомил эту династию и со второй дорогой.

15 августа 1938 года был опубликован, подписанный королем Италии, Виктором Эммануилом Третьим, расистский закон, объявляющий евреев низшей расой, и лишающий их целого ряда прав. В первый момент после его опубликования, итальянские евреи не хотели верить, чтобы их король мог быть причастен к подобному преступлению. Один полковник — еврей, в последний раз построив свой полк, вышел к нему, в нескольких словах, объяснил солдатам, почему он больше не полковник, вынул револьвер, воскликнул: "Да здравствует король!" и застрелился. Другой очень богатый еврей, чтобы не допустить конфискации, в пользу фашистского правительства, всего своего огромного состояния, подарил его Короне. Много было подобных случаев.

Закон запрещал: еврею-врачу лечить неевреев; еврею-адвокату выступать в судах; еврею-инженеру работать по своей профессии, и т. д. Евреям запрещалось иметь домашних работников "арийской" расы; детям евреев посещать лицеи и высшие учебные заведения. Что касается до иностранных евреев, или таких как и я, принявших недавно итальянское гражданство, то мы все теряли его, и подлежали высылке из Италии, как нежелательные иностранцы.

Итак, 15 августа 1938 года, все мои мечты о близкой карьере итальянского инженера, о военной службе, о которой я думал с удовольствием и, вообще, о спокойной жизни на моей новой и прекрасной Родине, к которой я начал уже сердечно привязываться, были развеяны в прах: я — вновь "апатрид", и вместе с

моими стареющими родителями, в силу расистских законов, должен покинуть Италию, не позже 12 марта 1939 года. Теперь нужно было думать о скорейшей ликвидации нашего пансиона и об отъезде; но куда?

У нас, в то время, служила домашней работницей, итальянская девушка, по имени Джема. Она, с этого дня, при каждом звонке, пряталась, боясь, что нагрянет полиция, и запретит ей служить в нашем доме.

В момент издания расистских законов, у нас проживал уругвайский студент-медик. Он был женат на испанке. Его молодая жена обладала скверным характером и злым языком. Однажды она чем-то досадила моей маме. Мой отец сделал ей строгий выговор и сказал, что если так будет продолжаться, то он попросит их обоих оставить наш пансион. На эту угрозу она ответила моему отцу: "Вы — еврей. Я пойду в Квестуру и заявлю, что слышала своими ушами, как вы отзывались плохо о Муссолини. Знаете ли вы, что вам тогда будет?" Папа не на шутку испугался: эта женщина могла легко привести свою угрозу в исполнение, а в обстановке только что опубликованных антиеврейских законов, такой донос мог быть чреват самыми нежелательными последствиями. Отец не знал, что предпринять; но я ему посоветовал пойти к Нацолези и все тому рассказать. Отец послушался меня и пошел. При его приходе, в кабинете Командора сидел какой-то рыжеватый господин с серыми, неприятными глазами. Когда отец начал излагать Командору свое дело, тот его прервал: "Садитесь, пожалуйста, и подождите, через несколько минут я буду к вашим услугам". Минут через пять рыжеватый тип встал и вышел из комнаты.

"Теперь рассказывайте, синьор Вейцман, ваше дело. Я не хотел вас расспрашивать в его присутствии. Он — немец и гестаповец".

Отец рассказал ему весь инцидент.

"Будьте спокойны, я вас хорошо знаю и приму надлежащие меры".

На следующее утро уругвайский студент получил повестку явиться в Квестуру. Нацолези ему заявил:

"Ваша жена себя плохо держит. Синьор Вейцман мне жаловался, что она собиралась донести на него небылицы. Вы, молодой человек, в качестве ее мужа, являетесь ответственным за ее поступки. Я вас предупреждаю, что если до меня дойдет еще

одна жалоба на вашу супругу, то я вас обоих вышлю, в двадцать четыре часа, из Италии".

Студент вернулся домой очень напуганный, и через несколько дней оставил наш пансион.

Нацолези, и все местные власти, относились к нам хорошо; но закон есть закон: надо было уезжать. Морально мы очень страдали. Мой отец пошел было в американское консульство, но там ему объяснили, что для иммиграции в США, требуется материальная гарантия, которую мы, конечно, представить никак не могли. По старой памяти отец попытался получить французскую визу, но ему в ней категорически отказали. Отец еще вспомнил, что в Швейцарии, в Цюрихе, проживает уже многие годы, его бывший сослуживец по Дрейфусу, некто Швоб, и ему он решил написать о нашем отчаянном положении, прося его выхлопотать для нас швейцарскую визу. Через несколько недель от Швоба был получен ответ. Швобу удалось добиться для нас такой визы; но для ее получения, швейцарские власти ставили нам, непременное условие: во все время нашего пребывания на территории Гельветической Конфедерации мы не будем ничем заниматься, а только жить там, проживая наши деньги; какие?! Пришлось нам отказаться. Бедный отец не чувствовал в себе больше сил продолжать борьбу с жизненными невзгодами, и махнул на все рукой: "будет, что будет!"

Между тем я делал последние усилия, чтобы окончить генуэзский политехникум, и, наконец, 29 октября 1938 года, получил долгожданный диплом. Теперь, совершенно свободный от занятий, я решил действовать, и с первого ноября начал совершать систематический обход всех имеющихся в Генуе консульств. Где я только ни был! Ни одна страна в мире не хотела давать приюта гонимым евреям. Многие из наших братьев по вере решили бравировать расистские законы, и оставаться в Италии; почти все они погибли. Некоторые наши знакомые смеялись над моими усилиями, и порицали меня. Ольга Абрамовна Крайнина мне говорила: "И вам не стыдно, молодому человеку, быть таким трусом и паникером? Италия не Германия, и здесь нам ничего не угрожает". Но я твердо решил, в стране расистских законов не оставаться, и продолжал отчаянно стучать во все двери.

Первое консульство, в которое я пришел, было мексиканское.

Оказалось, что в эту страну визы выдавали очень легко, следовало только, для права на жительство в федеральной столице, городе Мексико, предъявить по пяти тысяч долларов на человека, в столицах отдельных штатов — предъявить "только" по три тысячи долларов на человека; а что касается права на жительство в глухих провинциальных городках, этой "гостеприимной" страны, надо было обладать "ничтожной" суммой в две тысячи долларов на человека. Мы же, в то время, не обладали ничем, кроме долгов. Тогда я решил действовать по плану, и начал обходить все консульства европейских стран, но, увы! в них визы евреям не давали. Мне всегда были симпатичны скандинавы, и последнюю мою надежду я возложил на Швецию. В своем весьма комфортабельном кабинете меня принял сам шведский генеральный консул. Это был голубоглазый блондин ростом, по крайней мере, в 1 метр 90. Я ему объяснил цель моего визита.

— Ничего не могу для вас сделать, — сказал "викинг"; — мы теперь впускаем в Швецию, и будем продолжать впускать, немецких евреев. Ведь вы сами согласитесь со мною, что их положение во много раз трагичнее вашего. Наша страна не может вместить слишком большого количества беженцев.

— Скажите, — обратился я к нему, — по происхождению я русский еврей, а у нас в России, при старом режиме, был обычай, в особо серьезных или безнадежных случаях, обращаться прямо на высочайшее имя. Что если теперь, я напишу такую просьбу на имя вашего короля, Густава Пятого? Может быть он сделает для меня, и моей семьи, исключение?"

Консул снисходительно улыбнулся:

— Что ж, пишите, пожалуй. Передайте потом мне вашу просьбу на имя короля, и я вам даю слово, что она дойдет до него; но это совершенно бесполезно: у нас такого обычая нет.

Видя мое разочарование он грустно взглянул на меня, и спросил с сочувствием:

— Как вы думаете? Этот кошмар будет еще долго длиться?

— Вы меня об этом спрашиваете, господин консул?!

— Да, я понимаю, никто не может того знать; но как все это ужасно грустно!

Он со мною попрощался сердечно, и я ушел.

Продолжая следовать моему плану, я решил пытаться эмигрировать в одну из многочисленных южноамериканских республик. В аргентинском, бразильском и чилийском консульствах мне, без

лишних слов, сразу отказали. Кто-то посоветовал просить визу в республику Эквадор. В эквадорском консульстве я был два раза; но во второй раз, главным образом из-за дочери консула, служившей ему секретаршей, и прекрасно говорившей по-итальянски. Я редко встречал такую красивую девушку, какой была эта смуглая креолка! Она мне объяснила, что ее отец сможет дать нам троим визу, при условии, что хотя бы один из нас принесет ему свидетельство о том, что он по профессии — земледелец. В инженерах или врачах Эквадор не нуждался, а, вот, хорошие земледельцы ему были нужны. Она еще прибавила, чтобы я не верил слухам о том, что на ее родине климат столь жаркий и, одновременно, сырой, что все европейцы, живущие там, через несколько лет сгибаются в дугу от ревматизма, и потом ходят, чуть ли не на четвереньках. Во многие южноамериканские двери я еще стучался, пока для меня не стало совершенно очевидным, что весь американский материк, от Берингова пролива до Огненной Земли, для нас закрыт.

Не имея возможности получить и австралийскую визу, я решил эмигрировать, если это окажется возможным, в одну из азиатских, дальневосточных государств. Выбор, фактически, был невелик, и первым делом мне пришла в голову мысль о Шанхае. Многомиллионный город, Шанхай, в свое время, был чем-то вроде международного центра, и в нем проживали сотни тысяч иностранцев. В 1938 году, Китай находился в состоянии войны с Японией, и Шанхай, уже несколько лет, как был оккупирован японцами. Сначала я пошел в японское консульство. Оказалось, что японского консула в Генуе не имелось; его заменял, в роли почетного консула, какой-то генуэзский купец. Я рассказал ему о моем положении и о желании эмигрировать с семьей в Шанхай. К моему удивлению он мне объяснил, что визу туда можно получить только у китайцев.

— Но ведь Шанхай занят японскими войсками, — возразил я ему.

— Это все равно: право на въезд в оккупированную область выдается китайскими властями и признается японскими.

Такой логики я не понимал, но решив, что Дальний Восток не Европа и, что Конфуций не Декарт, я, без дальних слов, отправился за визой в китайское консульство. В китайском, как и в японском консульстве, весь штат: от секретаря до самого почетного консула, были чистокровными генуэзцами. Меня там встре-

тил секретарь, и подтвердил слова японского консула. Я попросил визы в Шанхай, и передал ему паспорта, типа Нансен, выданные нам Квестурой, на предмет нашего выезда из Италии. Секретарь тотчас поставил на них визы с китайскими иероглифами, и пошел с ними в кабинет к консулу, для их подписи. Через пять минут он вернулся с зачеркнутыми, этим последним, визами, объяснив, что консул очень сожалеет, но дать нам их не может, так как мы являемся русскими беженцами. Таковы директивы правительства маршала Чан Кай Ши. Я был в отчаяньи.

— Скажите, от кого может зависеть дача этой визы? — спросил я его.

— От китайского посольства в Риме; но будьте уверены, что оно вам в ней откажет.

Несмотря на такой обескураживающий ответ я решил попытаться, и в ту же ночь уехал в Рим. Утром, как только открылось это посольство, я был уже там. Ко мне вышел один из секретарей, на сей раз настоящий китаец. Любезно улыбаясь, он усадил меня в удобное кресло, под большим портретом Чан Кай Ши, и начал мне пространно и терпеливо объяснять почему я не могу получить китайской визы, в занятый японцами Шанхай.

"У нас, в Китае, демократическая республика, — сказал он, — и нас совершенно не интересует ваша принадлежность к той или другой политической партии, расе или религии. Мы ставим визы, без всякого затруднения, на все существующие в мире паспорта, не исключая и советского паспорта,... кроме вашего. Для нас вы не еврей, а русский беженец, а русских белых беженцев мы иметь у себя больше не хотим. Шанхай переполнен ими, и они, буквально, там, умирают от голода".

В общем, этот любезный, сладко улыбающийся, китайский дипломат, мне дал понять, что я — пария вдвойне: как еврей и как русский беженец.

В четыре часа утра, следующего дня, промокший под дождем, и сильно уставший, я вернулся домой совершенно ни с чем.

В какую же мне дверь еще постучаться? Идя по одной из улиц Генуи, я увидел на стене какого-то дома странный герб, с надписью: "Непаль". Непаль так Непаль, решил я, и поднявшись на второй этаж, очутился еще перед одним генуэзцем: непальским почетным консулом.

"Я могу вам дать непальскую визу, — сказал этот господин, — в Непале нуждаются в инженерах, но я вижу, что вы инженер мо-

лодой. Если почему-либо вы там не найдете себе работы, то знайте: непальцы, нас европейцев, за людей не считают, и вышлют вас и ваших родителей, в пустыню, на китайскую границу, где вы все умрете от жажды и голода. Я вас предупредил, но если подобный риск вас не страшит, то я вам могу поставить визы на ваши паспорта".

Я его поблагодарил, но рискнуть не пожелал. Было с чего прийти в отчаяние! С одной стороны евреев преследовали и гнали: над ними нависла страшная угроза; а с другой стороны никто их впускать к себе не хотел. Я не говорю о евреях, советских беженцах, как я, но что было бы, если бы Сталин широко открыл двери СССР, и впустил бы в Советский Союз всех наших братьев, бегущих от Гитлера? Он спас бы, быть может, шесть миллионов жизней. Он мог бы поселять их, хотя бы временно, в Центральной Азии или в Сибири — места было достаточно, и из всех восемнадцати миллионов евреев, рассеянных по всему миру, сделал бы коммунистов. Но как демократы, так и коммунисты доказали на поверку чего стоят их идеалы. Я не очень верю в Верховный Суд истории, но если таковой действительно существует, то настанет день, когда, в вынесенном им приговоре будут обвинены, за небывалые доселе злодеяния, не только немецкий народ, возглавлявшийся полусумасшедшим австрийским маляром, но и, в качестве соучастников и попустителей, весь западноевропейский демократический мир, и коммунисты. Пусть хоть еврейские историки произнесут над всеми теми, кто закрыл свои двери перед ищущими спасения шести миллионами евреев, вечный херем.

Однажды утром Ольга Абрамовна Крайнина пришла к нам с новостью: у нее сидит, только что приехавший из Милана, наш общий знакомый, румынский еврей, Клаинман. Он рассказывает интересные вещи о каком-то международном городе в Северной Африке. Отец остался дома, но мы с мамой пошли к Крайниным. Клаинман нас встретил полулежа на кушетке: он отдыхал с дороги. Он нам рассказал, что, на африканском берегу Гибралтарского пролива, расположен марокканский город, именуемый Танжером. Он состоит под международным протекторатом, и каждое государство — протектор уполномочено давать визы, на право въезда в него. Италия является одним из таких государств, и виза, сколько ему известно, может быть выдана местной Квестурой.

Вернувшись домой мы рассказали об этом отцу, но он остал-

ся скептиком, возразив, что хлопотать об этой визе не пойдет, так как, по его мнению, все это глупости; но если мне угодно, то я уже, слава Богу, не маленький, и сам могу пойти к Нацолези. На следующее утро я взял наши итальяно-нансеновские паспорта, и пошел.

— Что скажете, молодой человек? — задал мне вопрос Нацолези.

— Я пришел, коммендаторе, узнать: от кого зависит виза в Танжер?

— От меня.

— Вы можете поставить ее на наши паспорта?

— Конечно.

Я протянул ему их, и через десять минут, с визированными паспортами в кармане, не шел, а летел домой.

— Ну как? — иронически улыбаясь, спросил меня мой отец.

— Получил визы — едем в Танжер.

В первый момент он подумал, что я шучу, и только увидав наши визированные паспорта, уяснил полностью, что на этот раз мы уезжаем. Что это за африканский город — Танжер? никто толком сказать нам не мог; но для нас, наконец, открылась дверь спасения.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Прыжок в неизвестность.

Если поезд летит в пропасть, едущие в нем пассажиры прыгают из него, на полном ходу. Они могут убиться, искалечить себя или тяжело ранить, но для них это единственный путь спасения. Так сделали и мы: прыгнули в неизвестность. Подумайте только: тишайшая и архибуржуазная семья Вейцман, из уездного русского города Таганрога, отправляется жить в Африку, в какой-то там Танжер, расположенный на берегу Гибралтарского пролива! Едет она туда без денег, без всяких видов на заработки, и, быть может, на долгие годы; и, что всего удивительней — безгранично счастлива при этом. Мой отец любил цитировать чьи-то строфы:

"Жизнь: это серафим и пьяная вакханка;
Жизнь: это океан и тесная тюрьма".

Что ожидает каждого из нас за первым поворотом жизненного пути:

"Знать не может человек —
Знает Бог единый".

Начались сборы. Первым делом надо было продать наш пансион и заплатить долги. Иные покупатели приходили осматривать помещение и обстановку, соглашались с ценой; но, узнав, что мы евреи, тотчас отказывались от покупки, боясь, что впоследствии, все купленное имущество, и сам пансион, могут быть у них конфискованы. В конце концов нашелся богатый и предприимчивый генуэзец, который предложил нам шесть тысяч лир за пансион, стоивший моему отцу сорок тысяч. Мы согласились, и сделка состоялась. Одна наша знакомая, встретив мою мать, шутя ее спросила: "Правда ли, что мне рассказывали, будто вы подарили, одному богатому генуэзцу, ваш пансион?" Но для нас было важно разделаться с ним. Теперь надо было приняться за уплату долгов. Наш угольщик, который уже много лет подряд поставлял нам топливо, пришел сказать, что его брат женат на еврейке, а, следовательно, мы ему ничего не должны. Наш портной, которому мы, уже немало времени платили векселями, принес их и порвал в нашем присутствии. Только сердечные и милые итальянцы, дети самого доброго в мире народа, способны были на подобные жесты. Все же, заплатив налог и другие долги, у нас осталось очень мало денег. По объявлению в газете мы нашли комнату, за две улицы от нашего бывшего пансиона, у одной акушерки, бразильянки по происхождению, замужем за генуэзским шофером. Комната была светлая, чистая и нам понравилась, но узнав, что мы, евреи, акушерка испугалась, и заявила, что, без разрешения своего мужа, она нам сдать эту комнату не может. Пришлось дожидаться возвращения с работы шофера. Вечером он пришел:

— Послушай, Армандо, я хотела сдать этой семье комнату на три месяца, но, представь, они — евреи.

— Что же с того? — удивился муж.

— Но пойми ты: они — евреи, а мы — арийцы.

— А ты — дура, — последовал мудрый ответ.

Комната осталась за нами. Это было в декабре, а через две недели мы встречали, в этой самой комнате, новый, 1939 год.

В первые дни января мы с отцом пошли в морское агентство справляться о пароходах, идущих в Танжер. После некоторых

затруднений нам удалось купить три билета второго класса, на пароход "Город Флоренция". Пароход отходил из Генуи 15 марта 1939 года, т. е. через три дня после легального срока; но мы не очень боялись этой ничтожной просрочки. Местные итальянские власти, где только могли, смягчали, а подчас и просто игнорировали, преступные, расистские законы.

В пароходном обществе нас предупредили, что танжерские портовые власти потребуют предъявления 1000 франков на человека, без этих денег нам не разрешат сойти на берег. Французский франк, в то время, стоил 0,50 итальянских лир. После уплаты за комнату и покупки пароходных билетов, у нас едва оставалось на жизнь, до отъезда. Пришлось оставить всякую гордость и просить наших друзей и знакомых, собрать для нас эту сумму. Ольга Абрамовна Крайнина дала нам 1000 лир, и недостающие тысячи наскребли для нас разные добрые люди. У меня, совсем некстати, порвались туфли, и один, уезжавший в Америку, еврейский беженец, подарил мне свою, почти новую, пару обуви. К счастью, она пришлась мне по ноге.

Незадолго до нашего отъезда, я получил повестку явиться в военное присутствие; но я не пошел. Вскоре получилась и вторая повестка, угрожавшая мне арестом, по обвинению в дезертирстве. Последний срок для моей явки был назначен на 14 марта, т. е. накануне нашего отъезда. Я пошел. Меня встретил там какой-то сержант.

"Что же вы, до сих пор, не являлись? Ждали когда за вами карабинеров пошлют?"

Я сказал ему, что я — еврей. Он сразу переменил тон:

"Это другое дело! Напишите мне заявление, что вы, действительно принадлежите к еврейской расе".

Я такое заявление написал, и он мне выдал свидетельство о том, что я нахожусь во временном, но бессрочном, отпуске. Тем и кончилась моя итальянская военная карьера.

Настал день отъезда. Наш пароход отходил в полночь. Часов в шесть вечера мы отправились в порт. Нас провожали некоторые из наших друзей, в том числе и Ольга Абрамовна с Раей. Из порта я протелефонировал еще одной нашей знакомой даме.

— Вы хорошо делаете, что уезжаете, — сказала она мне, — вы читали сегодняшнюю газету?

— Нет, мне было не до того.

— Немцы вошли в Чехословакию. Прага взята.

По закону мы имели право на вывоз очень ограниченного количества вещей, и никаких ценностей. Правда, этих последних у нас уже не было. Отмечу все же, что наш пароход был полон евреями-беженцами, но, несмотря на это, никакого таможенного осмотра не состоялось. Подчеркиваю этот факт потому, что, перед отплытием, хочу, еще раз, отдать должное итальянцам.

Прощания с нашими друзьями, поцелуи, слезы...

В полночь пароход покинул генуэзский порт. На борту пели хором разные модные песни. Прощай, Италия! Я полюбил тебя и надеялся стать твоим сыном. Судьба решила иначе; но я тебя все-таки люблю, и искренне тебе благодарен. Прощай!

Один за другим, во мраке ночи, угасали далекие огни Генуи.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Второе изгнание.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: На борту "Город Флоренция".

Когда мы поднялись на борт, то оказалось, что пароход, буквально, переполнен беженцами, и для меня во втором классе не нашлось места. Я на этом ничего не потерял, так как мне дали койку в каюте первого класса, где со мною ехали два итальянских сержанта, направлявшиеся в Севилью, в Голубую дивизию. В Испании еще тлела, но уже догорала, гражданская война, и к первому апреля ей суждено было погаснуть.

Ночь прошла спокойно, но утро настало пасмурное, и море слегка волновалось. Я встретился с моими родителями в кают-компании второго класса. В полдень начало сильно качать. В тумане чуть виднелись вершины приморских Альп. Пароход вошел в Львиный залив. В час дня мы отправились обедать, но все усиливающаяся качка давала себя чувствовать. Одной из первых жертв морской болезни сделался я. До того времени мне не приходилось плавать на пароходе, и это был мой первый опыт. Остаток дня я провел в каюте, на моей койке, страдая от качки. Только к вечеру мне стало лучше и я заснул. Среди ночи меня разбудили ужасные проклятия. Буря еще усилилась, и иллюминатор, под которым спал один из сержантов, оказался плохо завинчен. Большая волна, ударив о него, проникла в каюту и залила спящего унтер-офицера. Ругаясь последними словами он вскочил с койки и позвонил. Ночному дежурному, пришедшему на звонок, сержант, в коротких, но выразительных словах, чисто по-военному, высказал все, что он думает об экипаже парохода, в котором не закрывают надлежащим образом иллюминаторы. К утру буря утихла, и перед нами открылось испанское побережье "Коста Брава". К десяти часам утра мы были в Барселоне. Прошедшей ночью мои родители тоже сильно страдали от качки, но как только портовые власти нам выдали разрешения, мы с отцом сошли на берег, и пошли осматривать город. Барселона очень пострада-

ла от гражданской войны, везде виднелись ее следы; нищета была неописуемая. Когда, к часу дня, мы вернулись на борт, в порту, перед нашим пароходом, собралась большая толпа, состоявшая, главным образом, из женщин. Все эти несчастные, нередко довольно прилично одетые, просили хлеба, и мы им подавали через борт белые, круглые итальянские булочки. Перед вечером пароход покинул этот порт. Красавица Барселона, некогда гордая столица Каталонии, теперь была полна горя и нищеты. Один из совсем молодых матросов рассказывал, что сойдя на берег он без труда купил, за фунт белого хлеба, любовь молодой и красивой каталонки, и, что таких женщин, готовых отдаться за ломоть хлеба, был полон город. Третья ночь в дороге была тихая и спокойная; море таким и осталось до самого Танжера. Утром пароход причалил к Пальма де Майорка, но оставался там не долго, и мы на берег не сошли.

Жизнь на пароходе понемногу наладилась. Я познакомился с молодым польским евреем, лет двадцати шести, по имени Вербнер. Он мне рассказал о себе:

Вся его семья, родом из Львова, состояла из матери, сестры и двух братьев. Он был младшим братом. В конце мировой войны их отец пошел добровольцем в армию маршала Пильсудского, и был убит. Старший брат, после окончания варшавского медицинского факультета, эммигрировал в Америку, неплохо там устроился, натурализовался, и стал посылать семье деньги. Семья жила на них безбедно. Мой новый знакомый учился в одном из средних учебных заведений его родного города. Семья Вербнер принадлежала к совершенно ассимилированным евреям, все они считали себя поляками и не знали по-идыш. Карл, так звали моего знакомца, по получении аттестата зрелости, хотел поступить в университет, но, к этому времени умер маршал Пильсудский, и власть в стране перешла в руки полковника Бека. Бек дружил с немцами, и ежегодно, вместе с Герингом, ходил на охоту. В Польше начался злой антисемитизм. Карл не мог на своей родине продолжать образование, уехал учиться в Италию, и там поступил в миланский университет. Учение его, как и у меня, продвигалось довольно медленно, но он продолжал аккуратно посещать высшие коммерческие курсы, до памятного дня опубликования расистских законов. Его польский паспорт был просрочен, и желая вернуться к себе во Львов, он пошел к польскому консулу. Консул его встретил недоброжелательно:

— Гражданин Вербнер, вы — еврей, и у вас просрочен паспорт. По новым законам всякий еврей, обладающий польским паспортом, и не возвратившийся в Польшу в течение одного года, теряет гражданство. Ваш паспорт аннулирован, и вы больше не можете вернуться в нашу страну.

— Но, господин консул, — взмолился Вербнер, — что мне теперь делать? В Италии, как вам известно, вышли расистские законы, и я обязан ее покинуть. Куда я поеду с аннулированным паспортом?

— Это меня совершенно не касается.

Вербнер потерял контроль над собой (было с чего), и возвысил голос:

— Как это вас не касается? Как это вы меня лишаете польского гражданства! Мои предки, в течение многих веков, проживали в Польше. Во Львове я оставил мою мать и сестру.

— Гражданин Вербнер, — оборвал его консул, — если вы не перестанете кричать и скандалить, то я вызову карабинеров.

— Господин консул, — чуть не плача, еще громче закричал бедняга, — зовите карабинеров! Мой отец пролил свою кровь в борьбе за независимость Польши, сражаясь в рядах армии маршала Пильсудского, а его сына, польский консул в Италии, за то, что он хочет оставаться поляком, выгоняет из консульства с карабинерами.

Услыхав это, консул немного смягчился:

— Ваш отец действительно сражался в рядах армии Пильсудского и был убит? Где? Когда?

Карл рассказал ему все подробности.

— Хорошо, — заключил консул, — вы должны, будучи евреем, покинуть Италию, но именно как еврею я не могу вам дать права вернуться в Польшу. Все же, принимая во внимание то, что ваш отец пролил свою кровь за Польшу, я вам продлеваю паспорт еще на год, но без права его дальнейшего продления, и с ним вы не можете возвратиться в нашу страну.

Все это консул написал красными чернилами на паспорте. Теперь, с этим документом в руках, и с визой на нем миланской Квестуры, Карл ехал с нами в Танжер.

Весь следующий день мы пробыли в открытом море. Где-то там, за далеким горизонтом, лежала Валенсия, и тянулось испанское побережье, находящееся еще в руках умирающей Республики; но нам были видны лишь легкие дымки на линии горизон-

та: это военный флот генерала Франко блокировал республиканские порты.

20 марта, в первое весеннее утро 1939 года, наш пароход причалил к Малаге. Целый день мы провели в этом андалузском городе. Роскошные пальмы, и вся красота южной природы, не могли скрыть ужасов гражданской войны. Город, буквально, лежал в развалинах, и был полон безрукими и безногими людьми. В Малаге никто хлеба у нас не просил, но зрелище было ужаснее чем в Барселоне. Мы все были рады когда поздним вечером пароход покинул этот порт: слишком тяжело было смотреть.

Еще одна ночь в море: южная, тихая, теплая; все небо покрыто яркими звездами. Рано утром все беженцы вышли на палубу. Справа тянулся гористый андалузский берег, и уже не очень далеко, впереди корабля, вставал высокий мыс Гибралтара; а слева тянулся другой гористый берег: Африка. Часа через два мы прибыли в Сеуту. Там мы остановились часа на три, но мне все же удалось прогуляться по городу. Здесь гражданской войны не чувствовалось; но это была уже Африка. В Сеуте я, в первый раз в жизни, увидел арабов.

В одиннадцать часов утра мы вошли в Гибралтарский пролив, а в половине второго, на африканском берегу, нам открылся, живописно расположенный в небольшом заливе, белый городок. Один из матросов указал нам на него: Танжер.

К двум часам пополудни, обогнув мыс Малабата, с его маяком и немного таинственным замком, мы вошли в порт. Наше путешествие окончилось. Начался долгий и подробный осмотр багажа. Только в пять часов вечера, после контроля паспортов и предъявления нами тысячи франков на человека, мы были пропущены в город. В порту нас встретил Клаинман, уже с месяц живший в Танжере. Он помог нам найти двух арабов, которые, навьючив на своих ослов весь наш багаж, отвезли нас в отель, указанный нам Клаинманом, и оказавшийся ужасным. При входе в город нас встретила группа молодых и веселых людей, идущих, с ракетками в руках, играть в теннис. Я, невольно, сравнил их положение с моим.

Арабы с нас взяли чуть ли не тройную цену, но мы тарифа не знали. Вербнер не отставал от нас, и остановился в том же отеле, что и мы. Утром нам предстояла еще одна, последняя, формальность: надо было пойти в Международную полицию, засвидетельствовать паспорта, и получить разрешение на жительство. Выпив

наспех кофе, мой отец взял все наши бумаги, и мы, вместе с Вербнером, который отдал моему отцу и свой паспорт, пошли в полицию. У ее дверей папа остановил нас, сказав, что он туда пойдет один. Он очень волновался: а вдруг откажут нам в праве на жительство: чего не бывает! Через двадцать минут он вышел сияющий: паспорта были зарегистрированы, и нам всем выдали разрешения на постоянное жительство в Танжере. В этом городе мне суждено было провести долгие и тяжелые годы.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Танжер.

Опишу теперь, как можно подробнее, рискуя показаться скучным педантом, тот город, в который занесла судьба меня и моих родителей, накануне Второй мировой войны.

Танжер расположен на высоком марокканском берегу Гибралтарского пролива, в двенадцати километрах от Атлантического океана. Город, основанный еще финикийцами, по преданию был родиной Геркулеса. На его восточной окраине возвышается невысокий холм, Шарф — могила Антея, сына земли, убитого Геркулесом. В пятнадцати километрах от города, на берегу океана, находятся, так называемые, Геркулесовые гроты. От них начинаются пески, местами зыбучие, тянувшиеся до самого Испанского Марокко, точнее: зоны испанского протектората, ограничивавшего с суши всю Танжерскую зону. В нескольких километрах от города, имелась роща, по имени Дипломатическая, место праздничных прогулок и пикников танжерского населения. По шоссейной дороге, ведущей в Фес, Танжерская зона, на двадцать первом километре, кончалась международным мостом, за которым начиналась Испанская зона. История этого города очень длинная и бурная: он переходил из рук в руки. В самом Танжере видны еще и теперь остатки развалин финикийского храма и куски колонн розового мрамора. Если стать на его главной улице (Бульвар Пастер), лицом к проливу, то справа будет виден холм Шарф, а слева другой холм, на котором построена танжерская касба. Касба, в северо-африканских городах, то же, что кремль у русских, или кастро в средневековых греческих. В древней Греции он соответствовал акрополю. На самой вершине танжерской касбы возвышается, колеблемая всеми ветрами, одинокая пальма.

На запад от касбы тянется холмистый берег Гибралтарского

пролива, именуемый попросту Горою (Монте или Монтань, в зависимости от языка). Эта "Гора" оканчивается самым северным мысом всего западного побережья Африки: мысом Спартель. На этом мысе стоит маяк, а около маяка бьет из под земли горный ключ минеральной железистой воды. Он заброшен, и его никто не пытается эксплуатировать, а вода, кажется, хорошая.

По берегу танжерской бухты, километра на три, тянется прекрасный пляж. За ним расположена загородняя вилла, с большим садом при ней. Много лет тому назад она была построена богатым англичанином, неким Гаррисом, и носит его имя. Дальше начинается мыс Малабата, ограничивающий с востока эту бухту; на нем возвышается другой маяк, а рядом с ним расположен живописный замок. Во время войны этот замок принадлежал одному итальянцу. Около мыса Малабата много подводных камней, и сильное течение. Когда-то, об эти камни, разбивалось немало утлых рыбачьих суденышек. Испанцы прозвали этот мыс "Mala Pata" (Мала Пата), что значит: приносящий несчастье. Отсюда и его теперешнее, несколько измененное, название: Малабата.

Город делится на старый и новый. Старый город теснится у подножья Касбы, и обнесен хорошо сохранившейся стеной, с монументальными в ней воротами. До прихода европейцев эти ворота закрывались на ночь, и, между заходом и восходом солнца, никто не мог ни войти в него, ни выйти. Теперь эти ворота открыты постоянно настежь.

Новый город расположен вне стен, и в мое время в нем жили почти исключительно европейцы, если не считать нескольких богатых марокканских евреев с их семьями.

Перед главными воротами старого города, с утра до вечера, шумел "Большой Рынок". Внутри старого города находился еврейский квартал, пережиток гетто, носивший поэтическое название "Новый Фонтан". Снаружи городской стены расположены кладбища: два арабских и одно еврейское. Это последнее уже закрыто, а в трех километрах от города, по дороге ведущей в Фес, существует новое.

Внизу, на берегу, вблизи порта, построен танжерский вокзал, и от него тянется длинный, довольно красивый, обсаженный пальмами, бульвар: "Испанский Проспект", в своем противоположном конце переходящий в пляж.

Главная площадь нового города называлась "Французской", и на ней было расположено французское генеральное консуль-

ство. От этой площади брал свое начало Бульвар Пастер, главная артерия города. Недалеко от французского консульства, на площади, одно против другого, существовали, а может быть и теперь существуют, две самые большие танжерские кофейни: "Парижская кофейня" и "Французская пивная". В этих кофейнях проводили целые дни их танжерские завсегдатаи, а кроме того они бывали посещаемы: туристами, контрабандистами, тайными агентами всех государств мира, и т. д.

Танжер обладал очень оригинальной конституцией. Начнем с того, что международным городом, как его называли, он никогда не был. Танжер входил в состав Марокканской Империи, разделенной на три неравные зоны протекторатов: французского, испанского и международного. Танжерская зона находилась под международным протекторатом. В этой зоне система управления была двухпалатная. Верхняя палата называлась Контрольным Комитетом, и состояла из посланников государств-протекторов. Низшая палата, именуемая Законодательным Собранием, состояла из представителей всех иностранных колоний, проживавших в Танжере; все они бывали назначаемы, на известный срок, посланниками их стран. Кроме того, в него входили арабы и евреи. Еврейские представители избирались еврейской общиной, а арабские назначались султанским наместником в Танжере — Мендубом. Этот последний являлся председателем Законодательного Собрания, а также чем-то вроде главы этого маленького государства. Исполнительная власть принадлежала городской администрации, и возглавлялась администратором зоны и его помощниками; всех их назначал Контрольный Комитет. Блюстителями порядка и защитниками зоны являлись: международная полиция, состоящая из европейцев всех национальностей, местных евреев и арабов; международная жандармерия, в нее входили исключительно арабы и мендубская гвардия, в живописном бело-сине-красном одеянии, тоже состоящая исключительно из арабов.

Судебная власть была чрезвычайно сложной: арабов судил суд Мендуба, основываясь на законах Корана. Марокканских евреев судил раввинский трибунал, а все иностранцы, кроме американских граждан, были подсудны международному трибуналу, и судимы на базисе законов их стран. Американских граждан судил, по законам США, специальный трибунал, заседавший в самом американском консульстве.

Все религии были равны: в городе имелось несколько мечетей, две или три христианских церкви, и с десяток синагог, состоящих из одной небольшой комнаты.

Что касается народного образования, то в Танжере существовало множество арабских коранных училищ; две школы, для мальчиков и девочек, принадлежащие "Израильтянскому Универсальному Союзу", посещаемые не только еврейскими детьми, но и арабскими, и, даже, испанскими; три лицея: французский, итальянский и испанский. Несколько лет спустя в Танжере открылись талмуд-тора, а также американская низшая школа.

В городе имелся старый испанский театр, имени Сервантеса, и несколько кинематографов. Таковым был Танжер, куда 21 марта 1939 года нас забросила жизнь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Первые месяцы нашей жизни в Танжере.

Гостиница, в которой мы, по совету Клаинмана, остановились, походила на все, кроме гостиницы; окно комнаты моих родителей выходило прямо в чей-то курятник, и рано утром горластый "шантеклер" будил их, возвещая миру появление дневного светила. Дня через два, в том же районе, мы нашли небольшой, не очень комфортабельный, но чистенький и тихий отель, принадлежавший одной итальянской семье, и переехали в него. Вербнер поселился в общежитии для беженцев, открытом недавно местной еврейской общиной, на деньги американского "Джойнта". Столовались мы в ресторане, рядом с нашим отелем, и принадлежавшем другой итальянской семье. Все эти люди относились к нам очень тепло. Вообще беженцам сочувствовали. Однажды, это было вскоре после нашего приезда, мы сидели в небольшой кофейне на Испанском проспекте, и пили там чай. За три столика от нас помещались два местных еврея, в черных желябах. Они глядели на нас и о чем-то перешептывались. Когда мы собрались уходить, и мой отец попросил у кельнера счет, этот последний, улыбаясь, сказал: "За вас уже уплачено", и указал нам на двух евреев. Кончилось это улыбками, поклонами и пожатием рук, так как, к сожалению, у нас с ними не было общего языка.

Настал праздник Пасхи. За несколько дней до него мы познакомились с одним танжерским евреем по имени Бенабрам. Он говорил по-французски и по-итальянски. Наш новый знакомый

пригласил нас провести праздники в его семье. Мы с радостью приняли это приглашение. Они жили в собственной вилле. Бенабрамы были еще очень молодыми людьми, но уже имели троих детей: двух мальчиков и девочку, последней было всего восемь месяцев. Господин Бенабрам, коренной танжерец, имел бакалейную лавку, и хорошо зарабатывал. Жена его происходила из семьи Коэнов, выходцев из Алжира, и являлась французской гражданкой. Их дети считались французами. Вскоре мы с ними договорились и сняли, у них на вилле, комнату, с правом пользоваться кухней, и с первого мая переехали к ним. За комнату мы им платили 400 франков в месяц, а на 200 франков умудрялись питаться. В то время жизнь в Танжере была очень дешева. Однако из 3500 франков, к моменту нашего переезда на виллу Бенабрама, у нас осталось только 3000, т. е. ровно на 6 месяцев скромной жизни. Ни для меня, молодого инженера, ни, еще менее, для моего отца, в Танжере никаких перспектив на заработки не имелось. Снова встал вопрос: на что мы будем жить? Отец мечтал уехать, как можно скорее, из Танжера, все равно куда. В его представлении Танжер являлся для нас чем-то вроде короткого этапа, в наших принудительных странствованиях. Ему мерещилась, в тумане недалекого будущего, какая-то надежная гавань. Но пока, не зная что предпринять, он решился, сломив свою гордость, просить помощи у своих бывших сослуживцев по Дрейфусу. Их адреса у него сохранились, и он им всем написал о своем положении. Надо отметить, что все они откликнулись, и каждый из них послал отцу, в среднем, по 2000 франков. Это нас, хотя и временно, но очень поддержало.

Теперь я, почти каждый день, сопровождал мою мать на рынок. Раз как-то, на "Большом" рынке, услыхав нашу русскую речь, к нам подошла дама лет сорока, и представившись, спросила по-русски: кто мы и откуда? Мы разговорились. Ирина Александровна Семенова, дочь одного весьма известного русского писателя конца девятнадцатого века, была женой бывшего русского офицера морских инженерных войск царской службы. У нее были две дочери, в возрасте двадцати и семнадцати лет: Татьяна и Мария. Мужа ее звали Дмитрием Осиповичем. Мы, в тот же вечер, были приглашены к ним на чай, и стали у них бывать. У них часто собирался кружок, состоящий из местных молодых людей, и я вошел в него. Я помню, что раз, в разговоре, в ответ на мою просьбу охарактеризовать мне Марокко, страну в кото-

рую меня, так неожиданно, забросила судьба, Татьяна мне ответила лапидарной и лаконической фразой: "страна колючая и вонючая". Не много времени мне потребовалось, чтобы убедиться в совершенной справедливости такого определения.

Дмитрий Осипович занимал довольно ответственный пост в международной администрации города. Он принадлежал к группе русских белых офицеров, бежавших, после окончания гражданской войны, в Марокко, и там устроенных на службу маршалом Льоте.

Однажды моему отцу понадобилась какая-то официальная бумага, и он попросил Семенова выдать ему ее. К его удивлению Дмитрий Осипович сознался, что он плохо пишет по-французски, и попросил моего отца самого составить эту бумагу, а он ее после подпишет. Это немного напомнило нам, блаженной памяти, "генерала" Кочубея.

В июне, в Танжер прибыл немецкий крейсер, и его офицеры дали бал. Татьяне и Марии очень хотелось пойти на него, но Дмитрий Осипович им это категорически запретил, сказав: "Никогда мои дочери не будут танцевать с немецкими офицерами".

На политическом горизонте собирались черные тучи, сверкали еще далекие молнии, и все упорней и упорней носился слух о близкой и неизбежной войне.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: От "Drole de guerre" до "Blitz – Krieg".

Итак, все кончилось войною!..
Безликий и всесильный Рок
Проводит красною чертою
Двадцатилетию итог.

(Отрывок из стихотворения
одного эмигрантского поэта)

1 сентября 1939 года. Утреннее радио разнесло весть о том, что немецкие войска перешли западную границу Польши, и подошли к Данцигу и Гдыне.

Недавний договор, подписанный Молотовым и Рибентропом, обеспечивал немцам, со стороны СССР, полную безнаказанность их очередной военной агрессии. Что касается западных держав, то Германия надеялась, что их реакция сведется к Мюнхену № 2.

По своему обыкновению, как и во все предыдущие разы, Гитлер заявил, что это его последнее завоевание в Европе, и больше он ничего не потребует. Однако, уже к полудню, стало известно, что, на сей раз, этот новый акт международного бандитизма, допущен не будет. Франция и Англия поставили Германии сорокавосьмичасовой ультиматум: оттянуть свои войска на прежнюю границу; предлагая ему, после этого, созвать новую конференцию, для мирного разрешения вопроса о польском коридоре. Гитлер отклонил ультиматум, и продолжал свое наступление. Варшава, и другие крупные города Польши, подвергались жестокой бомбежке. Польша не имела и сотой доли вооружения, которым обладали немцы, и знаменитые немецкие панцырные дивизии, сметая все на своем пути, шли на восток. Поляки, верные своей вековой традиции безмерной храбрости, доходящей порою до безумия, бросали свою великолепную конницу на немецкие танки, превращая людей и лошадей в кровавое месиво. Мы все со страхом слушали по радио военные сводки, боясь помыслить о том, что будет, если весь этот ужас, действительно, вновь окончится вторым "Мюнхеном". Весь следующий день немцы продолжали свое быстрое наступление; все глубже и глубже проникая в Польшу.

3 сентября 1939 года, в одиннадцать часов утра, радио передало: "Англия объявила войну Германии. Англия! одна Англия! А что же Франция?! Чего еще она ждет?! Неужели Англия останется одна перед лицом громадной, и чудовищно вооруженной Германии? Каждый час продолжали приходить сведения о все более и более быстром продвижении в Польше немецких войск. Но вот, в 17 часов, радио передало: "Франция объявила войну Германии", и вслед за тем полились звуки Марсельезы. Чудесный гимн! В подобные моменты он пробуждает надежды, окрыляет душу и вызывает слезы на глазах. Через несколько дней после этого, мы с мамой пошли на танжерский вокзал смотреть на отъезд в Касабланку первых мобилизованных молодых людей. При виде всей этой молодежи, быть может обреченной на смерть, мама разрыдалась. К ней подошлп какая-то дама и, с участием, спросила: не сыл ли ее мобилизован? В этот миг моя мама себя чувствовала матерью всех отправляемых на войну молодых людей.

Немцы, в своем быстром наступлении, стремились сломить последнее отчаянное сопротивление поляков; а в это время, поль-

зуясь началом полного разгрома польских военных сил, и опираясь на статью секретного большевистско-нацистского договора, Красная армия, почти не встречая сопротивления, в свою очередь перешла границу, и заняла весь восток Польши: Брест-Литовск, Белосток, Львов, Перемышль; а на крайнем юге, войдя в Румынию, оккупировала Бессарабию и Черновицы. Между тем немцы взяли Варшаву, и вскоре Польша сдалась.

В это время, как в известном романе Ремарка, на западном фронте все было "без перемен". Начиналось то, что, впоследствии было названо французами: "Drole de guerre". Первые английские войска высадились во Франции. От времени до времени союзники переходили немецкую границу, оставляя позади себя линию Мажино, но не решаясь атаковать линию Зигфрида, проникали на глубину нескольких километров, во вражескую территорию. Немцы, отступая, оставляли, на покинутой ими земле, мины и разные хитроумные западни.

Один французский офицер, легко раненный во время такой военной экспедиции, рассказывал: "Входим мы в небольшой немецкий городишко. Я беру с собой нескольких солдат и иду с ними занимать городскую ратушу. Вхожу в кабинет бургомистра, и вижу: стоит письменный стол, а на нем — тарелка полная спелых, гнилых помидор. На стене висит большой портрет "фюрера", с поднятой рукой, а вся рамка портрета украшена фиалками. Фиалка — прекрасный, нежный цветок, а сам портрет — отвратителен; но подумайте: какая тонкая психология! Сочетание нежных фиалок с гитлеровской мордой, уверяю вас, совершенно непереносимо. Не долго думая, я хватаю самый гнилой, попавшийся под руку, помидор, и изо всех сил швыряю его в портрет. Раздается взрыв — портрет был минирован. Меня легко ранило, но я не жалею".

В Штутгарте объявился французский изменник, ежедневно передававший по радио, гитлеровскую пропаганду на французском языке, приглашая соотечественников отказаться драться за "англичан и евреев".

Во Франции была запрещена коммунистическая партия, так как французские коммунисты, следуя, как, всегда, директивам Москвы, стали на дружественную позицию по отношению к гитлеровскому Третьему Райху. В Танжере мы слушали передачу советского радио. Ежедневно Москва, с подчеркнутым удовольствием, сообщала, переводя на русский язык, военные сводки

ДНБ, о количестве пущенных немцами ко дну союзных военных и коммерческих судов.

В Танжере, после отъезда мобилизованных молодых людей, жизнь вновь вошла в свое русло. Мы познакомились с одним польским евреем, доктором Шакиным. Узнав, что мы в Генуе содержали домашний пансион, он посоветовал нам открыть такой же и в Танжере, обещая поселиться у нас. Мы так и сделали, и с первого января 1940 года, переехали в снятую нами квартиру, на третьем этаже, довольно нового европейского дома, на бульваре Пастер. Шакин сдержал свое обещание, и переехал жить в наш пансион, вместе с одним учителем еврейского языка, родом из Иерусалима.

Квартира снятая нами оказалась слишком маленькой и дорогой, и мы ее вскоре переменили на другую, менее центральную, но более дешевую и комфортабельную. К несчастью, через месяц, хозяин — испанец, узнав, что мы евреи, предложил нам ее оставить. Между прочим, на этой квартире нам довелось столкнуться с некоторыми местными нравами. В нижнем этаже находился автомобильный гараж, принадлежавший какому-то арабу. Он был всегда полон его соплеменниками. Раз как-то к нам постучался один из них, и попросил одолжить ему, для нужд гаража, на один час, наше ведро. Как раз, недавно, мама купила новое. Этого араба мы часто видели в гараже, и он, если не ошибаюсь, был одним из его хозяев. Мама, конечно, одолжила ему это ведро: ведь мы были соседями. Прошло часа три, а ведро не возвращалось. Мама спустилась в гараж, чтобы взять его обратно; но там его никто: "видом не видывал, слыхом не слыхивал". Ведро пропало.

1 июня мы вновь переехали жить на бульвар Пастер, в дом, принадлежавший богатейшему местному еврею, и там окончательно обосновались. Наша новая квартира, расположенная на четвертом этаже, без лифта, без отопления, была, относительно, недорогой и очень большой. Она состояла из шести комнат, с двумя балконами, длиннейшего коридора, кухни, ванной комнаты и других удобств. Из окон трех ее комнат открывался вид на Гибралтарский пролив. Мы поселились в одной из таких комнат, другую, рядом, превратили в столовую, а остальные четыре сдали таким же как и мы беженцам. Наш танжерский пансион далеко не был столь шикарен как тот, который мы принуждены были

продать в Генуе, зато он приносил нам небольшую ежемесячную чистую прибыль, дававшую нам возможность безбедно существовать. Так как у нас столовались и жили исключительно наши братья по вере, то, на первых порах, было решено держать строгий кашер. На местном рынке было много еврейских мясных лавок, мама пошла туда. Увы! кашерное мясо оказалось в два раза дороже некашерного и во много раз хуже. Пришлось от него отказаться. Впрочем, официально, наш стол продолжал считаться кашерным, и мой отец, совершенно серьезно заявил клиентам, что когда столуются в еврейской семье, то о кашере не спрашивают, и весь грех, и вся моральная ответственность за него, падает на еврея-хозяина. С этой доктриной почти все охотно согласились. Для субботнего кидуша было необходимо иметь кашерное вино. Мне была поручена деликатная миссия раздобыть его для нашего пансиона. Я отправился к одному из многочисленных евреев-виноторговцев, и попросил продать мне бутылку вина. К моему удивлению на ней не было видно слова "кашер". Я возразил, что мне необходимо кашерное вино для субботнего кидуша. В ответ мне он, молча, вынул ярлык, на котором значилось: "кашер", и, невозмутимо, наклеил его на бутылку. Я понял весь секрет, и вполне удовлетворенный, заплатив честному виноторговцу, следуемые ему деньги, отнес вино домой.

Вскоре начали прибывать из Польши новые еврейские беженцы. Они рассказывали ужасы. Почти ежедневно к нам стал приходить столоваться, вместе со своей женой, пожилой варшавский инженер, Брокман. В прошлом он был весьма богатым человеком, и, к счастью для него, у него сохранились немалые деньги в швейцарских и американских банках; но все, что он имел в Польше конфисковали немцы. Дней через десять после прихода гитлеровцев, к нему на квартиру явился офицер СС, в сопровождении трех солдат. Приложив руку к козырьку своей военной фуражки, офицер очень вежливо, осведомился: действительно ли он имеет честь говорить с инженером Брокманом.

— Да, господин офицер, я инженер Брокман, — последовал ответ.

— Вы еврей?

— Да.

— Вы меня простите, господин Брокман, долг службы мне велит сделать у вас обыск, и если я найду в вашем доме ценности

или деньги, то буду принужден их конфисковать. Мне, право, очень жаль; — с этими словами он предъявил ордер на обыск и конфискацию.

— Следуйте за мной, господин офицер, я вам покажу всю нашу квартиру; но вы у меня ничего не найдете, так как все мои средства были вложены в мое предприятие, а небольшие суммы я держал на текущих счетах в банках. Все это уже конфисковано.

— Я вам верю, господин Брокман, — все так же вежливо и мягко продолжал офицер СС. — Но ничего не поделаешь: служба, — и он пошел, со своими солдатами, за Брокманым, по комнатам большой и богато обставленной квартиры.

У Брокмана была хорошая библиотека: он был немного библиофилом. При виде ее офицер улыбнулся:

— Я замечаю, что у нас с вами одинаковые вкусы: я тоже очень люблю книги. Литература, как и музыка, смягчает и облагораживает душу. Люблю иметь дело с интеллигентным человеком. Но, может быть, вы прячете в книгах ваши деньги?

— Нет, господин офицер, я их там не прячу.

— Посмотрим! Вы разрешите?

Он взял первый из томов в твердом картонном переплете, встряхнул его, и так как из него ничего не выпало, то, обернувшись к рядом с ним стоявшей жене Брокмана, женщине уже совсем не молодой, он с силой ударил, этой книгой, ее по голове. От неожиданности, испуга и боли она вскрикнула и пошатнулась. Два солдата подскочили к ней и крепко схватили ее под руки. Офицер взял другой том, встряхнул его и ударил им, еще раз, бедную женщину, по голове. Эта жестокая забава продолжалась до тех пор пока пожилая дама не лишилась чувств. Когда Брокман нам рассказывал эту историю, то у него сжимались кулаки, и на глазах стояли слезы.

Вести из Польши начали приходить все реже и реже, и становились все трагичнее и трагичнее. Около Люблина немцы устроили "еврейский резерват", род гигантского гетто, впоследствии ими же уничтоженного, со всем находящимся в нем населением.

После очень долгого перерыва Вербнер получил из своего дома короткое письмо от его сестры: "Дорогой Карл, я тебе пишу в последний раз. Нашу бедную маму отправили туда, куда ушел и наш папа, а мой черед настанет, если не сегодня, то завтра. Желаю тебе долгой и счастливой жизни. Вспоминай маму и меня. Целую

тебя крепко. Твоя сестра." Следует подпись. Вербнер рыдал как ребенок. Он мне прочел это письмо и сказал: "Я решил пойти на войну. В Англии формируется польский легион, под командованием генерала Сикорского. Я попрошу местного английского консула, он меня отправит в Гибралтар, а оттуда в Лондон. Хоть одного немца, но я должен убить!"

Он так и сделал, и через месяц, попрощавшись с нами, уехал в Гибралтар. Через несколько недель мы от него получили письмо из Англии: он в нем писал, что благополучно прибыл туда, и уже зачислен в армию Сикорского. Месяца через четыре пришло от него еще одно письмо, в котором он нам рассказывал о нестерпимом злом антисемитизме, царившем в польской армии, а, вследствие этого, о его переводе в английские части. Потом письма от него совершенно прекратились, но нам удалось узнать о его дальнейшей судьбе: всю войну он проделал в рядах английской армии, остался жив, и принял английское подданство.

Въезд в Танжер, в связи со слишком большим наплывом беженцев, сделался затруднительным. Теперь требовалось от каждого нового иммигранта, кроме известной суммы денег наличными, еще материальные и моральные гарантии двух коренных танжерцев. Переписываясь регулярно с Ольгой Абрамовной, мы узнали, что Рая с мужем сосланы, на юг от Неаполя, в какую-то горную деревушку. Мы очень беспокоились за судьбу Крайниной, и мой отец нашел двух танжерцев, готовых дать за нее требуемые гарантии на предмет ее въезда в Танжер; но она упрямилась и не хотела покидать Италию, говоря, что привыкла к этой стране, и никто ее здесь не беспокоит. Вскоре, однако, власти ей предложили покинуть Геную и поселиться в одной из ближайших деревень, в какой она сама пожелает. Ольга Абрамовна выбрала для своего жительства село, в котором, в мирное время, провела два лета, и где все ее хорошо знали. Мы ей писали, что нам, в Танжере, виднее, и, что, по нашему мнению, ей угрожает опасность; но она не поверила и отказалась следовать нашему совету.

После испанской гражданской войны, в Танжере скрывалось немало республиканских беженцев. Теперь они начали, не без основания, беспокоиться за свою дальнейшую судьбу, и стремились покинуть город. Однажды, четверо агентов Франко, специаль-

но посланных в Танжер, остановили на улице одного из бывших видных республиканских дятелей, и угрожая ему револьверами, силой втолкнули в автомобиль, связали по рукам и ногам, заткнули тряпкой рот, и автомобиль помчался по шоссе, по направлению Испанской зоны. На границе, танжерская международная жандармерия заинтересовалась содержанием автомобиля, и нашла в нем, связанным, бедного пленника. Он был, немедленно, освобожден, а его похитителей арестовали, и под конвоем отправили в Танжер. Не знаю какое их постигло наказание.

Зима и начало весны 1940 года прошли спокойно. На фронте продолжалась "drole de guerre", с ее вылазками и легкой артиллерийской дуэлью; с ее деморализующим бездействием, и немецкой пропагандой, призывающей французов повернуть свое оружие против англичан. Немцы говорили французам, что: "храбрые англичане готовы сражаться до последнего французского солдата", и т. д. Внезапно, 9 апреля, Германия, без предупреждения, вторглась, нарушая их нейтралитет, в два государства: Данию и Норвегию. Обе державы объявили себя в состоянии войны с Германией, но силы были слишком неравны. Дания оказалась оккупированной в несколько дней, но ее король, Христиан Десятый, отказался покинуть свое королевство, и с высоты своего трона организовал пассивное сопротивление завоевателю. Когда оккупационные власти опубликовали декрет, в силу которого все евреи были обязаны носить на рукавах желтые повязки, король, на следующий день, явился перед своим народом с такой же точно желтой повязкой на собственном рукаве. Почти все население последовало примеру Монарха. В Норвегии, при помощи французов и англичан, борьба затянулась несколько дольше; но после нарвикской эпопеи, в начале июня, вся страна была занята немцами. Норвежский король, Гаакон Пятый, бежал, со своей семьей, в Америку. Немцы поставили во главе страны, норвежского изменника, Квислинга.

10 мая немцы вторглись в пределы Бельгии, Голландии и Люксембурга. Бельгия тотчас сдалась, и обойдя линию Мажино, немцы проникли во Францию. В тот же день, т. е. 10 мая, на место Невиля Чемберлена, во главе английского правительства, стал Винстон Черчилль. 14 мая пал Париж. Немецкие полчища двинулись на юг Франции. Дороги переполнились беженцами, а немецкие самолеты, поливали их сверху свинцом из пулеметов,

и бросали в беглецов бомбы. Душераздирающие сцены убиваемых женщин и детей, повторялись на этих дорогах десятки тысяч раз. Немцы, безжалостно и систематически, избивали мирное население. Этот трагический момент истории Франции, был выбран Муссолини для объявления ей войны. 16 июня французское правительство Поля Рейно подало в отставку, и на его месте образовалось правительство маршала Петэна. 17 июня, т. е. на следующий день после прихода его к власти, престарелый маршал попросил у Гитлера мира. Перемирия были подписаны: с Германией 22 июня и с Италией 24 июня. Но уже 18 июня, молодой французский бригадный генерал, Шарль де Голь, послал по радио из Лондона свое знаменитое историческое воззвание, призывая французов, вместе с союзниками, продолжать борьбу: "Франция не проиграла войну, она проиграла только одно сражение". Немцы оккупировали большую часть Франции, а итальянцы заняли Ниццу и Савойю. Правительство маршала Петэна переехало в Виши. Французский военный флот заперся в Тулоне. Настоящая война только начиналась.

ГЛАВА ПЯТАЯ: Воздушный Трафальгар.

Когда погода ясная, из Танжера хорошо виден европейский берег Гибралтарского пролива и начало океанского побережья Испании. В один из таких светлых дней, знакомый танжерец мне указал на самый далекий, еле виднеющийся в морском тумане, мыс, и сказал: "Это Трафальгар".

Наступило жуткое время. Беженцы упали духом. Огромное большинство из них твердило друг другу и повторяло всем, кто только их слушал, что все пропало: Гитлер непобедим. Наш знакомый инженер Брокман серьезно утверждал, что немецкий диктатор вовсе не человек, а дьявол, принявший человеческий образ, или некое воплощение всяких злых сил. Я ему раз сказал: "Господин Брокман, Гитлер человек, а не дьявол, и смертен как и все люди, а кроме того, раньше или позже, но он войдет в прямой конфликт с СССР и США и тогда он сломает себе шею, ибо русско-американский союз действительно непобедим". Брокман мне на это ответил довольно резко: "Надо быть, как вы, еще совсем молодым человеком, или безумцем, чтобы верить в возможность поражения Гитлера".

В самом деле: советское радио продолжало, с явным удовольствием, передавать военные и военно-морские сводки ДНБ, о немецких победах. На душе было тяжело. Я повесил у нас на стене огромную карту мира, утыкав ее разноцветными флажками. В один июльский день пронеслась по городу весть, что на границе Танжерской зоны сконцентрировались большие испанские силы. На следующее утро, войска генерала Франко, в полном порядке, и не встречая никакого сопротивления, вошли в Танжер. Надо отметить, что я даже не мог себе вообразить, чтобы военная оккупация могла пройти столь мирно. Город был переполнен беженцами, но новые власти не проявили по отношению к ним никакой неприязни. Единственными пострадавшими оказались испанские республиканцы, скрывавшиеся в Танжере; они все были арестованы и отправлены в Испанию. В городских кофейнях, как и прежде, часами сидели беженцы-евреи, и на всех языках мира обсуждали военные события, проклиная Гитлера. Сидящие рядом испанские офицеры, не обращали на них никакого внимания. Через несколько дней после своего прихода испанцы устроили в городе грандиозный военный парад. Вообще, у новых властей было много серьезных забот: они прилежно стирали все французские надписи на углах улиц, над дверьми государственных учреждений и общественных уборных. Я был свидетелем когда в здание администрации, торжественно вносили огромный портрет генералисимуса Франко. Через короткий срок были введены для населения продовольственные карточки. Все не испанские служащие администрации были заменены испанскими. Большинство французских чиновников, в их числе и Семенов, уехали в Касабланку. Мендуб тоже покинул Танжер, и Мендубия временно оставалась закрытой; но ненадолго. Вскоре в ней поместилось немецкое генеральное консульство, и на мачте над нею поднялся флаг со свастикой. В честь этого "счастливого" события испанцы устроили на площади перед нею еще один военный парад. Теперь по улицам Танжера разъезжал автомобиль с гитлеровским значком. Местное французское генеральное консульство и генеральный резидент в Рабате, подчинились правительству Виши, и все французские газеты в Марокко, стали, на своих страницах, печатать немецкую пропаганду. Единственным органом союзников оставался английский ежедневник "Танжир Газет", издаваемый, с некоторых пор, на трех языках: английском, французском и испанском. Он был последним источником, из кото-

рого несчастные беженцы черпали немного бодрости и надежды.

Из Италии больше не приходило никаких вестей, и мы ничего не знали о судьбе Ольги Абрамовны и Раи с ее мужем. Для нас всех Танжер превратился в род очень большого, и относительно комфортабельного, концентрационного лагеря, из которого выезд был почти невозможен.

Несколько слов о настоящем концентрационном лагере в Марокко. Когда мы ехали в Танжер, вместе с нами, на борту "Город Флоренция", среди других польских евреев-беженцев, находилась семья Фридман: отец и сын. Они были очень бедны, и поселились в еврейском общежитии. Весною 1940 года отец тяжело заболел: врачи установили у него рак горла. В то время, в Танжере, не было возможности лечить эту ужасную болезнь, и сыну посоветовали везти отца в Касабланку. Ему удалось выхлопотать, для отца и себя, визу во Французскую зону, и они приехали туда за неделю до прихода к власти маршала Петена. Несмотря на хирургическое вмешательство, месяца через два, больной умер. Похоронив отца, сын хотел вернуться в Танжер, но это, без испанской транзитной визы, оказалось невозможным. Он стал о ней хлопотать, но французские власти, не дожидаясь результата этих хлопот, арестовали молодого человека, и посадили его в специальный концентрационный лагерь для евреев, находившийся в степи, между Касабланкой и Маракешем. Он нам потом рассказывал, что этот лагерь состоял из бараков, огороженных колючей проволокой. В каждом таком бараке жили несколько десятков мужчин, женщин и детей, в условиях близких к жизни домашнего скота. Правда, что их там не били и не мучили, над ними не издевались, и если их положение не было столь бесчеловечным, каким оно было в немецких концентрационных лагерях, то и вполне человечным оно считаться не могло. В бараках была невыносимая вонь и грязь, да и кормили заключенных весьма неважно. Начальник лагеря говорил заключенным: "Если кому из вас удастся выхлопотать себе визу в другую страну, я такого, с радостью, отпущу".

Фридман продолжал переписываться из лагеря с испанским консулом в Касабланке; наконец, ему оттуда ответили, что виза, на его имя, получена, и он может приехать за ней. Начальник лагеря дал ему двадцатичасовой отпуск, и когда Фридман вернулся с визой, тот ему сказал: "Завтра вы сможете покинуть лагерь.

Неправда ли, что я к вам хорошо относился, и вы себя здесь прекрасно чувствовали? Расскажите про это всем". Фридман поспешил обещать ему рассказать всю правду, что он и сделал. Нет, конечно, этот лагерь, в марокканской степи, не был ни Аушвицем, ни Треблинкой; но и хвалиться было, все ж таки, нечем.

Август 1940 года. Сотни немецких самолетов, денно и нощно, бомбили Англию. Одновременно военный немецкий флот, сконцентрированный в северо-европейских портах, ждал когда дрогнет воздушная мощь Великобритании, одинокой защитницы свободного мира, дабы поплыть к ее берегам, и высадив на них десант, разыграть последний акт кровавой драмы, называемой: "Молниеносной войной".

Все еврейские беженцы, спасавшиеся в Танжере, отлично сознавали, что их собственная судьба висит на волоске, и падение Англии будет обозначать, для них всех, гибель в немецких газовых камерах.

Черчилль произнес, по радио, речь: "Если враг высадится на нашу землю, то мы будем с ним биться: перед Лондоном, в самом Лондоне, после Лондона!" Говорят, что он тут же тихо прибавил окружавшим его: "Только чем это мы будем биться? разве, что пустыми пивными бутылками".

Каждое утро мы, со страхом, разворачивали газету, боясь прочесть в ней роковые слова: "Немцы высадились в Англии"; и каждый вечер, ложась спать, мы благодарили Бога, что этого еще не произошло.

Но дни шли за днями. В английском небе разыгрывался воздушный "Трафальгар", но мы об этом знать еще не могли. Сентябрь сменил август; осень сменила лето, а то, что, впоследствии, было названо Английской битвой, все продолжалось. Горели города, рушились стены домов, гибли женщины и дети, но старая Англия, сжав зубы, с холодной яростью, продолжала сопротивляться, нанося воздушным силам немцев все более и более страшные потери. Осень сменилась зимою... и немецкие налеты прекратились. Только тогда всем стало ясно, что "Воздушный Трафальгар", как некогда морской, был выигран Англией.

Все же еще ожидали и опасались попытки Гитлера высадить десант на меловые утесы Великобритании. Однако немецкий диктатор, видя разгром своих воздушных сил, на это не решил-

ся, боясь, что его морской флот, без поддержки воздушного, будет потоплен.

Рассказывали анекдот: "В марте 1941 года, в Голландии шли проливные дожди. В один из таких дождливых дней, в Амстердаме, в трамвайный вагон, вошел офицер оккупационных немецких войск. Он был весь мокрый, и вода с него лилась, буквально, ручьями. Кондуктор увидав его, обратился к нему с вопросом: "Господин офицер, вы уже вернулись?"

ГЛАВА ШЕСТАЯ: По стопам Наполеона.

В 1941 году, все беженцы, имевшие на это возможность, уезжали из Танжера в Канаду или в Соединенные Штаты. К сожалению, мы этого сделать не могли, так как у нас не было ни денег, ни человека, желающего дать за нас нужную материальную гарантию. Мы поневоле оставались жить в Танжере. Среди уезжающих в Соединенные Штаты, был и инженер Брокман, у которого в Нью-Йорке жил сын. Отправляясь туда, он выхлопотал для моего отца пост представителя, в северном Марокко, Мирового Еврейского Конгресса. Конгресс стал платить отцу небольшое жалованье. Почти всю его с ним переписку, ведущуюся на двух языках: французском и английском, я сохранил до сих пор, и свято ее берегу, как память об отце. Ему, ежемесячно, стали пересылать известную сумму денег, в долларах, для раздачи их, под расписки, всем нуждающимся беженцам.

Между тем наш пансион продолжал хорошо идти, и вскоре принял характер небольшого домашнего ресторана. Бывали дни, когда у нас, считая обед и ужин, столовалось до ста человек. Мама, с помощью молодого арабского парня, Магомета, ежедневно ходила на рынок, и возвращалась оттуда нагруженная покупками.

Папа вел дело, беседовал, на разных языках, с клиентами, и, увы, был принужден помогать молодой испанской девице, Марии, служившей у нас, подавать к столу. Мне он категорически запретил обслуживать наших пансионеров, сказав: "Достаточно того, что я себя унижаю подобной деятельностью; тебе этим заниматься нечего". Все-таки, не желая сидеть сложа руки, я взял на себя ведение приходно-расходной книги, и кассы. Между тем моя личная жизнь свелась к нулю: в мои тридцать лет я ни гроша не зарабатывал; а в "любовном" отношении, кроме, всегда немного

рискованных, мимолетных встреч с уличными девушками, которые, если бы мой отец о них знал, то наверное не одобрил бы, ничего не имелось.

Несколько тысяч беженцев, в начале войны, приехало в Танжер; но среди них, как это ни странно, были всего две девицы, приблизительно, моего возраста. Они искали себе временных, или постоянных, богатых покровителей, и мною совершенно не интересовались. Все остальные представительницы женского пола были или замужние дамы, часто весьма пожилые, или девочки в возрасте от трех до двенадцати лет. Пришлось ограничиться танжерскими недорогими гетерами.

22 июня 1941 года, на всех языках земного шара, радио и газеты сообщили о том, что немцы, в первые часы утра, не объявляя войны, вторглись в пределы СССР. Граница, протянувшаяся на 1500 километров, от Балтийского моря до Черного, была перейдена двенадцатью немецкими армиями, и одной итальянской. В бой были брошены Гитлером 3000 танков и такое же количество самолетов.

Немецкое верховное командование рассчитывало молниеносной войной, еще до начала зимы, разбить и поставить на колени Советский Союз. Потерпев неудачу в своей попытке прямой атакой победить Англию, Гитлер совершил роковую ошибку Наполеона, полагая найти Великобританию, где-то по ту сторону России. План был прост, как само безумие: разбив в три месяца СССР, проникнуть через Центральную Азию в Индию, и там, соединившись с Японией, уничтожить Британскую Империю. После чего Англия должна будет упасть ему в руки как спелый плод. Говорят, что Сталин, до последнего дня, не верил в вероломство немецкого диктатора; не верил даже тогда, когда ему сообщали о более чем подозрительной концентрации войск вдоль советской границы. Убедившись наконец в измене своего берхтесгаденского приятеля, он пришел в ярость.

Так или иначе, но с 22 июня 1941 года, реализовалось одно из двух условий непременного поражения Гитлера: Россия вошла в войну с Германией. Вторым и последним условием этого поражения являлся союз с Америкой; но, в этот июньский день, оно еще не было осуществлено. Участие СССР в войне, на стороне свободного мира, сразу пробудило надежды в сердцах несчастных беженцев. Все осознавали значение происшедшего; однако

многие продолжали утверждать, что немцы, в несколько недель, разобьют Красную армию, и радоваться еще рано.

Брест-литовская крепость сопротивлялась долго, еще дольше сопротивлялся Смоленск. Оставив его, русские зажгли город. Заняв, без большого труда, все прибалтийские страны, немцы подошли к Ленинграду, и обойдя, окружили его со всех сторон. Вскоре, в осажденном городе, начался страшный голод. Несмотря на осаду и беспрерывную бомбежку, Ленинград продолжал сопротивляться. Советский балтийский флот бил с моря по наступающим немцам. 19 сентября немцы находились в ста километрах от Москвы. В тот же день, на южном фронте, пал Киев. Еще южнее, после упорного сопротивления, пала Одесса. Падение Киева сопровождалось рядом мощных взрывов в самом городе: русские, отступая, жгли и взрывали все позади себя.

Рассвирепевшие немцы согнали многочисленное еврейское население Киева за город, в так называемый Бабий Яр, и там их всех: мужчин, женщин, детей, стариков и старух, расстреляли.

Над Бабьим Яром шелест диких трав;
Деревья смотрят грозно, по-судейски.
Все молча здесь кричит, и, шапку сняв,
Я чувствую, как медленно седею.

И сам я, как сплошной беззвучный крик,
Над тысячами тысяч погребенных.
Я — каждый здесь расстрелянный старик.
Я — каждый здесь расстрелянный ребенок.

Евгений Евтушенко (Бабий Яр).

Немцы начали наступление на Москву. Почти все государственные учреждения переехали далеко на восток. Было увезено и тело Ленина. Беспрерывные атаки продолжались до самого декабря. Гитлер заявил, что Красная армия уже уничтожена, и взятие Москвы — вопрос дней. Но дни шли, и к середине декабря наступила жестокая зима. Немецкая армия не была к ней подготовлена; командование рассчитывало на скорое окончание войны. Ударили сорокаградусные морозы. Недостаточно тепло одетые, и непривычные к подобному климату, немцы умирали от холода на тех самых полях, на которых, некогда, замерзала великая

армия Наполеона. Русское командование спешно перебросило на московский фронт сибирские части.

Прекрасно экипированные молодые люди, выросшие в стране шестидесятиградусных морозов, смеялись над московскими холодами. Но не до смеху было немцам,... и они начали отступать. 19 декабря Гитлер сам взял на себя верховное командование; но уже стало ясно, что, на сей раз, молниеносная война не удалась.

7 декабря, японская авиация, без предупреждения, бомбардировала и потопила почти весь американский тихоокеанский флот, стоявший в Пирл Харбор. Америка объявила войну Японии.

11 декабря 1941 года, Германия и Италия объявили войну Соединенным Штатам. С этого дня, необходимое и достаточное условие победы над гитлеровской Германией: американо-русский военный союз; было осуществленно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Юмор трагических лет.

Во время общего отчаяния, когда казалось, что все пропало, и силы зла торжествуют, тонкий и едкий английский юмор вызывал, если не смех, то хоть улыбку, и бодрил людей, упавших духом. Слезы никогда и ничему не помогают, а смех бывает полезен. Великое дело — удачная шутка, и потому я приношу искреннюю благодарность английскому телеграфному агентству Би-Би-Си, за его передачу по радио маленьких анекдотов.

Берлин 1933 года. Учебный год только что окончился. В январе Адольф Гитлер был назначен, престарелым Маршалом-Президентом, на пост германского канцлера. Новый канцлер, бывший маляр, решил показать себя покровителем наук. С этой похвальной целью, окруженный своею свитой, он явился в одну из самых крупных гимназий немецкой столицы. У почтительно встречавшего его директора этого учебного заведения, "фюрер" потребовал представить ему трех самых лучших учеников, получивших в этом году аттестат зрелости. Директор покорно вызвал первого из них. Перед Гитлером предстал высокий, стройный блондин, с правильными чертами лица.

— Как твое имя? — пролаял Гитлер.

— Вильгельм фон Марьенбург, господин Райхсканцлер, — по-военному, бойко и отчетливо, отрапортовал первый ученик.

Гитлер с удовольствием посмотрел на молодого человека.

— Молодец! Кем бы ты, Вильгельм, хотел стать, если бы ты был моим сыном?

— Офицером, господин Райхсканцлер. Все мои предки были военными, и первый в моем роду был тевтонским рыцарем.

— Прекрасно! Ты будешь, в этом году, зачислен в военную академию, и я сам буду следить за твоей карьерой. Я уверен, что ты сделаешь честь твоим славным предкам.

Первый ученик отошел в сторону, щелкнув, по военному, каблуками; на его место стал второй: коренастый, рыжеватый парень, чисто "бюргерского" типа.

— Как тебя зовут?

— Ганц Мюллер, господин Райхсканцлер.

— Кем бы ты хотел стать, Мюллер, если бы был моим сыном?

— О! Господин Райхсканцлер, я очень бы желал стать врачом. Мой отец и мой старший брат, оба фармацевты, и имеют большую аптеку. Это было бы очень кстати, если бы я стал медиком.

— Очень хорошо, — одобрил Гитлер, — ты поступишь, на казенный счет, в берлинский университет, на медицинский факультет. Германии нужны врачи; но, только, смотри мне: учись прилежно.

Третьим учеником оказался худощавый юноша, с умными глазами, с черными, слегка вьющимися, волосами и с носом с горбинкой. Гитлер метнул на него удивленный взгляд, и гневно уставился на директора гимназии. Однако, превозмогая свое негодование, бывший маляр решил разыграть комедию до конца.

— Как тебя зовут?

— Самуил Леви, господин Райхсканцлер, — спокойно ответил ученик.

Гитлер еще раз гневно взглянул на бледного, дрожащего директора; но продолжал:

— Кем бы ты хотел стать, Леви, если бы был моим сыном?

— Сиротою, господин Райхсканцлер, — последовал хладнокровный ответ.

В 1939 году немцы заняли Варшаву и большую часть Польши, но евреи еще не были загнаны в их ужасные гетто. Немецкая пропаганда старалась всеми силами доказать, что евреи, эти "полу-

люди", принадлежат к самой зловредной расе, и должны быть, раньше или позже, изолированы и уничтожены. С этой целью, немецкое телеграфное агентство, ДНБ, сообщило: "Прошлой ночью варшавскими евреями было совершено еще неслыханное доселе преступление: ровно в полночь десяток этих полулюдей напали на одного немецкого часового, повалили его на землю, раскроили камнем ему череп, и съели его мозги. Смерть всем евреям!"

По этому поводу Би-Би-Си заявляет во всеуслышание: "В сообщении ДНБ кроется тройная ложь: во-первых, евреи не едят свинины; во-вторых, немецкие солдаты мозгов не имеют; в-третьих, все евреи Варшавы, и других городов Польши, в полночь сидят у себя дома, и прячась от оккупантов, слушают передачу Би-Би-Си".

В 1942 году, венгерские власти решили доказать миру превосходство немецко-венгерской техники, в области военной авиации, а также отвагу венгерских летчиков.

Один испытанный военный пилот, должен был сам, без помощников, совершить, на недавно изобретенном, усовершенствованном, самолете, полет из Венгрии в союзную ей Японию. Запасся бензином и всем необходимым продовольствием, он вылетел из Будапешта. Час спустя началась сильная буря с грозою. Храбрый пилот поднялся над тучами, но сбился с пути, потерял всякую ориентацию, и после тридцатичасового беспрерывного полета, истощив весь запас горючего и заметив аэродром вблизи небольшого города, спустился на него. Выйдя из самолета, он был сразу окружен какими-то людьми, одетыми в незнакомую ему военную форму, и разговаривающими между собой по-испански. Венгерский летчик владел немного английским языком, и обратился к ним на нем. Один из военных ответил ему, и они разговорились. Оказалось, что он спустился на аэродром столицы, крохотной, заброшенной в горах, южно-американской республики. Менее чем через час пришли сказать, что сам президент, узнав о случившемся, желает побеседовать с пилотом далекой страны. За ним прислали допотопный автомобиль, и он был, с большим почетом, отвезен во дворец главы этого маленького государства. Президент принял его в своем деловом кабинете. Между ними произошел, на скверном английском языке, следующий диалог:

Президент: "Садитесь, пожалуйста. Вот гаванские сигары, рекомендую их вам — первый сорт".

Летчик (садясь в удобное кресло и закуривая великолепную сигару) : "Спасибо, Ваше Превосходительство, вы очень любезны".

Президент: "Я рад, что вы спустились в пределах нашей Республики. Мы, здесь, совершенно отрезаны от остального мира, и ничего толком не знаем. Правда ли, что там, за нашими горами, разыгралась Вторая мировая война?"

Летчик: "Да, Ваше Превосходительство".

Президент: "И Венгрия участвует в ней?"

Летчик: "Да, Ваше Превосходительство".

Президент: "Венгрия — королевство или республика?"

Летчик: "Королевство".

Президент: "Кто ваш король?"

Летчик: "У нас нет короля. У нас — регент".

Президент: "А, понимаю. Вы хотите сказать, что ваш король еще малолетен, и его, до совершеннолетия, замещает регент".

Летчик: "Нет, Ваше Превосходительство, у нас совсем нет короля; страною управляет Его Светлейшее Высочество, регент, адмирал Хорти".

Президент: "Регентство без короля! Как странно! Венгрия, вероятно, большая морская держава, с мощным военным флотом?"

Летчик: "Нет, Ваше Превосходительство, Венгрия — держава континентальная; у нее нет ни одного морского порта, и она не имеет военного флота".

Президент (с беспокойством уставился на своего собеседника, однако продолжал задавать ему вопросы) : "Из-за чего, собственно, вы воюете?"

Летчик: "В прошедшую войну, соседнее нам государство, Румыния, отняла у нас Трансильванию, землю, которую мы считаем нашей, и желаем ее себе вернуть".

Президент: "Понимаю. Следовательно: вы воюете с Румынией".

Летчик: "Нет, Ваше Превосходительство, мы воюем с Россией, а Румыния — наш союзник".

Услыхав последние слова венгерского летчика, президент сильно побледнел, и дрожащей рукой, нажал кнопку звонка. В кабинет, быстрыми шагами, вошел его адъютант.

Президент: "Ради Бога! вызовите "скорую помощь", у меня сидит опасный сумасшедший".

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Болезнь отца.

В один весенний вечер 1942 года, у моего отца, внезапно, поднялась температура. Несмотря на уже поздний час, я позвал врача. Врач — венгерский еврей, живший в доме напротив, тотчас пришел. Он нашел у больного острое инфекционное заболевание кишечника, приписал какое-то лекарство, но уходя, уже у дверей нашей квартиры, остановил меня и сказал: "Настоящее заболевание совершенно не опасно, и пройдет через пару дней, но я прощупал у вашего отца небольшую опухоль в области мочевого пузыря. Теперь я не могу вам сказать, что это за опухоль, но когда ваш батюшка выздоровеет от теперешней болезни, нужно будет заняться ее изучением". Я передал матери слова врача; в ту ночь мы плохо спали. Дня через два, как сказал нам врач, отец встал с постели, и был внешне здоров, как и прежде; но для меня и мамы жизнь уже изменилась, и как бы померкла. Мы растерялись, совершенно не зная, что предпринять, а рассказать все отцу — не решались. До сих пор, между нами тремя не существовало никаких секретов, и было ново и грустно скрывать от отца его собственное положение. Шла война, мы были замкнуты в Танжере, а в этом городе, не имелось ни одного приличного рентгеновского кабинета. Каждый раз, когда врач осматривал моего отца, он нащупывал эту опухоль, которая продолжала расти. Наконец он сам стал замечать, что с ним творится что-то неладное, но не хотел придавать этому значения. Прошло около года, и мы, хотя и не без труда, уговорили его пойти к самому лучшему в городе хирургу, итальянскому еврею, профессору Бедарида. После очень внимательного осмотра больного, Бедарида мне сказал:

"К сожалению, в Танжере, нет никакой возможности сделать приличную радиографию, но я уверен, что у вашего родителя наружная опухоль на мочевом пузыре. По-моему, она, пока, доброкачественная, но может, со временем, превратиться в рак. Если вы желаете — я возьмусь его оперировать, но предупреждаю: за исход не ручаюсь. Во всяком случае ему следует лечь ко мне в клинику. Нужно будет, до операции, попытаться укрепить сердце, которое у него сильно ослабело".

После этого диагноза, посоветовавшись предварительно с матерью, я решил все открыть отцу, и объяснить ему его положение. Помню: папа сидел на балконе, и грустно смотрел с него на немногочисленных прохожих, когда я, несмело, подошел к нему и, слегка заикаясь, изложил ему суть дела. Он очень рассердился: "Никакой операции я не хочу. Буду жить столько сколько мне Бог даст еще жизни; а тебе запрещаю, раз и навсегда, напоминать мне о моей болезни". Я замолчал, и исполнил, до самого конца, его приказ. Болей у отца не было, но опухоль быстро росла, а сам он стал сильно худеть. Несмотря на это, отец, как и прежде, продолжал участвовать в жизни нашего домашнего пансиона, раздавал бедным деньги, получаемые им от Еврейского Мирового Конгресса, и вел, с этим последним, аккуратную переписку. Кроме того он, как и мы все, с прежним живым интересом, следил за мировыми событиями.

С некоторых пор у нас начал столоваться бывший итальянский полковник, еврей, вынужденный, в силу антиеврейских законов, уйти в отставку. Полковник Витали, вскоре сделался нашим другом, и всячески старался нас морально поддержать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: 1942-ой год.

Весною, как только на русском фронте оттепель сменила морозы, немцы, вновь, попытались перейти в наступление. Однако, на севере, под Ленинградом, осада стала слабеть, и кольцо, душившее столицу Петра, начало медленно разжиматься. Под Москвой немцы, слегка отступившие во время зимы, остались на своих позициях, но не возобновляли более попыток взять приступом Белокаменную. Но на южном фронте дело обстояло иначе: с начала весны немцы, неудержимой волной, двинулись на восток. В мае месяце пал Крым. В июне враг занял Донецкий Бассейн, и подошел к Дону. 17 июня гитлеровцы достигли Волги под Сталинградом. Их план был: отрезав весь юг европейской России от севера, и заняв Кавказ, проникнуть в Закавказье, и прибрать к своим рукам советскую нефть. Оттуда двинуться дальше на юг, войти в дружественную им Персию, и через нее достигнуть Индии. С другой стороны, наступая на север, идя по правому берегу Волги, обойти с востока Москву, и окружив ее, взять. Тогда вся европейская Россия будет в их власти. Немцам удалось

достигнуть Кавказа, и они водрузили свое знамя на вершине Эльбруса. На Волге началась эпическая битва за Сталинград (Царицын). В сентябре, несмотря на упорное и героическое сопротивление русских, немцы проникли в город. Теперь дрались на улицах Сталинграда, в его домах; бились за каждый этаж, за каждую комнату каждого дома. Настал ноябрь, а сталинградское сражение все продолжалось. 19 ноября, на запад от Сталинграда, с севера и с юга, Красная армия перешла в наступление, и 23 ноября, взяв город Калач, окружила, дравшуюся в Сталинграде, шестую немецкую армию, которой командовал фельдмаршал фон Паулюс.

Пересекая весь северный Атлантический океан, огибая Кап Норд, через Арктику и Белое море, начали прибывать в Архангельск первые американские транспортные суда, везшие военную помощь России.

На крайнем юге немцы были остановлены за несколько километров от грозненских нефтяных приисков, и, еще южнее, им не удалось проникнуть в Закавказье.

В конце октября немцы заметили, что в Атлантическом океане, в районе Зеленого Мыса, происходили подозрительные маневры американского флота. Опасаясь высадки союзников в Дакаре, они оттянули к нему большое количество своих военных судов. Одновременно Гитлер повел переговоры с Франко, о пропуске немецких войск, через Испанию и Танжер, в северную Африку, так как знаменитый Африканский корпус фельдмаршала фон Роммеля, сражавшийся в Ливии против англичан, начал терпеть серьезные затруднения. В Танжере, к счастью для нашего спокойствия, мы ничего об этом не знали, ибо, находясь в этом городе, как в мышеловке, мы были бессильны, что-либо предпринять. Если бы немцам удалось провести в жизнь их план, кроме газовых камер и крематориев, нам ждать было нечего. Англичане, проживающие в Танжере, со слов их консула, знали о нависшей опасности, но молчали, чтобы не вызывать бесполезной паники.

Утром, 8 ноября 1942 года, вышел экстренный выпуск "Танжир Газет", напечатанный красными и синими чернилами, сообщавший, что американцы, обманув немцев, высадились в Касабланке, Оране и Алжире. В то время в Алжире находился, с недавних пор, адмирал Дарлан. Он был там чем-то вроде вице-короля мар-

шала Петэна, и правил оттуда всей французской северной Африкой. 10 ноября Дарлан, разорвав перемирие с немцами, перешел на сторону союзников. 11 ноября, французский генеральный резидент в Рабате, последовал его примеру. Немцы ответили на это оккупацией всей "свободной зоны" во Франции и высадкой в Тунисе. Франко отказал Гитлеру в пропуске его войск через Испанию.

24 ноября, молодым террористом, был убит в Алжире адмирал Дарлан.

27 ноября, чтобы не попасть в руки врага, весь военный французский флот, находившийся в Тулоне, французы потопили.

Почти с самого начала войны, все еврейское население Варшавы, насчитывавшее свыше полумиллиона человек, было согнано и заключено, в специально с этой целью, приготовленное немцами гетто.

С июля 1942 года гитлеровцы стали перевозить оттуда, в лагерь Треблинки, по сто тысяч человек в месяц, якобы для принудительных работ, но, в действительности, для их истребления посредством газовых камер и крематориев. В день Йом-Кипур, в гетто оставалось всего 60.000 человек. Когда немцы пришли за ними, эти последние оказали гитлеровцам вооруженное сопротивление. Началось знаменитое восстание варшавского гетто, длившееся до мая 1943 года. Только 16 мая генерал Струп донес Гитлеру, что варшавского гетто больше не существует. Он сообщил, что в плен были захвачены, и немедленно умерщвлены, 56.065 человек. Все остальные евреи, там находившиеся, пали во время сражения или сгорели живьем во время пожаров. Этот палач не знал, что около ста человек спаслось, убежав от немцев, через подземные галереи, служившие для канализации, чтобы потом рассказать всему миру о героизме еврейского народа. Не только в Варшаве, но и в других городах, евреи подняли ряд восстаний. В Белостоке гетто сопротивлялось до последнего еврея. В Двинске, евреи зажгли гетто и сожгли себя в нем. Некоторые евреи спаслись и скрылись в белорусских лесах. Там они или присоединились к, существовавшим уже, отрядам партизан, или организовали собственные. К концу войны, в этих лесах, образовался настоящий еврейский город. Крестьяне той области прозвали его "Иерусалимом". Несмотря на все усилия немцев, этот город продержался до прихода Красной армии.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: V как Victory; V как Verderb.

В январе 1943 года, в Касабланке состоялась конференция трех союзных держав: Америки, Англии и Франции. На ней присутствовали: Рузвельт, Черчилль, генерал Жиро и генерал де Голь. Было вынесено постановление: "Вести войну до полного поражения врага, и до его сдачи на милость победителя".

На этой конференции, впервые, Черчилль поднял правую руку, с раздвинутыми указательным и средним пальцами, образующими латинскую букву V.

V, как Victory, V, как Verderb (по-английски — победа; по-немецки — гибель). В феврале, генерал Жиро, официально, занял пост убитого адмирала Дарлана, и сделался верховным главнокомандующим и генеральным губернатором всей французской северной Африки, кроме Туниса занятого немцами.

Рузвельт просил Жиро, немедля, освободить всех евреев, еще заключенных в концентрационных лагерях, и восстановить их в прежних правах; но Жиро ответил, что он знает дух арабов, и, что такое мероприятие может их раздражить. Кроме того алжирские евреи, до этой войны, находились, в силу закона Кремье, на привилегированном положении, по отношению к этим самым арабам, что, по его мнению, было несправедливо. Де Голь тогда ему заметил: "Если уж уравнивать в правах все колониальное население, то вверх, а не вниз".

Несколько десятков молодых евреев в Танжере, решили поступить добровольцами в армию союзников, и с этой целью отправились во французское консульство просить визу в Касабланку. В то время, во французском консульстве, среди его чиновников, было еще немало сторонников правительства Виши. Один из них донес на молодых евреев испанским местным властям. Все они были арестованы и отправлены, под конвоем, в Тетуан. На улицах разыгрались душераздирающие сцены: матери арестованных, как безумные, бегали по городу, рвали на себе волосы, плакали и причитали. Я наблюдал эти сцены с балкона нашего дома; рядом стоял полковник Витали. Я выразил ему, по поводу происходящего, мое чувство ужаса и негодования, а также сострадание к бедным матерям. Полковник улыбнулся: "Вы еще плохо знаете колониальное население. Все эти внешние проявления горя и отчаяния — сильно преувеличены; да и молодым людям ничего не

грозит". Он был прав. Через день после их ареста и отправки в Тетуан, американское военное командование, очень вежливо пояснило испанским властям, что оно готово послать за молодыми людьми пару американских батальонов. Все арестованные молодые евреи были, в тот же день освобождены, и вернулись в Танжер. Испанцы им только, с весьма похвальной гигиенической целью, побрили головы.

Уже многие годы в Танжере проживал итальянский адвокат, Нерлини. Он был женат на польке. Убежденный антифашист, Нерлини, как мог, боролся с режимом Муссолини. После высадки в Марокко американцев, он сделался их тайным агентом. Итальянское консульство раскрыло его деятельность, и обратилось к испанским оккупационным властям с просьбой об его аресте и выдаче Италии. Нерлини был арестован, и посажен в центральный полицейский комиссариат, на улице Гойя, до перевода его в тюрьму, находившуюся в Казба. Оттуда его должны были отправить в Тетуан, на предмет выдачи Италии, где он был бы, вне всякого сомнения, расстрелян. Полковник Витали его посетил в комиссариате. Что было там сказано, с кем и о чем еще говорил полковник, осталось неизвестным. Этой самой ночью Нерлини вели пешком из комиссариата в тюрьму. Дорога их шла мимо американского генерального консульства. Он не был прикован к ведшим его полицейским. Неожиданно, адвокат бросился бежать. Конвоировавшие его, погнались за ним, но не очень быстро,... и не догнали. Нерлини, благополучно, добежал до дверей американского консульства, которые, несмотря на поздний час, как по волшебству, открылись перед ним, и закрылись за его спиной. Через несколько дней пришли от него, из Касабланки, два письма: одно — жене, а другое — полковнику Витали. В этом письме Нерлини его горячо благодарил. Было за что!

С весны 1943 года, события в северной Африке пошли быстро. Африканский корпус фельдмаршала фон Роммеля, отступил из Триполи в Тунис. Теперь ему угрожали союзные силы с трех сторон: с запада наступала американская армия, под командованием генерала Эйзенхауэра, и при ней французские части генерала Жиро; с востока его теснила английская армия, которой командовал маршал Монтгомери; а с юга, через пустыню, от озера Чад, быстро шла на Тунис, под знаком лотарингского крес-

та, французско-голистская дивизия генерала Леклерка. 12 мая 1943 года, немецкий африканский корпус был сброшен с мыса Бон в Средиземное море. Североафриканская авантюра Гитлера закончилась на этом мысе.

30 мая, де Голь прибыл в Алжир.

3 июня, в Алжире образовался правительствующий "Французский Комитет Национального Освобождения": C. F. L. N. (Сэ. Эф. Эл. Эн.). Во главе его стал генерал Жиро. В июле союзники высадились в Сицилии.

9 сентября, Корсика была освобождена французскими войсками.

8 ноября, де Голь в Алжире взял власть в свои руки, и сделался единственным председателем Сэ. Эф. Эл. Эн. С этого момента все евреи были, не только освобождены, на территории северной Африки, из неволи концентрационных лагерей, но и восстановлены во всех их прежних правах. Вся французская Африка стала под знак Лотарингского Креста.

В Италии уже давно зрело недовольство. Высадка союзников в Сицилии ускорила события. В стране образовались два параллельных заговора. Первый из них созрел в лоне самой фашистской партии. Большинство членов Великого Фашистского Совета: Де Боно, Де Векки и другие, под председательством графа Чиано, мужа Эдды, старшей дочери Муссолини, решили свергнуть "Дуче", и поставить во главе партии кого-нибудь другого.

Второй заговор образовался в Квиринале (королевском дворце). Во главе его стоял сам король, Виктор Эммануил Третий. С помощью маршала Бадольо, он решил ликвидировать фашизм. В ночь с 24 на 25 июля был созван Великий Фашистский Совет. На нем Муссолини оказался в меньшинстве, и ему предложили подать в отставку. Из Совета, Муссолини пошел прямо к королю, надеясь на его поддержку. Из здания Квиринала он вышел между двумя карабинерами. Фашистский диктатор был арестован, и на его место, главою правительства, был назначен королем маршал Бадольо.

25 июля, фашизм в Италии был официально ликвидирован, и последовал ряд арестов. Фашистская милиция пыталась оказать слабое сопротивление, но была, без труда, усмирена, верными Бадольо войсками, и распущена.

В первых числах сентября, после занятия всей Сицилии, союз-

ники высадились в Калабрии. По приходу к власти, Бадольо пытался войти в сношение с американцами. Первая такая попытка была им произведена в Танжере, где, в то время, посланником Италии, был его собственный сын. Однако эта попытка не удалась. Вторая была сделана в Лиссабоне, и эта последняя увенчалась успехом. 8 сентября Италия сдалась, и Бадольо подписал перемирие с союзниками. Немцы хлынули в Италию, и королевская столица была поспешно перенесена из Рима в Бари. Бадольо объявил войну Германии.

12 сентября, Муссолини был освобожден немецкими парашютистами, и увезен на север Италии. Там, в Сало, маленьком городке на берегу озера Гардо, он провозгласил "Итальянскую Социальную Республику". Все участники исторического Великого Фашистского Совета, и голосовавшие против него, были судимы специальным трибуналом, приговорены к смерти и расстреляны. В их числе находился муж его дочери, граф Чиано.

В ноябре, союзники взяли Неаполь, но немцы укрепились на линии "Густава", между Римом и Неаполем, и засели в древнем, знаменитом, бенедиктинском монастыре, Кассино.

Между тем, что делалось на моей далекой Родине? 2 февраля 1943 года, после нескольких неудачных попыток прорвать замкнувшееся вокруг нее кольцо, 6-ая немецкая армия, в 330.000 человек, вместе с командовавшим ею фельдмаршалом фон Паулюсом, сдалась. Сталинградская битва окончилась блестящей победой Красной армии. На всем восточном фронте немцы начали быстро отступать. Вскоре был освобожден Ростов на Дону, и с ним весь Северный Кавказ. 5 июля, немцы попытались, в последний раз, взять Москву, атаковав ее с юга, со стороны Орла. Им, как, некогда, белым, не удалось взять Тулы, и их попытка окончилась новым сильным поражением. 5 августа были освобождены Орел и Белгород. 23 августа, Красная армия вошла в Харьков. Там, в числе пленников, им попались несколько главарей Эс. Эс., и один русский изменник. Все они организовывали, в этом городе, зверства против мирного населения, и систематическое истребление евреев. Их судил военный суд, и они были приговорены к повешению, на одной из главных площадей города. Приговор был приведен в исполнение.

На запад от Москвы немцы начали свое отступление, которому было суждено закончиться, только на берегу Эльбы. В сентябре был освобожден Смоленск. В ноябре немцы эвакуировали Киев,

и попытались укрепиться на западном берегу Днепра; но это им не удалось и Днепр был перейден Красной армией. Все же немцы, под Кривым Рогом, временно остановили наступление русских. Так окончился 1943 год.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: Я восстановлен в итальянском гражданстве.

Полковник Витали, несмотря на еврейское происхождение, и благодаря своему чину и орденам, еще при фашизме, имел доступ в итальянское консульство в Танжере, и там с ним считались. Зимой 1943 года, ему удалось достать для меня пару частных уроков математики, которые положили начало моей будущей педагогической деятельности. Вскоре число этих уроков увеличилось, а с 1944 года я сделался репетитором, в закрытом женском учебном заведении, существовавшем при итальянском государственном лицее, в Танжере. Утром, 25 июля 1944 года, полковник Витали пришел к нам с новостью: фашизм пал. С того дня он сделался в консульстве видной персоной, и начал открыто бороться с остатками фашизма в итальянской танжерской колонии. У него, в Турине, проживала восьмидесятилетняя мать и пожилая сестра. После образования на севере Италии "Итальянской Социальной Республики", по доносу из Танжера, немцы арестовали и расстреляли его мать и сестру. Очень скоро Витали узнал об этом. Полковник был вдов, но от своей жены-католички имел сына, который, в силу итальянских расистских законов о детях от смешанного брака, считался арийцем. Будучи, как и его отец, офицером действительной службы, он продолжал свою военную карьеру. После падения фашизма, в течение нескольких месяцев, от сына не было никаких вестей, и полковник очень волновался. Однажды он мне сказал: "Если мой сын сражается в рядах армии фашистской республики, я желаю ему быть убитым". Наконец Витали получил от сына письмо; оно было из Бари. У бедного полковника отлегло от сердца.

Одним из первых мероприятий правительства маршала Бадольо, было полное уничтожение всех расистских законов. Они объявлялись аннулированными, и никогда не существовавшими. Полковник Витали посоветовал мне подать в итальянское консульство просьбу, на имя министра внутренних дел, о восстановлении меня

в гражданстве. 9 февраля 1944 года, предварительно переговорив с посланником в Танжере, командором Альбертом Берио, и показав ему все имеющиеся у меня оправдательные документы, я подал, через него, просьбу министру, и не далее чем через месяц получил итальянский паспорт. 16 марта, я, наряду со всеми итальянскими евреями, проживавшими в Танжере, получил повестку из консульства, следующего содержания:

"Милостивый Государь, вы приглашаетесь на заседание, которое будет иметь место в Королевском Генеральном Консульстве, 25 текущего месяца, в 18 часов, для сообщения, относящегося к недавним мероприятиям, которыми Королевское Правительство аннулирует все расистские законы".

Я, конечно, пошел. Посланник нас всех поздравил, и произнес речь, смысл которой сводился к идее, что приятно видеть, как такое постыдное пятно на Италии, каким бы расизм, сегодня окончательно смыто. С этого дня я сделался полноправным членом итальянской, танжерской колонии.

Между тем, в здании общества "Данте Аллигьери", образовался фашистский центр. Вокруг него сгруппировались все итальянцы, продолжавшие симпатизировать Муссолини и Гитлеру. В этом центре происходили собрания, и на одном из них был вынесен смертный приговор посланнику Берио, полковнику Витали и всем видным чиновникам консульства в Танжере. Кроме того, в том же помещении, была открыта фашистская школа, в которой, под портретами "Дуче" и "Фюрера", фашистские недоучки преподавали все науки, пропагандировали расистские идеи, и заставляли детей петь хором песни, твердящие о том, что у них с гитлеровцами: "Единый идеал и единое знамя", и, что идут вместе на борьбу: "Рубаха черная с коричневой рубахой...". Или еще того лучше: "Для вас — вонь гетто; для нас же — аромат садов".

Мы — евреи, проживавшие в Танжере, для которых, как и для шести миллионов наших несчастных братьев, готовили не вонь гетто, но газовые камеры и крематории, теперь начали дышать свободней.

В январе 1944 года, союзники высадились в Анцио, в тылу линии "Густава"; но немцам удалось на ней удержаться до мая месяца. Монастырь Кассино был одним из древнейших монастырей Италии, и в нем сохранялась интереснейшая старинная библиотека. У союзников возник вопрос о принятии мер для спасения

этого монастыря; но Эйзенхауэр сказал: "Все ценности Италии не стоят жизни одного американского солдата". В мае, развалины монастыря были взяты, линия "Густава" прорвана, и союзники быстро двинулись на север. 4 июня был освобожден Рим, и вслед за ним — Флоренция и Сиена. Когда весть пришла об освобождении "Вечного Города", полковник принес мне большой итальянский королевский флаг, и я повесил его у нас на балконе. В декабре фронт установился на линии Пиза—Равенна.

6 июня 1944 года вошло в историю под названием "самого длинного дня". В этот день союзники высадились в Нормандии. 31 июля, в Авранше был прорван немецкий фронт. 14 августа, союзники высадили десант в Провансе, и освободили Марсель, Тулон и Лион. 25 августа, дивизия генерала Леклерка, перегоняя, в своем стремительном наступлении, союзную армию, вошла в восставший Париж, и освободила столицу. Обе союзные армии: нормандская и провансальская, при активной помощи партизанских отрядов, соединились в Шатиен на Сене. 15 сентября была освобождена Бельгия. В октябре был взят Аахен. В декабре произошло последнее, окончившееся полной неудачей, контрнаступление немцев, в Эльзасе и Арденнах.

После освобождения всего запада Франции, испанские власти в Танжере резко переменили свой тон. Итальянское консульство, терпевшее доселе существование в городе фашистского клуба и лицея, решило положить конец этому скандалу. Посланник обратился к испанскому администратору города, с просьбой, употребить, в этом случае, свою власть. В один прекрасный день, несколько испанских жандармов, под командованием офицера, явились в здание бывшего общества "Данте Аллигьери", и предложили всем присутствовавшим, немедленно, покинуть его. Фашисты, захваченные врасплох, хотели, уходя, взять с собой архив и все, интересующие их, документы; но офицер приказал им выйти из помещения с пустыми руками. Найденные бумаги были переданы итальянскому консульству, а фашистский центр, вместе со своим лицеем, закрыт.

Перенесемся мысленно вновь в воюющую Россию. В те годы, чего греха таить, я еще был сердечно связан с моей Родиной, и несмотря на все прошлые обиды и разочарования, страдал за нее, горевал ее горестями, и радовался ее радостями.

В январе 1944 года, осада с Ленинграда была снята.

"Красуйся град Петров, и стой неколебимо, как Россия!"

В марте были перейдены Буг и Днестр; Красная армия вошла в Румынию и Галицию.

В апреле, русские подошли к Львову.

В мае, Красная армия вошла в Финляндию и Прибалтику.

В конце июня была освобождена вся Белоруссия.

В июле, русские вошли в Восточную Пруссию, и перенесли войну на вражескую территорию.

В августе, Красная армия достигла Вислы, и заняла восточное предместье Варшавы. В самой Варшаве вспыхнуло восстание, но повстанцы не согласовали его с русскими, и подняли знамя, сидевшего в Лондоне, генерала Сикорского. Красная армия не помогла варшавскому населению, и с восточного берега Вислы наблюдала за борьбой варшавян. Когда, после долгого и кровопролитного сопротивления, стоившего немцам огромных потерь, этим последним удалось потопить восстание в крови, русские перешли Вислу, выбили, без особого труда, немцев из Варшавы, и погнали их дальше, на запад.

В сентябре, Красная армия заняла всю Румынию, и объявила войну Болгарии. Эта война длилась всего несколько часов. Во время ночного заседания болгарского правительства, было решено не принимать объявление войны, и открыть русским границы. Красная армия, без единого выстрела, заняла всю Болгарию; вслед за тем, эта страна объявила войну, своему вчерашнему союзнику, гитлеровской Германии.

В октябре, немцы эвакуировали Балканы, но укрепились в Будапеште, прикрывая дорогу на Вену. Пользуясь немецкой эвакуацией Балкан, англичане высадились в Греции. В том же месяце, Красная армия вошла в Югославию, и там соединилась с партизанами Тито.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: Победа.

Она была в линялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
"Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. Меня зовут Победа".

Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.
. . . . .
Илья Эренбург.

В начале апреля 1945 года, в Северной Италии вспыхнуло восстание партизан. 9 апреля, в то время как на улицах больших городов севера страны дрались на баррикадах, союзники перешли в наступление, и через несколько дней освободили: Геную, Милан, Турин и Венецию. Итальянская Социальная Республика Сало, основанная Муссолини, перестала существовать, а сам он, 27 апреля, в городке Донго, близ озера Комо, был пойман партизанами. "Дуче", в сопровождении своей молодой любовницы, Клары Петаче, и с миллиардами, принадлежавшими итальянскому государству, в кармане, пытался бежать в Швейцарию. В маленькой гостинице партизаны ему дали провести, с его подругой, последнюю ночь, а наутро, недалеко от места их ночлега, они оба были расстреляны. Тела их, отвезенные в Милан, были выставлены на показ населению. Огромные деньги, конфискованные у Муссолини партизанами, исчезли бесследно. Говорят, что их захватила итальянская Коммунистическая партия, и отправила в СССР.

29 апреля, немецкие войска, все еще державшиеся на крайнем севере Италии, капитулировали в Казерно.

Через тринадцать месяцев, в июне 1946 года, в результате всенародного референдума, была провозглашена Итальянская Демократическая Республика, основанная на труде.

Вернемся в 1945 год. На западном фронте, 6 февраля, союзники прорвали линию Зигфрида и вошли в Германию. Рассказывали, что в начале войны, жители Берлина платили за окна, выходящие на главные артерии столицы, чтобы иметь возможность присутствовать при гитлеровском параде победы.

В январе 1945 года, Красная армия заняла всю Польшу и Восточную Пруссию, и достигла Силезии.

13 февраля пал Будапешт.

12 апреля пала Вена.

25 апреля, Красная армия встретила западных союзников в Паргау, на Эльбе.

1 мая, в зданиях Рейхстага, Гитлер покончил с собой.

2 мая пал Берлин. Геббельс отравился, и его тело несколько дней валялось на улице немецкой столицы.

8 мая 1945 года, Германия капитулировала.

На Дальнем Востоке, громадные территории продолжали быть занятыми последним союзником Гитлера и Муссолини, Японией. Оставшись одиноким, это государство продолжало борьбу против всего мира, и не собираясь сдаваться, наперекор здравому смыслу, готовилось выйти, из Второй мировой войны, победительницей.

6 августа 1945 года, ознаменовалось для всего человечества, началом атомной эры. В этот день американцы не совершили ежедневного, ставшего обычным, массового налета нескольких сотен бомбардировщиков, на города враждебной Японии; но только один американский самолет, прилетел и бросил на Хиросиму одну единственную, первую во всей кровавой истории человеческих войн, атомную бомбу,... и город оказался разрушенным на 90 процентов. На площади в 12 кв. километров, насчитали 150.000 жертв: 80.000 убитых и 70.000 раненых. На следующий день, второй японский город, Нагасаки, подвергся той же участи. На площади в 4,5 кв. километров, оказалось 80.000 жертв: 40.000 убитых и 40.000 раненых. Всем раненым атомной бомбой, суждено было умирать, в медленных и страшных страданиях, в течение двух десятилетий. Япония взмолилась о пощаде, и 2 сентября 1945 года, подписала безоговорочную капитуляцию. Русские отобрали у нее Курильские острова, Порт-Артур и Дальний, а сама Япония была полностью оккупирована американцами.

Так окончилась Вторая мировая война.

Говорят, что, после знаменитого и кровавого сражения Ватерлоо, решившего судьбу Наполеона; прусский фельдмаршал Блюхер, заключая в свои объятия английского генерала, Велингтона, со слезами счастья на глазах, воскликнул: "О, мой товарищ! мой старый товарищ!" Велингтон грустно ответил: "Самое трагичное, что может случиться с полководцем это, если не считать большого поражения, — большая победа".

Во время Второй мировой войны, включая мирное население, политических заключенных и жертв расизма, было убито, или зверски замучено, свыше 40.000.000 человек. Были истреблены, в лагерях смерти, с их газовыми камерами и крематориями, 6.000.000 евреев: половина всего еврейского населения Европы,

и треть еврейского народа земного шара. Были замучены немцами, в концентрационных лагерях и тюрьмах, 5.000.000 политических заключенных, неевреев.

В этой войне Россия потеряла 20.000.000 человек, Югославия — 1.000.000 человек, Китай — 1.300.000 человек, Франция — 535.000 человек (из которых гражданского населенаи: 330.000 человек), Англия и колонии — 421.000 человек, Соединенные Штаты — 400.000 человек.

С другой стороны: Германия потеряла 5.000.000 человек, Япония — 1.800.000 человек, Италия — 450.000 человек.

Каждая из остальных стран, участвовавших в войне, потеряла многие десятки тысяч человек. Таков был итог мировой катастрофы, вызванной Гитлером и его союзниками.

У художника Верещагина есть знаменитая картина: "Апофеоз войны": голое поле, а посредине его возвышается огромная пирамида из человеческих черепов, и черные вороны вьются над ней.

20 ноября 1945 года, в немецком городе Нюрнберге, родине "нюрнбергских" расистских, антисемитских, законов, был созван международный трибунал, состоящий из русских, американцев, англичан и французов. На нем судили 24, оставшихся в живых, главных виновников гитлеровского геноцида. Суд длился почти целый год. 1 октября 1946 года, двенадцать обвиняемых, в их числе Геринг и Риббентроп, были приговорены к повешению, и семеро других к долгосрочным тюремным заключениям. Приговор был приведен в исполнение; только Герингу, в последний момент, удалось отравиться.

Перед вечером, 7 мая 1945 года, все окна домов в Танжере украсились флагами, и улицы наполнились радостной толпой: радио передало о безоговорчной капитуляции Германии.

На следующий день, 8 мая, стояла чудесная, ясная, весенняя погода. В тот день мой отец чувствовал себя лучше, и мы с ним уселись в кофейне, на Французской площади. Несмотря на свою болезнь, отец был счастлив, и мы с ним провели, на террасе этой кофейни, греясь на майском солнце, и глядя на радостные лица прохожих, добрых два часа. Это был один из его последних выходов из дому. Болезнь зашла уже очень далеко.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: Смерть отца.

Еще перед войной, американо-еврейское благотворительное общество, "Джойнт", начало активно помогать беженцам, проживавшим в Танжере. На его деньги были открыты, для неимущих, общежитие и столовка. Значительные суммы, в долларах, посылались регулярно, с этой целью, из Америки. Но скоро стало заметно, что только часть посылаемых денег доходила по назначению. В 1944 году в Танжер приехал из Соединенных Штатов один из директоров этой организации. Он обревизовал положение на месте, и без особого труда убедившись в нецелесообразности такой системы, закрыл общежитие, и взамен его каждый нуждающийся беженец, стал получать весьма крупное месячное пособие.

В то время у нас столовался некто Френкель. Не предупредив нас он отправился к приехавшему представителю Джойнта, и, как нам потом передавали, устроил там целый скандал: "Почему семье Вейцман не дают ничего из присылаемых сумм, а молодым людям, здоровым и сильным, способным на любую работу, так широко помогают?"

В один прекрасный день, к нам явился этот американский еврей, и заявил: "Я пришел познакомиться с господином Вейцманом, о котором я столько наслышался. В самом деле: почему Джойнт вам не помогает? Приходите в наше бюро, в конце каждого месяца, и вы будете получать помощь, как и все прочие". Мой отец его горячо поблагодарил, но возразил, что он не может ходить за деньгами — это ему слишком трудно, физически, и, главное, морально.

"Не вижу никакого затруднения, — возразил посланник Джойнта, — эти деньги могут быть вам доставляемы на дом; но я вам, все же ставлю одно обязательное условие: вы должны закрыть ваш домашний пансион и прекратить, вообще, всякую деятельность, кроме общественной".

Отец, конечно, согласился, и наш домашний ресторан был закрыт; но комнаты мы продолжали сдавать. Раз в месяц нам приносили на дом деньги, и отец расписывался в их получении. Кроме того Джойнт нам обеспечил бесплатную медицинскую помощь. Это последнее мероприятие пришлось весьма кстати, так как здоровье отца быстро ухудшалось, и он, все больше и больше, нуждался в постоянном уходе.

Еще в 1944 году, мы с отцом часто выходили из дому, и прогуливались возле дома, а мама, как она мне потом рассказывала, любовно смотрела с балкона на наши прогулки. Но с 1945 года, спускаться с нашей лестницы, а по возвращении подыматься пешком на третий этаж, так как лифта у нас не было, ему становилось все труднее и труднее. К осени этого года он больше не покидал нашей квартиры.

В конце октября 1945 года я встретил, случайно, на улице, одного мне знакомого молодого местного еврея. В свое время он окончил танжерский итальянский государственный лицей, и потом продолжил свое образование в Италии, до получения диплома электротехнического эксперта. Принадлежа к весьма зажиточной семье, он, по своему возвращению в Танжер, мало интересуясь своей специальностью, занялся ювелирным делом. Остановив меня на улице, он мне сообщил, что консульство предложило ему преподавать в лицее математику. Мало прельщаясь учительской карьерой, он отказался, и указал консулу на меня; так что, если только я этого желаю, то могу, вместо него, получить предложенную ему службу. Я поблагодарил его, и на следующий день, подав соответствующую просьбу, был принят на этот пост, а 5 октября впервые переступил, в качестве педагога, порог класса. С непривычки было немного жутко; но, после окончания войны, за неимением средств, итальянские власти ликвидировали в Танжере все свои закрытые учебные заведения, и лицей опустел.

В год моего поступления учителем математики, в третьем классе средней школы, у нас оказалась только одна ученица. Учителя, добросовестно, один за другим, приходили в этот класс, преподавать ей все предметы. Она была лентяйкой, и училась скверно, но, к великой досаде всего педагогического персонала, в течение учебного года не пропустила ни одного дня.

В первые месяцы моего преподавания, в каждом классе, над учительской кафедрой, висело распятие, а справа от него висел портрет короля Виктора Эммануила Третьего. Слева в стене виднелся осиротевший гвоздь, принадлежавший, еще так недавно, портрету Муссолини. Когда, в начале следующего учебного года (1946–47), после провозглашения в Италии Республики, портрет короля был, в свою очередь, снят со стены; один из взрослых учеников старшего класса, грустно смотря на оба гвоздя,

теперь бесцельно торчащие в стене, в моем присутствии, грустно сказал:

"Вначале сняли портрет Дуче, теперь унесли и портрет короля, осталось одно распятие; скоро и его уберут".

Все-таки он ошибся — распятия не сняли. Меня поразила тогла его искренняя тоска по низвергнутым земным божествам. "Не сотвори себе кумира", гласит вторая заповедь.

Зиму 1946 года я проводил почти целый день в итальянском лицее. Все прежние кадровые преподаватели были отозваны в Италию, а на их место консульство завербовало, таких же как и я, не кадровых учителей, взятых из местной итальянской колонии. Платили нам очень плохо, а работать приходилось много. Я был единственным учителем математики, и был принужден преподавать ее, начиная от арифметики, в низших классах, вплоть до элементов дифференциального исчисления, в высших.

Отец, когда погода позволяла, проводил целые дни на нашем балконе. Он любил глядеть с него на прохожих, в ожидании возвращения своего сына из лицея. С одной стороны он радовался, что я начал, хотя и мало, но регулярно зарабатывать; но, с другой стороны, ему было досадно, что я не работаю по специальности, т. е. как инженер. Я уже неоднократно пытался устроиться куда-нибудь на службу, но в Танжере в инженерах не нуждались.

Папе удалось, за небольшую плату, взять на прокат довольно хорошее радио, и он ловил передачи из СССР. Там, на далекой Родине, теперь, что ни день, праздновали первую годовщину какой-нибудь победы. Мой бедный отец наслаждался, слушая родной язык. Первый учебный год моей педагогической деятельности окончился. У меня были кое-какие профессиональные разочарования и неприятности, а также сердечные осложнения. Обо всем этом я расскажу ниже.

Летние каникулы прошли для меня очень грустно: здоровье отца все ухудшалось и ухудшалось. Он сделался нервным и печальным. Однажды, это было уже в октябре, он почему-то вспылил, и наговорил мне неприятностей, потом замолчал и, вдруг, очень грустным голосом мне сказал: "Ты, Филя, на меня не сердись и не обижайся; завтра, конечно, я еще не умру, но через шесть месяцев меня не станет". Мы расцеловались. Он не ошибся, и точно предсказал свой срок. С декабря отец стал проводить

большую часть своего времени в постели. Настал 1947 год. В одно утро, это было в средних числах января, он не открыл глаза. Накануне, пожелав нам спокойного сна, отец заснул как всегда, но среди ночи начал странно и тяжело дышать. Утром это состояние, не то сна не то беспамятства, продолжалось. Позвали врача, но он только пожал плечами: "Этот припадок у него, вероятно, пройдет; но за ним последуют другие". Наутро следующего дня папа наконец проснулся, и был как прежде, но, увы, врач сказал правду: припадки стали повторяться.

Однажды, это было уже в феврале, отец проснувшись после одного из этих припадков, длившегося более 24 часов, не пришел в полное сознание. На все наши вопросы он или ничего не отвечал, или говорил что-то несвязное. Приглашенный врач ничем помочь не мог. Вскоре он снова уснул, и проспав опять более суток, проснулся в полном сознании, но у него отнялся язык, и руки были слегка парализованы. В таком состоянии отец провел дня два. Потом паралич прошел и он обрел дар речи. Когда не было припадков, то отца мучили во сне какие-то кошмары, и он, по ночам, страшно кричал. Иногда, по утрам, я его спрашивал о причине таких криков, но отец отвечал, что совершенно ничего не помнит. Я думаю, что он помнил, но не хотел рассказывать. В одно такое утро папа проснулся в полном сознании и сказал нам:

— Этой ночью мне снился мой отец.

— Как же ты его видел? — поинтересовалась мама, — он что-нибудь тебе говорил?

Отец ничего не ответил, и, вдруг, разрыдался. Теперь папа уже не вставал больше с постели, и у него образовались пролежни, от которых он очень страдал. За ним ухаживал санитар, присланный еврейской больницей. Он приходил два раза в день, подымал его, поправлял постель, менял простыни и т. д. Я каждый день, как и прежде, уходил в лицей, а вечера проводил, вместе с матерью, у постели умирающего.

У нас, уже много лет, работала одна испанка, по имени Антония. Она нам дала номер телефона кабачка, находящегося около ее дома, и сказала, что, в случае необходимости мы можем телефонировать туда, так как там ее знают, и этот кабачок остается открытым до часа ночи. Она уже договорилась с его хозяином, и тот обещал ее позвать. В конце марта отца окончательно парализовало. Он не мог больше говорить, и если ему чего-нибудь было

надо, то он старался своей, наполовину парализованной, рукой написать на клочке бумаги о своем желании. Но это ему плохо удавалось. Я сохранил один такой лист бумаги, на котором мой бедный отец пытался написать, чтобы ему поправили подушку. На сей раз, нам с мамой, удалось расшифровать его желание.

Отца лечил хороший французский врач, доктор Крамп. Однажды после очередного осмотра больного, Крамп отозвал меня в коридор и сказал: "Вы его единственный сын, мой долг вас предупредить, что ему осталось жить, самое большее, два дня". Он ошибся, отец прожил еще дней с десять. Все эти дни, преподавая в лицее, я ожидал каждую минуту, что в самом разгаре занятий, меня позовут к телефону и сообщат о смерти папы.

Во время одной из перемен, гуляя по лицейскому саду, я увидал ползущую улитку. Глядя на нее я подумал: "Эта маленькая козявка полна жизни, и ползает здесь, как ни в чем не бывало, а мой отец, в это самое время, умирает. Улитка, вероятно, переживет моего отца, и будет ползать по деревьям после его смерти. Как это возможно?!" Неожиданно для самого себя, я схватил ее, и со всей силой, на которую был способен, бросил ее на камень. Мне до сих пор стыдно вспоминать про этот мой дурацкий поступок.

Вечером, 7 апреля 1947 года, у нас сидел знакомый врач, русский армянин, доктор Адамов. Мы с ним пили чай в столовой и беседовали, а отец лежал в соседней комнате. Наша беседа затянулась до половины одиннадцатого ночи. Наконец Адамов встал, и прежде чем уйти, зашел в комнату к отцу. Как только он его увидел то сразу, обратившись к нам, сказал: "Моисей Давидович умирает, через несколько минут его не станет".

Отец странно дышал, как если бы работал поршень какой-то паровой машины. Через пару минут дыхание сделалось глубже, но реже, затем оно стало еще реже, и после глубокого и хриплого вздоха прекратилось. В тот же миг лицо его побелело. Однако, секунд через пятнадцать, он еще раза два глубоко вздохнул,... и все было кончено. Доктор Адамов констатировал смерть, но он не мог выдать свидетельства, так как отца лечил другой врач. После ухода Адамова, несмотря на поздний час, я протелефонировал Антонии. Через полчаса она пришла, и по обычаю всех простолюдинок, начала громко причитать. Мама ее остановила. Вместе с ней, мы положили отца, по законам нашей религии, на пол, и я вызвал, по телефону, человека из еврейского погребального

братства. Он пришел, раздел тело, закутал его в белую простыню, и остался сидеть около него всю ночь. Мы с мамой устроились в столовой.

Утром, 8 апреля, состоялись похороны. Незадолго до выноса тела, человек из погребального братства ушел, сказав, что надо оставить мертвого на некоторое время одного. Минут через десять мне стало невыносимо жаль отца, и я решив нарушить этот обычай, смысл которого я и теперь не понимаю, и войдя в спальную комнату, сел на стул, и решил там ждать; но мама мне велела выйти.

На похороны мою мать не пустили: это тоже было не в обычае танжерских евреев, вскоре измененном беженцами, наполнявшими город, из которых немало умерло в первые годы по окончании войны. Мама жалела, что не присутствовала на похоронах, но я на них был далеко не один, меня сопровождали очень многие члены нашей беженской колонии, желавшие отдать их последний долг моему отцу. Был праздник Пасхи, и я не смог прочесть Кадиш. Мы получили множество писем с соболезнованиями, и в их числе одно из Америки от Еврейского Мирового Конгресса.

Дней через восемь мы с мамой отправились на кладбище, посетить свежую могилу отца. Возвращаясь домой, мама мне сказала: "Когда я шла на кладбище, то мне казалось, что я иду на свидание с твоим отцом, и там его увижу. Но могила — только могила". Со дня смерти отца, моя мать, без слов, дала мне понять, что я теперь являюсь главой нашей крохотной семьи, и вся ответственность за ее дальнейшую судьбу лежит, отныне, на мне.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

После смерти отца.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Итальянский лицей в Танжере.

Лицей, в который я поступил учителем математики осенью 1945 года, благодаря моему диплому доктора инженерии, считался раньше одним из самых крупных государственных итальянских лицеев за границей. Кроме низшей школы, детского сада и среднего учебного заведения первой и второй ступени, при нем существовали еще низшее и среднее коммерческие училища. Лицей был "научным", т. е. с физико-математическим уклоном. Во главе низшей школы стоял директор, а лицей, как и все итальянские учебные заведения в Танжере, в том числе и низшая школа, возглавлялся так называемым "президе", который в свою очередь находился в подчинении у консула, игравшего роль заместителя попечителя учебного округа.

История этого учебного заведения была уже довольно длинной. Еще до Первой мировой войны, одна итальянская учительница, поселившись в Танжере, открыла там низшую школу, имевшую успех. После смерти этой учительницы, школу, уже на полном ходу, взяло себе итальянское министерство просвещения, и создало из нее государственный лицей имени Данте Аллигьери, поместив его в бывшем дворце султана Марокко, служившем когда-то ему летней резиденцией. Итальянскому государству удалось купить этот дворец за бесценок. Лицей был на хорошем счету у местного населения, и в нем учились не только итальянские, но и испанские, и еврейские дети. К сожалению, во время Второй мировой войны, он превратился в центр фашистской пропаганды, и экзальтации агрессивного патриотизма, совершенно не свойственного итальянцам. По этому поводу мне передавали забавный случай, имевший место в низшей школе:

Одна из учительниц, рассказывая ученикам об Америке, воскликнула:

— Подумайте, дети, что этот огромный и богатый материк был

открыт итальянским гениальным мореплавателем, уроженцем Генуи, Христофором Колумбом!

Услыхав такое утверждение, десятилетняя девочка сильно обиделась:

— Неправда! Христофор Колумб был вовсе не итальянцем, а испанцем, всему миру известно, что он родился в Барселоне.

— Конечно, это не ново, вы, испанцы, всех великих людей себе присвоить готовы, — ответила сердито учительница, — вы этак скоро у нас и Муссолини возьмете.

— Нет, — спокойно возразила девочка, — за него вам нечего бояться: его у вас, наверное, никто не возьмет — вам останется.

Во время войны мама ежедневно покупала для нашего ресторана некоторые съестные продукты у Фурлана, итальянского лавочника, торговавшего на Большом Рынке. Он был умелым, но честным, купцом, и совершенно аполитичным, что не мешало всей итальянской колонии покупать у него. Нередко мама встречала у Фурлана учителя счетоводства, преподававшего в итальянском среднем коммерческом училище. Этот учитель был еще довольно молодым человеком, крикуном и болтуном, ярым фашистом, любившим поговорить о войне и о политике. Однажды, в начале сентября 1941 года, узнав, что моя мать уроженка России, он ее ехидно спросил: "Как правильно сказать: Петербург, Петроград или Ленинград?" Мама ему спокойно ответила, что прежде он назывался Петербургом, потом во время войны четырнадцатого года, его переименовали в Петроград, а еще позже, после революции, и смерти Ленина, в Ленинград.

— А как мы его назовем после победы: Муссолиноград? или Гитлероград?

Мама возмутилась:

— Раньше победите, а потом переименовывайте русские города.

Учитель расхохотался:

— Вы, что, синьора, еще сомневаетесь в нашей победе? В России и армии-то настоящей нет; ведь Сталин перебил всех своих генералов. Война, конечно, может еще продлиться два или три месяца, но потом "капут", как говорят наши союзники-немцы, и Россия станет на колени. Скоро — конец войне.

— Ладно, — ответила мама, — есть у нас в России хорошая народная поговорка: "Цыплят по осени считают".

В начале 1945 года, после падения фашизма, и освобождения всей Италии; в то время когда радио и газеты всего мира сооб-

щали, что в полуразрушенном Берлине уже слышен приближающийся, и все нарастающий, грохот тяжелой русской артиллерии, мама вновь столкнулась с хвастливым учителем счетоводства.

— Ну, что, синьор, профессоре, — спросила она его, — как мы назовем Ленинград: Муссолиноград или Гитлероград? Говорила я вам, что цыплят по осени считают.

Он ничего не ответил, и поспешно отошел.

С окончанием войны, все эти учителя были отозваны в Италию, и только один молодой преподаватель латыни, Александро Доганелли, остался и был назначен на пост временно исполняющего обязанность "президе".

ГЛАВА ВТОРАЯ: Первые два года моего преподавания в лицее.

В год моего поступления учителем математики в итальянский лицей в Танжере, этот последний, официально, еще продолжал существовать; но война и политика опустошили классы, и консул ждал распоряжения свыше о решении дальнейшей судьбы этого, некогда цветущего, учебного заведения. Каждый учитель преподавал по два, по три предмета, во всех четырнадцати, на три четверти пустых, классах. В Италии, законный максимум для преподавания в средних учебных заведениях, редко достигаемый, равнялся двадцати четырем часам в неделю. В первый год я работал двадцать семь часов, и получал за это, жалованье, которого, если бы оно было единственным источником существования, не хватило бы и на неделю приличной жизни.

Занятия начинались в половине девятого и кончались в час дня. В 15 часов приходилось, почти ежедневно, возвращаться в лицей еще на час или два. Ученики, знавшие, что мы не были присланы из Италии, как это водилось до сих пор, но завербованы в самом Танжере, не считали нас за настоящих учителей, и не имели к нам надлежащего уважения. Поэтому, несмотря на малочисленность учащихся, нам было трудно сохранять в классах необходимую дисциплину.

Наш "президе" Доганелли относился к нам плохо. Это был человечек очень маленького роста (полтора метра, или немногим больше), и может быть по этой причине — злой. Если он мог сказать или сделать кому-нибудь что-либо неприятное, он никогда

себе, в подобном удовольствии, не отказывал. Он досаждал, как только мог, мне и всем моим коллегам, в том числе и иеромонаху, отцу Барильени, преподававшему у нас чистописание и рисование. Отец Барильени, иеромонах ордена святого Франциска, был высокий и худой старик лет семидесяти. Неплохой художник, он очень любил свое искусство, но кроме одежды ничего у него монашеского не было. Остроумный, и немного резкий на язык, он умел поговорить обо всем; но любимой его темой были женщины. О них он мог распространяться долго и со вкусом, и, видимо, знал в них толк. Со всем этим Барильени был человеком добрым, прямым и симпатичным; но на язык ему лучше было не попадаться. Как я уже сказал выше, Доганелли имел неосторожность ему чем-то досадить. Однажды, в разговоре с нами, отец Барильени выразился о нашем "президе" следующим образом: "Что можно ждать от человека у которого, по вине его роста, мозги находятся так близко от ж...". В выражениях этот иеромонах не стеснялся.

На место учителя счетоводства, того самого болтуна, который не знал, как ему переименовать Ленинград, была принята молодая девушка, Элеонора Камманучи, окончившая перед войной среднее коммерческое училище, при нашем лицее, и готовившаяся поступить в Италии на высшие коммерческие курсы; но война ей помешала.

Когда, в 1945 году, она поступила учительницей к нам в лицей, ей исполнилось 24 года. Элеонора была серьезной и очень красивой девушкой. Если теперь кто меня попросит описать ее наружность, то я этого сделать не смогу, но в лицее ей дали прозвище: "Мадонна Ботичелли". Короче, я влюбился в нее. В молодости я был очень застенчив; даже теперь, стыдно сказать, но кое-что от этой застенчивости у меня осталось. Я начал, очень несмело, ухаживать за ней, и она принимала мои робкие ухаживания, довольно благосклонно, т. е. не поощряла их, но и не отталкивала. Надо сказать, что заботы о здоровье моего отца тоже отвлекали меня от моих сердечных дел.

Наступили первые, в моей жизни, экзамены, в которых я принимал участие в качестве экзаменатора. В числе экзаменуемых оказалась младшая сестра Элеоноры, милая девушка, но весьма посредственная ученица. На экзамене Элеонора подошла ко мне, и рассматривая задачу, данную мной для письменной работы,

поинтересовалась ее решением. Она, как и я, была членом экзаменационной комиссии, и я не нашел возможным отказать ей в этом. Кроме того, по моей наивности, я не предполагал злого умысла. По окончании письменного экзамена, к моему удивлению, ее сестра решила заданную задачу великолепно. Мне это показалось подозрительным, и на устном экзамене я предложил ей решить ее вторично. Она оказалась совершенно неспособной это сделать, и видимо ничего в ней не смыслила. Я был вынужден поставить сестре моей "Мадонны", скверную отметку. Элеонора со мной поссорилась. Меня все это сильно огорчило, и я почувствовал себя разочарованным. Однажды, беседуя с отцом Барильени, я поведал ему о случившемся. Выслушав меня, Барильени сказал: "Вы несомненно ошибаетесь в ваших подозрениях; я очень хорошо знаю Элеонору с самого ее детства: она серьезная и честная девушка, и на подобное мошенничество совершенно не способна; ее сестра списала задачу у одной из подруг". Всегда охотно веришь тому, чему хочется верить,... и я поверил. До сего дня мне не известно — может оно так и было.

Второй год моего преподавания был для меня очень тяжелым: он был годом смерти моего отца. С Элеонорой мы помирились, но, этим временем, она сделалась невестой какого-то итальянца. Это сватовство произошло по желанию ее родителей, но без большой, с ее стороны, любви. Были и слезы, и частые ссоры с женихом.

В конце второго учебного года, после смерти моего отца, мне было тяжело и грустно, а Элеонора стала вновь сближаться со мной. Я часто провожал ее из лицея домой. Однажды, зная ее слабое желание выйти замуж за своего жениха, я расхрабрился и признался ей в любви. Она очень печально, но кратко, мне ответила: "Слишком поздно".

Подозреваю, что, кроме всего прочего, ее родители не хотели выдать свою дочь за еврея.

Во втором учебном году (1946—47), лицей был официально, временно, закрыт, но оставались открытыми: низшая и средняя школы, и низшее коммерческое училище. Несмотря на это, преподавание в старшем классе лицея продолжалось, так как некоторые молодые люди готовились на аттестат зрелости. Каждый из них вносил, за право учения, известную ежемесячную плату, а мы, за этот гонорар, делимый между нами по количеству часов

преподавания каждого из нас, должны были подготовлять их к государственному экзамену, который они держали при итальянском лицее в Мадриде.

Я готовил их по математике и физике, а Доганелли — по-итальянскому языку и латыни. В первых числах июля кандидаты отправились в Мадрид, держать этот экзамен. Вскоре пришла весть, что довольно большой процент их не выдержал. Не дожидаясь подробностей "провала" наших учеников, Доганелли вызвал меня в свой кабинет, и сделал мне резкое замечание, по поводу моего преподавания, обвиняя меня в неудаче кандидатов. На следующий день пришел, из мадридского лицея, подробный отчет об экзаменах. Оказалось, что по математике и физике все наши ученики блестяще выдержали, но многие из них потерпели неудачу по-латыни и по-итальянски. На этот раз Доганелли был очень смущен; но этот случай его нисколько не исправил.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Воскрешение Отечества.

После смерти отца мы с матерью остались одни. Далекая Родина была для нас закрыта, и мы ничего не знали о судьбе наших близких. Жизнь нас забросила в северную Африку. Если бы кто-нибудь, лет десять тому назад, нам сказал, что мы будем принуждены поселиться, на неизвестный срок, на африканском побережье Гибралтарского пролива, то мы бы сочли подобное предсказание просто за глупую шутку. Что нам Африка и, что мы ей! А теперь надо было продолжать жить в ней, кто знает сколько еще лет, а на еврейском кладбище в Танжере, стало одной могилой больше.

Я начал давать частные уроки, и вскоре у меня набралось немалое количество учеников. На деньги, зарабатываемые мною в лицее и частными уроками, плюс на помощь, получаемую моей матерью от Джойнта, можно было жить безбедно; но какие серьезные перспективы открывались передо мной, еще относительно молодым человеком, с моим итальянским дипломом инженера, в этой африканской дыре? Отец говорил умирая: "Наше будущее — Италия". Но, что было нам делать в полуразрушенной войной стране. Кроме того, несмотря на мой паспорт, и мои искренние симпатии, Италия моей Родиной не была. Если бы мы вернулись в Геную, мне пришлось бы, вероятно, отказаться от моей педагогической деятельности, и искать место инженера, а моей ма-

тери — от пожизненной пенсии, которую Джойнт ей выплачивал ежемесячно. Для такого шага, на первых порах, нужны были связи, а мы их не имели.

За несколько месяцев до смерти моего отца, мы получили повестку, от местной еврейской общины, в которой нам сообщали, что кто-то нас разыскивает: это была Рая. Она провела всю войну, со своим мужем-коммунистом, в ссылке, в маленькой горной деревушке на юге от Неаполя, и в ней они дождались прихода союзников. У нее родилось двое детей. Теперь они собирались переехать в Неаполь, где ее муж надеялся получить место провизора в одной из тамошних аптек. От ее матери она уже давно не получала никаких вестей, и теперь решила сама поехать в Геную, для наведения справок. Вскоре к нам пришло от нее второе письмо. Она в нем рассказывала о трагическом конце Крайниной.

В течение первых лет войны Ольга Абрамовна, относительно спокойно, проживала в селе, вблизи Генуи, выбранное ею самой местом жительства. Когда, в июле 1943 года, в Италии пал фашизм, и маршал Бадольо подписал перемирие с союзниками, немцы заняли почти всю страну до Неаполя включительно, и на занятой ими территории, принялись ловить и отправлять в Германию всех евреев, для умерщвления их в газовых камерах. Ольга Абрамовна была милой и симпатичной женщиной, и жители этого села ее любили и уважали; но там находились два карабинера, которые для того чтобы выслужиться перед начальством, донесли на нее, как на еврейку, немецким оккупационным властям. В одном из гитлеровских лагерей смерти Ольгу Абрамовну постигла участь шести миллионов наших братьев и сестер. Местное население жалело несчастную женщину, но было бессильно ее спасти.

Когда, в 1945 году, партизаны на короткий срок захватили власть во всей северной Италии, они пришли и в это село. Крестьяне рассказывали им о случившемся, и указали на двух карабинеров, которые, как ни в чем не бывало, продолжали жить на их прежнем месте. Суд у партизан был краток, но справедлив, хотя и не милостив: оба негодяя были зарыты в землю живьем; но Ольгу Абрамовну их казнь не вернула.

С ее смертью у нас оборвалась одна из главных нитей, связывавших нас с Италией. Очень вероятно, что, следуя совету покойного отца, если бы она жила, мы что-либо предприняли бы для возвращения туда.

В 1947 году, в Танжер прибыло несколько десятков евреев, чудом спасшихся из немецких концентрационных лагерей. Большинство из них были молодые женщины. Все они были измучены годами, проведенными в этих лагерях, и искалечены физически и нравственно. Я познакомился с одной из них, польской еврейкой, и она мне рассказала некоторые эпизоды из своей жизни.

Будучи молодой девушкой, она отличалась здоровьем, и была известной спортсменкой. Незадолго до войны она вышла замуж за молодого еврея, тоже здорового и спортивного. Вскоре после прихода немцев они, вместе с их семьями, были арестованы и разлучены. Престарелых родителей отправили сразу в газовые камеры, а молодых людей, как работоспособных, разослали в разные лагеря. Условия жизни в том лагере, в который она попала, были неописуемы. Всех заключенных держали в ужасных бараках, очень плохо кормили, и всячески издевались. Что с нею делали, как с молодой и красивой женщиной, она подробно не рассказывала, но понять и представить себе было не трудно. Несколько раз их раздевали совершенно голыми, и проводили в таком виде по улицам небольшого польского городка. Однажды на нее натравили огромную немецкую овчарку, которая страшно искусала ей ноги. Потом немецкий врач помазал раны какой-то мазью, и они быстро зажили, не оставляя после себя шрамов. Это, вероятно, был опыт.

От времени до времени всех заключенных собирали вместе во дворе лагеря, и делили их на две группы: направо тех, кого считали еще годными для работы, а налево — всех остальных. Поставленных налево немедленно отправляли в газовые камеры. Во время одного из таких очередных отборов ее поставили налево. В этот миг она решила, что на сей раз для нее все кончено. Эсэсовский офицер в последний раз рассматривая обреченных, внезапно, взглянув на нее, сказал: "Эта еще может работать", и перевел ее направо.

В конце лета 1944 года, после особенно тяжелой работы и ряда нестерпимых издевательств, она упала перед эсэсовцами на колени и взмолилась: "Убейте меня; пошлите меня в газовую камеру, но я больше не могу!" При этой сцене присутствовал, недавно прибывший в лагерь, какой-то полковник Эс. Эс. Грозно нахмурясь, и подняв угрожающе плеть, он со страшной бранью, подошел к бедной женщине, и неожиданно быстро прошептал: "Не надо

вам умирать; потерпите еще самую малость — русские совсем близко". Кем был, в действительности, этот полковник, она никогда не узнала.

Вскоре заключенных спешно эвакуировали в глубь Германии, на запад от Эльбы, и там, весной 1945 года, они были освобождены, неудержимо наступающей на восток, американской танковой колонной. Американские военные власти их всех отправили в Швецию, которая, добровольно, взялась подать им первую медицинскую помощь, в коей они все очень нуждались. Подлечившись немного, бывшие заключенные все разъехались, кто куда мог или хотел. Ее отдаленные родственники, уже многие годы жившие в Соединенных Штатах, выхлопотали ей туда визу. Ее муж, тоже, вероятно, благодаря своей молодости и физической силе, оставшийся в живых, списался с нею, и теперь она ожидала его в Танжере, чтобы оттуда, вместе с ним, уехать в Америку. Однако от ее бывшего железного здоровья ничего не осталось, гитлеровский концентрационный лагерь сделал свое: у бедняжки открылся туберкулез.

Наступили осенние праздники. Наша маленькая беженская синагога была переполнена. На Йом Кипур, первом после смерти отца, моя мать много плакала, но она плакала не одна: синагога наполнилась душераздирающими рыданиями бывших заключенных немецких лагерей. Большинство из них потеряло всех своих близких. Я никогда не забуду Йом Кипур 1947 года.

29 ноября 1947 года, образовавшаяся после войны "Организация Объединенных Наций" (ООН), большинством, необходимых двух третей, голосов, постановила отнять палестинский мандат у Англии, и образовать, на месте прежней Палестины, два государства: еврейское и арабское. Арабы, и их друзья, голосовали против, но оказались в меньшинстве.

14 мая 1948 года, моей матери исполнилось 69 лет. Болезнь и смерть отца ее сильно состарили; но она еще бодрилась. В этот день радио и газеты, на всех земных языках, оповестили миру о рождении нового государства: Израиль.

Отечество, потерянное нашими предками девятнадцать веков тому назад, воскресло. Мы, современники, оказались теми избранниками, которым Предвечный дал возможность узреть своими глазами это чудо, и убедиться как Он, да святится имя Его! держит свое обещание, данное нашим патриархам и пророкам. Мой бед-

ный отец не дожил до этого великого дня всего тринадцать месяцев.

Арабские государства отказались подчиниться решению ООН, и бросили все свои силы против Израиля. Опять, как в недавно минувшие дни Второй мировой войны, мы со страхом и надеждой, следили за ходом военных действий. Израиль победил! Он отвоевал себе небольшую частицу той земли, которая некогда принадлежала еврейскому народу. Западная, новая половина Иерусалима осталась за ним, но старый город, замкнутый в своих многотысячелетних стенах, со всеми заключающимися в нем святынями, был присоединен к Иорданскому Королевству. Пришлось с этим примириться.

Летом того же года, мы с матерью решили эмигрировать в Израиль. В Танжере, при еврейской общине, образовалась специальная эмиграционная комиссия, для отправки желающих через Марсель в Хайфу. Не знаю, с умыслом или по невежеству, но эта организация стала изобретать для будущих эмигрантов ряд затруднений.

У моей матери почти все зубы были попорчены. После медицинского осмотра ей сказали, что она должна дать их вырвать, чтобы вставить потом искусственную челюсть. В противном случае ее в Израиль не впустят. Мама отказалась. Кроме этого ее начали пугать перспективой жизни, якобы, в пустыне в шатрах. В конце концов наша "алия" не состоялась, и мы остались жить в Танжере.

После смерти отца у нас сняла комнату вдова итальянского певца, одесская еврейка, Софья Осиповна Болдини. Мама очень сдружилась с ней, и еще с другой русской, православной дамой, Верой Порфирьевной Вальс. Кроме этих двух дам моя мать начала встречаться с беженцами, в особенности с одной венгеро-еврейской семьей. Таким образом она составила себе небольшой круг знакомых.

Я, лично, кроме моих коллег, и то только в часы занятий в лицее, ни с кем не встречался. Раз в неделю мы с мамой ходили в один из ближайших кинематографов, а все вечера она проводила за рукоделием, а я ей, и Софье Осиповне, читал что-либо вслух, или мы играли втроем в карты, в детские игры; в "подкидного дурака", или другие ему подобные. Днем в свободные часы я усаживался на террасе "Парижской" кофейни, и проводил

там целые часы, читая какую-нибудь книгу, или разглядывая прохожих, или еще, исправляя письменные работы моих учеников. Мама обыкновенно тоже приходила туда, и усаживалась рядом со мной. Так, или почти так, проводили время все, проживавшие в Танжере, беженцы. Для меня начался самый бесцветный период моей жизни. Между лицеем, домом и кофейней прошли многие годы моего существования.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Давид и Лея Цимерман.

Список наших мучеников страшно велик, и все их имена: "един Ты, Господи, веси". Расскажу еще одну трагическую историю, порожденную гитлеризмом.

В конце 1947 года, у нас поселилась молодая польская еврейка, Лея Цимерман. Ее отец, овдовевший еще до последней войны, уже многие годы жил в Танжере, и теперь снимал у нас самую большую комнату. Лея была замужем за Давидом Цимерманом, типичным молодым еврейским интеллигентом, сионистом и поэтом. Они любили друг друга, и брак их был счастлив. Многие из своих поэтических творений, написанных по-польски, Давид посвятил Лее. Когда пришли немцы Лее удалось раздобыть для себя польский "арийский" паспорт, и благодаря своему нееврейскому типу, она избежала ареста, и гитлеровцы ее не тронули. Положение Давида было более трудным, и ему пришлось скрываться. Его родители и братья были все схвачены гитлеровцами и умерщвлены. Он сам пережил бесчисленное количество злоключений: прятался несколько дней в камине одного барского дома, попался немцам, и был посажен в гетто, но бежал; партизанил в лесах, опять чуть было не попался в руки немецких солдат, и, наконец, укрылся у одного польского крестьянина. Этот крестьянин, с риском для жизни, скрывал в подвале своего дома человек пятнадцать евреев, и там кормил и поил их в течение нескольких месяцев. К счастью для всех их, никто из соседних крестьян не донес, и там они просидели до прихода Красной армии. Этот крестьянин был торжественно награжден русскими военными властями, перед выстроившимся полком, советским орденом: "За геройское спасение гражданского населения от фашистских зверств".

Давид Цимерман, переживший гибель своей семьи и столько

ужасов и страданий, после своего освобождения, мечтал только о мести. С этой целью он предложил свои услуги НКВД и сделался его активным сотрудником. Однако, очень скоро, Давид почувствовал, что его новая деятельность, основанная, исключительно, на мести, бесплодна сама по себе, ибо мертвых к жизни не вернешь, и отрицательна, так как часто направлена к совершенно чуждым ему целям. Роль политического шпиона-провокатора, или палача, претили его натуре, и он скоро вернулся к своей первоначальной идее: сионизму. Теперь ему уже хотелось поскорее оставить его новую службу; но покинуть НКВД гораздо труднее, чем поступить туда. С этой целью он подал просьбу, но ему отказали. Давид продолжал настаивать до тех пор, пока ему не дали вежливо понять, что из НКВД можно уйти только в могилу. Опасаясь ареста и расстрела он решился бежать. Это ему удалось, и после ряда трудностей и опасностей, он достиг какого-то итальянского порта, и там сел на один из пароходов, секретно перевозивших эмигрантов в Палестину. Уже в виду Хайфы их захватил английский крейсер, и отвез на Кипр. Снова концентрационный лагерь на этот раз английский. Совсем незадого до решения ООН об основании Израиля, он вновь пытался бежать, но при этой попытке был убит англичанами.

Лея Цимерман, оставшись одна в Польше, списалась со своим отцом, и приехала в Танжер. Вскоре ее отец переехал в другое помещение, и уступил ей свою комнату в нашем доме. Лея хранила у себя последние письма от мужа, полученные ею еще в Польше, с его стихами. Все они были полны любви к ней и надеждами на скорую встречу. Она успела ему написать о своем переезде к отцу в Танжер. После провозглашения Израиля, она получила письмо из Тель-Авива от одного из товарищей мужа. Из него она узнала о трагической смерти Давида Цимермана.

Так как у Леи не имелось никаких средств к существованию, ее отец, мелкий коммерсант, помогал ей, как мог. После долгих поисков она нашла себе место кельнерши в большой французской кондитерской, но эта работа ее очень утомляла. Кончила она тем, что заболела, и ей пришлось бросить службу. Минутами она была близка к самоубийству. К счастью, к этому времени, Лея встретила одного молодого американского инженера, еврея из Одессы, Абрама Либермана, работавшего на американской базе в Марокко, и вышла за него замуж. Большой любви, с ее стороны, не было;

но надо было жить и спасать свое здоровье. Через несколько лет они уехали в Америку.

ГЛАВА ПЯТАЯ: "За специальные заслуги".

В итальянской школе я получал жалованье, пропорционально количеству часов моего преподавания в неделю.

В октябре 1948 года, Доганелли меня предупредил, что я математики больше не преподаю, а на мое место, по предложению консульства, назначается кадровая учительница низшей школы, синьора Маркинетти. Мне он оставил только шесть часов, в низшем коммерческом училище, где я преподавал элементы начальной физики. Синьора Маркинетти всю войну числилась учительницей танжерской низшей школы, и как мне потом объяснили, получила от итальянского консульства это место: "За специальные заслуги военного времени". "Заслуги" были такого рода, что когда, через два года по окончании войны, эта дама захотела, в качестве туристки поехать на несколько дней в Касабланку и Рабат, французские власти ей в визе отказали. Так или иначе, но она взялась преподавать арифметику и элементы интуитивной геометрии в трех классах средней школы и низшего коммерческого училища. Я возмутился, и попросил приема у нашего посланника. Он принял меня вежливо, но холодно, и в ответ на мои протесты мне сказал:

— Я, принципиально, за то чтобы всякий предмет преподавался высококвалифицированными людьми. Я предпочитаю чтобы, например, учителем элементарной математики был профессор университета, нежели наоборот.

— Ваше Превосходительство, — ответил я ему, — я с вами вполне согласен, и верно, в силу этого самого принципа, в нашем учебном заведении, отняли преподавание математики у доктора инженерии, и передали его учительнице низшей школы.

Посланник осекся, закусил губу, сердито взглянул на меня, но ничего не сказал.

В этом году мое материальное положение не улучшилось.

Прошел еще один учебный год. В 1949 году, Министерство Народного Просвещения в Риме, решило понемногу восстановить полностью в Танжере итальянский государственный лицей. В связи с таким его решением, осенью этого года, был открыт

его первый класс. В нем требовалось преподавать начало алгебры и первую часть "дедуктивной" геометрии в плоскости. Доганелли вызвал к себе в кабинет Маркинетти, и предложил ей взять на себя преподавание этих предметов. Один мой приятель, слышавший случайно их разговор, мне его передал почти дословно:

— В этом году, синьора, вы, к вашему преподаванию, прибавите еще четыре часа в неделю: алгебры и геометрии.

— Господин Президе, это совершенно невозможно.

— Почему?

— Я в алгебре ничего не смыслю.

— Пустяки! Вам только будет нужно каждый раз подготовлять, у себя дома, очередной урок, и вы потом великолепно сможете объяснить его ученикам.

— Нет, господин Президо, я этого не могу: я чувствую, что с подобной задачей не справлюсь.

— Так вы отказываетесь? Очень жаль! В таком случае я буду принужден передать эти часы Вейцману.

Он так и сделал, и я получил четыре лишних часа преподавания в неделю.

В 1950 году, Доганелли был снят со своего поста, и на его место министерство прислало кадрового президе лицея, математика по специальности, Фрумантези. Одновременно был сменен и наш посланник. К этому времени в консульство стали поступать жалобы родителей на Маркинетти, и ее преподавание. Во время урока она так кричала на учеников, что голос ее заглушал голоса всех других учителей, имевших несчастье преподавать в соседних классах. Кроме того эта дама щедро раздавала ученикам оплеухи.

Первым административным актом Фрумантези, было отнятие у Маркинетти преподавания математики, и передачи его мне. Ей он предложил вернуться, в качестве учительницы, в низшую школу. Она обиделась, отказалась, и уехала в Италию. Когда я принял ее классы, мне открылись невероятные факты: эта учительница не знала четырех правил арифметики, и была убеждена, что арифметические операции следует производить в том порядке в каком они предлагаются. Пример: $2 + 5 \times 3$. Маркинетти складывала 2 и 5, и потом, полученную сумму, умножала на 3. $2 + 5 \times 3 = 7 \times 3 = 21$.

Вот к чему приводят "заслуги", ничего общего с преподаванием не имеющие.

В этом году мой заработок увеличился.

Еще в 1943 году, как я уже рассказывал выше, полковник Витали, нашел для меня, среди учащихся детей итальянской колонии, несколько частных уроков математики. Одной из первых моих учениц оказалась дочь весьма важного сановника, занимавшего высокий пост в консульстве, и числившегося в Италии членом кассационного суда, командора Пармиджани. Подготовив эту девушку к экзамену на аттестат зрелости, который она отлично сдала, я сделался репетитором ее младшей сестры, Гайтаны.

По окончании войны, весь персонал итальянского генерального консульства в Танжере, включая и возглавлявшего его посланника, в течение многих месяцев не получал из Рима никакого жалованья.

Однажды Пармиджани позвал меня в свой деловой кабинет, и смущенно попросил меня подождать с моим гонораром:

— Экзамены приближаются, и я не хотел бы лишать мою дочь такого репетитора как вы; но платить вам за уроки я сейчас не могу. Повремените немного.

— Командор, — ответил я ему, — уроки, которые я давал вашим дочерям, положили почин моей педагогической деятельности. Гайтана симпатичная девочка, и я готов, если это необходимо, преподавать ей совершенно бесплатно.

Он меня очень горячо поблагодарил, и с того дня я перестал получать у него мой гонорар, следуемый мне за ежедневные уроки, длившиеся иной раз по два часа сряду, и больше. Вскоре после смерти моего отца, отлично понимая, что преподавание в лицее, мне как инженеру, не открывает никакой перспективы, я решил попытаться переменить мою деятельность, и устроиться, в освобожденной Италии, по моей настоящей профессии. С этой целью я пошел в консульство к командору Пармиджани. Как всегда, он меня принял в своем деловом кабинете.

— Вы знаете, — обратился я к нему, — у меня недавно не стало отца, и теперь я пришел к вам, как если бы вы были моим отцом. Я еще молод, и имею итальянский диплом инженера, но в нашей стране у меня нет связей. Я не хочу терять лучшие годы, преподавая в лицее за грошевую плату. Помогите мне устроиться по моей специальности, или дайте мне отеческий совет.

— Помочь вам, к сожалению, ничем не могу, — ответил, довольно сухо, Пармиджани, — а хороший совет я вам дам: идите

к вашим евреям, они, в Танжере, богаты и влиятельны, и вас, конечно, устроят.

Как говорится: комментарии излишни.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Годы уходят.

Моя педагогическая деятельность, в итальянском лицее, меня не удовлетворяла, и я всячески старался найти другую, более интересную работу. Кроме того и моя личная жизнь не налаживалась. Мне хотелось жениться, и обзавестись собственной семьей; но в Танжере, в ту пору, я не находил себе подруги, да и мое материальное положение было не из блестящих: в лицее я зарабатывал мало. Из шести комнат нашей квартиры мы сдавали четыре, а главное, моя мать получала ежемесячное пособие от Джойнта. Все мои попытки устроиться в Танжере, в качестве инженера, оканчивались, неизменно, полным фиаско. В этом городе не было никакой индустрии, и в нем нуждались в ком угодно, только не в инженерах. Все же, много позже, и то на срок летних каникул, мне удалось устроиться у Ланино, итальянского инженера, в качестве его помощника по расчету железобетона. Обыкновенно этим занимались две или три крупные конторы в Касабланке, но Ланино, как-то, удалось получить заказ; обстоятельство, которое мне дало возможность поработать у него месяца два. Но долго конкурировать с касабланкскими инженерами ему было не под силу, и он вскоре уехал в Сицилию. Я ему написал туда, но Ланино мне ответил, что и сам сидит почти без работы. Вскоре я узнал о его смерти. Мне оставалось тянуть лямку в лицее, объясняя ученикам сложные дроби и пифагорову теорему.

Дни мои протекали однообразно, и походили один на другой. Каждое утро я отправлялся в лицей, где оставался, в среднем, три часа. Преподавать я любил, но настоящим педагогом не был. Я мечтал сделать карьеру инженера, и лавры Фребеля и Песталлоци меня не прельщали. По-моему, настоящий педагог, кроме умения объяснять и заинтересовывать учащихся, должен обладать еще специальным свойством, присущим всем укротителям зверей. Я не шучу. Каждый начинающий учитель, входящий в первый раз в класс, переполненный учениками, должен ощущать нечто сходное с тем, что чувствует новый укротитель впервые проникающий в клетку с ее дикими обитателями. Опасность, конеч-

но, меньшая, но вспомним случаи самоубийств молодых педагогов. На уроках дети устают; им хочется играть, бегать, болтать и всячески развлекаться. Это совершенно естественно: учение не есть нечто свойственное натуре человека, и знания должны быть, всякий раз, прививаемы каждому новому индивидууму, как и искусство ходить прямо, на двух ногах. Ребенок в школе воспринимает учение, как насилие над собой, и всячески старается, в пределах возможного, противиться ему. Отсюда: непослушание, проказы и прочее. Необходимо силой своей воли, своего авторитета, заставить класс подчиниться себе. В борьбу вступает воля одного против воли многих. Не все обладают этим качеством почти гипнотизера.

Мне пришлось убедиться на собственном опыте, как трудно заинтересовать подростка, со средними способностями, доказательством, например, истины, что сумма углов треугольника всегда равна двум прямым углам. Да ведь это и не точно; следовало бы прибавить: в плоскости. Преподавая математику мы преподносим детям относительные истины, выдавая их за абсолютные, оставляя на будущее объяснение. Я думаю, что и в других отраслях знания происходит нечто подобное. Пока что ученики вызубривают заданные им уроки, скучают, и наимение способные из них, часто ненавидят педагогов-мучителей. Короленко вспоминает в своем известном автобиографическом произведении "История моего современника", как один из его учителей сказал: "Мы три года учимся, три года мучимся, три года учим, три года мучим,... а там хоть к черту". После трех, четырех часов преподавания я возвращался домой нервным и усталым. В час дня я обедал с моей матерью. После обеда, иногда, у меня бывали еще два часа работы в лицее. Если же я бывал свободным, то ложился отдыхать, и спал, часто до четырех часов. С пяти часов до семи я проводил время, обыкновенно в компании моей матери, в кофейне, о которой я уже упоминал выше.

Вскоре здоровье мамы стало слабеть: у нее начались сердечные припадки. Все чаще и чаще, возвращаясь домой, я заставал маму больной. Нередко припадки повторялись и по ночам. Спешно вызывался врач. Утром я вновь отправлялся в лицей.

Годы шли, а впереди вставал передо мной жуткий призрак моего будущего полного одиночества.

У лукоморья дуб срубили;
Златую цепь в Торгсин снесли;
Кота на мясо изрубили,
А Русский Дух сослали в Соловки.

Русалку паспорта лишили;
От голода издох Кащей;
Богатырей, при чистке, сократили,
И вывели в расход зверей.

В избушку шесть семейств вселили;
Из курьих ножек суп сварили,
А ступу, с Бабою Ягой,
Утилизировал Промстрой.

Где мед и пиво пили предки,
Звезда там красная горит,
И об успехах пятилетки
Там Сталин сказки говорит.

(Стихотворение неизвестного поэта)

С января 1924 года, немедленно после смерти Ленина, бывший грузинский семинарист, Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), без долгой борьбы и особого усилия, захватил власть в СССР.

Честолюбивый, властолюбивый, мстительный, беспощадный и злой, этот человек поставил себе целью выдвинуться на первый план, чего бы это ни стоило. Про него говорили, что еще при старом режиме, бросив тифлисскую семинарию, и сделавшись революционером, он, чтобы подняться по иерархической лестнице политической карьеры, устранял других, более старых, революционеров, тайно донося на них в царскую охранку. Так или иначе, но в момент большевистского переворота, этот малообразованный грузин, поп-недоучка, плохо говоривший по-русски, оказался членом центрального комитета РСДРП (б). Все-таки, при Ленине, он головы не поднимал, и знал, что этот последний его недолюбливал. Рассказывали, что, однажды, Владимир Ильич выразился о нем, приблизительно, так: "Этот грузин нам способен состря-

пать слишком пикантные восточные блюда". Огромной ошибкой Ленина было то, что он, вовремя, не убрал с политической арены "товарища" Джугашвили.

Захватив власть, Сталин, очень быстро, путем ловких интриг, устранил от государственных дел, своего главного соперника, первого человека в СССР после Ленина, Льва Давидовича Троцкого. Позже, он его арестовал и сослал в Центральную Азию, а вскоре после того выслал из Советского Союза. После скитаний по разным странам мира, этот творец Красной армии, нашел себе убежище в Мексике, где, в начале Второй мировой войны, был зверски умерщвлен подосланным Сталиным убийцей.

Устранив от власти Троцкого, Сталин начал проводить свои реформы по коллективизации крестьян: создавая колхозы и совхозы; окончательно ликвидировал НЭП и выдумал пятилетние планы: "пятилетки". Первым результатом этой пятилетки был страшный голод, вновь поразивший, в начале тридцатых годов, мою несчастную Родину.

По этому поводу мне вспоминается известный анекдот.

"Два московских гражданина, А. и Б., беседуют между собой:

— Ты только подумай! — восклицает, восторженно, гражданин А., — По окончании пятилетки каждый житель Советского Союза будет обладать собственным самолетом.

— А на кой мне черт сдался собственный самолет? — возражает гражданин Б.

— Как, на кой? Вот чудак! Представь себе, что пришел слух в Москву о выдаче в Харькове картофеля, ты садишься в собственный самолет, прилетаешь в Харьков раньше чем успели разобрать всю картошку, и привозишь к себе, в Москву, двадцать килограммов этого питательного корнеплода."

Вскоре начались беспощадные "чистки", суды и расстрелы. В 1936 году, большинство близких сотрудников Ленина: Зиновьев, Каменев и многие другие, были расстреляны. Такая же участь постигла маршала Тухачевского и ряд самых видных генералов.

В 1941 году, когда Германия напала на СССР, армия оказалась обезглавленной и неподготовленной. В первые месяцы войны гитлеровские орды встречались населением, в особенности на юге, как освободители. Я убежден, что только неслыханные зверства нацистов, совершаемые ими над мирным населением, спасли советский режим.

8 мая 1945 года, Третий Райх перестал существовать; но пример Адольфа Гитлера пришелся по вкусу Иосифу Сталину, и в начале пятидесятых годов он организовал в СССР, и во всех ему подвластных странах, систематические гонения на евреев.

Теперь для меня существовали два полюса, притягивающие к себе все мои помыслы и интересы, выходящие за пределы ежедневных будней: только что воскресшее Отечество, первым президентом которого был выбран доктор Хаим Вейцман, и моя Родина, в которой вновь начались преследования евреев.

К этому времени я стал встречаться с одним русским дворянином, Константином Павловичем Гретько, бывшим офицером Белой армии. Он часто приходил к нам по вечерам, пить чай и беседовать со мной на всякие политические и философские темы. Однажды Гретько познакомил меня с другим русским господином, проживавшим в Париже, но часто приезжавшим в Танжер, по своим делам. Это был человек лет сорока, высокий, с длинным носом, и с не совсем русскими чертами лица. При знакомстве он мне представился: "Ростислав Александрович Колчак". Я пригласил его к себе вечером на чашку чая. Назвавший себя Колчаком, оказался умным и занимательным собеседником.

На следующий день, встретив на улице Гретько, я заговорил с ним о новом знакомом, и перефразируя Пушкина, воскликнул: "Имя громко! Он родственник сибирского героя?" "Он сын его", — ответил, улыбаясь, Гретько. Мне вспомнилась шутка времен гражданской войны, имевшая успех в Совдепии: "Все население боится Гор. ЧК, но Гор. ЧК боится Губ. ЧК, а Губ. ЧК боится ВЧК, но ВЧК боится Колчака".

Ростислав Александрович, при каждом своем приезде в Танжер, стал у меня бывать, и, однажды, привел к нам свою жену с ее братом. Сын адмирала обладал широким образованием, был очень остроумен, и знал множество политических анекдотов. Между прочим, говоря о меголомании Сталина, он рассказал один из них:

"По случаю столетней годовщины смерти Крылова, Сталин велел поставить великому баснописцу достойный памятник, и с этой целью объявил конкурс. Один молодой советский ваятель вышел на нем победителем, и предложенный им проект памятника был полностью одобрен "Отцом Народов". К назначенному дню памятник был готов. На площади, в ожидании его открытия, собралась большая толпа. Загремел советский гимн, и холст,

скрывавший от глаз любопытных произведение талантливого скульптора, пал. Все ахнули: на середине площади возвышался величественный пьедестал; на нем стояла огромная статуя Сталина, державшего в руке открытую маленькую книжку, и внимательно ее читавшего. На обложке этой книжки были четко выведены два слова: "Басни Крылова"."

Когда в СССР началась злостная антисемитская пропаганда, и Сталин организовал процессы еврейских врачей, Ростислав Александрович воскликнул: "Слава Богу! В России советское правительство занялось преследованием евреев. Это конец сталинского режима!"

Он не ошибся: Сталин не успел расстрелять в СССР несчастных еврейских врачей, как он это сделал в подвластной ему Чехословакии; внезапная смерть этого нового Ивана Грозного, поставила конечную точку на странице кровавой истории сталинского режима.

Пришедший к власти Маленков, реабелитировал еврейских врачей, расстрелял Берия, сталинского Малюту Скуратова, и сослал в Сибирь русских докторов, виновных в клевете на своих еврейских коллег. К сожалению Маленков у власти долго не оставался; но пришедший на его место Никита Хрущев, продолжал активную десталинизацию СССР. Стало дышаться свободней, и заговорили о политической весне. Кто-то сказал: "Когда, теперь, гражданин Советского Союза, слышит у себя, в шесть часов утра, внезапный звонок: это еще не молочник, но уже и не МВД".

В 1953 году, многих русских эмигрантов потянуло вернуться на Родину.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: Моя попытка возвратиться в Россию.

Вырваться из Танжера! Переменить жизнь чего бы это ни стоило! К середине пятидесятых годов эта мысль превратилась у меня в навязчивую идею. По ночам мне снились большие города: иногда Москва, иногда Генуя.

Я уже раньше писал о Лее Цимерман, снимавшей одно время у нас комнату, а позже вышедшей замуж за американского инженера, одесского еврея, Абрама Либермана. Я близко познакомился с этим последним, и раза три ездил к нему, во время каникул, провести несколько дней, в занимаемой им вилле, в Порт

Льотэ. Это была эпоха русско-американской холодной войны. В Марокко, находившемся еще под французским протекторатом, Америка построила, возле Порт Льотэ военную базу, а в Танжерской зоне, мощную радиостанцию, служившую американцам для антисоветской пропаганды. Некоторые из молодых беженцев служили на этой радиостанции, и для своего дальнейшего продвижения по службе, готовились держать экзамены. С этой целью, двое или трое из них, брали у меня уроки математики.

Однажды, когда я гостил у Либермана, он повез меня на американскую военную базу, показать ее мне, и я там с ним обедал в типичной американской столовке. Он мне предложил поступить на службу, на эту базу в качестве техника: "Нам нужны работники, взятые на месте; ничего, что ты не говоришь по-английски — научишься. Здесь ты будешь зарабатывать в один месяц столько, сколько ты зарабатываешь в твоем лицее за целый год". Я отказался. "Почему?" — удивился Абрам. "Спасибо тебе за твое дружеское предложение, но я считаю для себя невозможным поступить в организацию, направленную против страны, в которой я родился: я чувствовал бы себя изменником". Он пожал плечами.

Я знаю, что большинство сочтет этот мой поступок за глупость; но я уверен, что мой отец меня одобрил бы. Выше Родины только Отечество!

Идеализм, Честность, Долг, Совесть и другие отвлеченные понятия, этого не объяснить, как не объяснить и Веру: или она имеется у человека, или ее у него нет.

Утром, в самый день нашего посещения базы, к Абраму пришла одна русская девушка, желавшая поступить к американцам в качестве секретарши. Абрам познакомил нас. Она оказалась племянницей русского аристократа, имени которого я не назову, проживавшего уже многие годы в Танжере. Будем звать его просто Графом. Он происходил из очень высокопоставленной семьи, давшей царской России: министров, архиереев и губернаторов. Все они были известны, как люди с крайне правыми взглядами, близкими к идеям Победоносцева.

Во время войны о нем говорили в Танжере, что он, будучи русским патриотом, желает победы СССР; но, в душе, сочувствует гитлеровским идеям, и хотел бы видеть подобный режим и в России. После окончания войны, еще при жизни Сталина, ему удалось получить советский паспорт, и он сделался чем-то вроде

неофициального советского консула, в Танжере. Когда, уже при Хрущеве, некоторые русские беженцы были восстановлены в советском гражданстве, Граф стал во главе вновь образовавшейся советской колонии. От времени до времени он собирал у себя надому ее членов, и устраивал нечто вроде заседаний, с ведением протоколов. Между тем, в СССР, Хрущев продолжал десталинизировать страну, и приглашал всех русских беженцев, за исключением только тех, кто в последнюю войну дрался на стороне немцев, вернуться на свою Родину. Многие ему поверили.

Моя мать списалась со своими сестрами, благо теперь это стало возможным, узнала, что все они живы и здоровы, что дети работают, а внуки учатся,... и мы решили вернуться в Советский Союз, где я надеялся начать работать по моей специальности. Чтобы привести в исполнение это наше намерение, было необходимо пойти в советское консульство, или посольство, но таковых, в то время, в Марокко не существовало. Я купил билет воздушной компании "Эр-Марок", и в первый раз в жизни, полетел на самолете. В то время полет из Танжера в Париж продолжался четыре часа.

В Париже я остановился в небольшом, но чистеньком и удобном отеле, недалеко от Монпарнасского вокзала. На следующее утро, это было во вторник, я сел в такси, и велел меня везти в советское консульство, находившееся далеко от моего отеля, в семнадцатом парижском округе. Оно помещалось в особняке, вероятно принадлежавшем в прошлом какой-нибудь богатой парижской семье.

Я, с чувством близким к тому, что должен был испытывать блудный сын, возвратившийся под отцовский кров, переступил его порог. Мне повезло: это был приемный день. Консульство бывало открытым для публики всего три раза в неделю, от 9 часов до 12, по вторникам, четвергам и субботам. Меня принял какой-то чиновник, спросил о цели моего визита, и велел мне подождать. Народу в консульстве толпилось очень много. Я осмотрелся: на стенах виднелись разные плакаты, и висел довольно большой портрет Ленина. С приятным чувством я отметил, что изображения Сталина совершенно исчезли. После довольно долгого ожидания, меня принял в своем кабинете, другой, более высокопоставленный чиновник, видимо заведующий делами беженцев, желающих вернуться в СССР. Он долго и внимательно меня расспраши-

вал о моем прошлом. Я, не таясь, рассказал ему, что мой отец отказался вернуться в Советский Союз, и остался в Италии.

— Это не ваша вина, — сказал чиновник, — но почему вы, будучи, в настоящее время, итальянским гражданином, не поехали в Рим, и там не обратились в наше консульство?

Я объяснил ему, что мне было ближе и удобней приехать в Париж.

— Хорошо, — заключил чиновник, — вот анкета: заполните ее и приложите к ней вашу краткую автобиографию.

Я уселся перед большим столом, в соседнем помещении, и исполнил все, что от меня требовали.

Принимая от меня бумаги чиновник сказал:

— Возвращайтесь теперь в Танжер, и ждите там нашего ответа.

Это мне было наруку, так как я взял обратный билет на среду утром. На следующий день, полный радужных надежд, и вспыхнувшей во мне, вновь, любви к стране, в которой я родился, я вернулся домой, и рассказал моей матери об удачной поездке. Мы оба были рады и стали ждать. Недели через две, к нам пришел Граф, никогда дотоле у нас не бывавший, и заявил, что ему сообщили о нашем желании вернуться в Советский Союз. Побеседовав с нами, и похвалив нас, он ушел. Прошло еще недели три. Неожиданно я получил, из советского консульства, несколько странное письмо. Консульство уведомляло меня, что ему требуются еще некоторые подробные сведения обо мне, но которые оно не может доверить почте, и потому просит меня явиться лично, и спросить товарища Х. Я был весьма удивлен, но, несмотря на большие, связанные с такой поездкой, расходы, решил повиноваться.

Снова, во вторник, к десяти часам утра, я переступил порог парижского советского консульства. Там, как и в прошлый раз, толпилось множество русских, желавших вернуться на Родину. Я передал, встретившему меня чиновнику, полученное мною письмо, и попросил свидания с Х. Чиновник ушел, но вскоре вернулся и сказал: "Товарищ Х. на заседании, и сейчас вас принять не может". Я ответил ему, что согласен подождать.

— Пойдите в сквер, что находится против нашего консульства, и ждите там; здесь слишком много народа. Вы зайдете в полдень к закрытию; может он вас и примет.

Я покорно сел на скамью в сквере, и стал терпеливо ждать. Ровно в полдень я вновь явился в консульство.

— Товарищ Х. вас принять сегодня не может; приходите завтра, ровно в восемь часов утра.

— Но, — удивился я, — завтра ведь день не приемный.

— Все равно; приходите завтра, не позже восьми часов утра; вас впустят.

— Послушайте, — возразил я, — у меня обратный билет на завтра, но я его могу продлить; если это необходимо, то я вернусь в приемный день, в четверг.

— Нет, — ответил чиновник, — товарищ Х. вас будет ждать завтра утром, ровно в восемь часов.

Я вернулся в мою гостиницу, лег на кровать, и стал размышлять. Почему Х. не принял меня сегодня? Почему он отказался меня принять в четверг, в приемный день? Почему он мне назначил свидание на час раньше открытия консульства? Ответ напрашивался сам собой: чтобы меня видело как можно меньшее количество людей. Какая тому может быть причина? Зачем консульство меня вызвало в Париж, для личного свидания? Какие такие государственные тайны советское консульство боялось доверить почте? Все это казалось чрезвычайно странным, и мало объяснимым.

И, вдруг, мне стало страшно; вспомнились: Кутепов, Алексеев, Беседовский и многие другие. Я совершенно ясно осознал, что меня, без свидетелей, хотят заполучить в консульство, и, вероятно, не для угощения чашкой чая с русским вареньем. Но почему? Что я сделал? В чем провинился? Я стал думать об этом, и тут мне вспомнилась моя дружба с Абрамом Либерманом, и мои поездки с ним на американскую базу, в Порт Льотэ. Об этом знала племянница Графа, которая, вероятно, играла роль советской шпионки, и донесла своему дяде, а благородный Граф, получив из консульства запрос обо мне, послал туда соответствующий донос. Теперь там решили, что я хочу пробраться в Советский Союз, в качестве американского агента. Шпиономания большевиков мне была хорошо известна. Кого бы удивило исчезновение в огромном Париже, какого-то Филиппа Вейцмана, приехавшего туда по своим делам. Мало ли одиноких путешественников исчезает бесследно. Представьте себе отчаянье и горе моей матери!

На следующий день, рано утром, я уже сидел в самолете, уносившем меня обратно в Танжер. Однако меня мучило сомнение: что ежели моя мать сочтет мой поступок за трусость и малодушие,

и укорит в даром истраченных деньгах. Но когда, по возвращении домой, я рассказал ей обо всем, она испугалась более меня, и велела, с этого дня, прервать с советским консульством всякую переписку.

Так окончилась моя попытка вернуться на Родину, а я уже был полон наивных восторгов, и верил, что наконец, над СССР занялась заря свободы, и все выходцы из России, независимо от их расы, религии, или даже политических убеждений, будут ею приняты, как родные и горячо любимые дети. Какая глупость!

Под влиянием этой моей последней вспышки любви к России, я написал ей довольно длинный и восторженный гимн. Привожу здесь его заключительный куплет:

Славой вечною сияя;
Всех сильней и всех вольней;
Будь защитницей, Родная,
Прав на жизнь и труд людей!

Еще раз скажу: какая глупость!

Впоследствии мне довелось прочесть об одном характерном случае. До Второй мировой войны проживал в Варшаве, в качестве политического беженца, некий бывший деникинский полковник. Как многие из деникинских офицеров, и как сам генерал Деникин, он был горячим патриотом, и страдал за Россию. Во время войны, этот белый офицер, радовался каждой советской победе, и когда Красная армия вошла в Варшаву, он явился в советское командование, заявив о своем желании поступить на какую угодно службу, и быть полезным своему Отечеству, как бы оно ни называлось: Россия или СССР. Его подробно расспросили, и обещали вскоре вызвать. Он ушел счастливым и гордым. Через несколько дней его действительно вызвали... в бюро военного контршпионажа, и, с места в карьер, спросили: когда, и при каких обстоятельствах, он поступил на службу, в качестве шпиона, к врагу, или к одной из западных держав?

— Но, товарищ! — со слезами на глазах, воскликнул бывший полковник Белой армии, — я не шпион! Я только хочу еще послужить России!

— Какой я тебе товарищ, сукин сын! — оборвал его, допрашивающий военный; — твои товарищи в брянских лесах живут, да лапу сосут. Говори: кто тебя к нам подослал?

Короче: полковник был приговорен к десяти годам принудительных работ, и с этой целью сослан куда-то в Сибирь. Позже ему удалось покинуть СССР, и приехать во Францию; но он заклялся быть советским патриотом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: Эпизод с маминым паспортом.

Неудачная попытка вернуться на Родину меня радикально излечила от иллюзий, касающихся "зари свободы"; но мое желание покинуть Танжер еще возросло. Из Парижа я вернулся буквально очарованным этим городом, и признался моей матери, что очень хотел бы в нем жить. Мама улыбнулась:

— Что ж, может быть, ты и устроишься, когда-нибудь, в Париже. Я тебе этого от души желаю.

— Увы! — заметил я ей с грустью, — принимая во внимание мои плохие знания французского языка, мой возраст и прочие затруднения, это мое желание совершенно неосуществимо.

— Если Бог захочет, — возразила она, — ты будешь жить в Париже. Богу все возможно!

Теперь, в моих сонных грезах, я стал видеть, наравне с Москвой и Генуей, Париж. Во всяком случае мое решение еще укрепилось: при первой возможности покинуть Танжер и Марокко, где уже начался процесс деколонизации. Прежде всего надо было приготовить все нужные бумаги, но у моей матери не оказалось паспорта.

Для выезда из Италии, в 1939 году, генуэзская квестура выдала каждому из нас международный паспорт, типа Нансен, на право въезда, конечно, при наличии соответствующей визы, в любую страну мира. Этот паспорт, напечатанный на одном листе бумаги, имел силу на год, и не подлежавший продлению. В Танжере, от местной полиции, мы все получили свидетельство личности, годное только в пределах этого города. После моего восстановления в итальянском гражданстве, консульство мне выдало паспорт, с которым я мог ездить по всему миру, но моя мать, в случае необходимости, не имела никакой возможности покинуть Танжер. Мне сказали, что международный паспорт, для беженцев, потерявших свою национальность, можно получить в Мендубии (нечто вроде губернского управления, возглавляемого Мендубом, наместником Султана). Я пошел туда. Почти все чиновники, служившие в Мендубии, были французами. Меня принял один из

них, заведовавший выдачей международных паспортов. "Для получения такого документа, — объявил он мне, — ваша матушка должна заполнить специальную анкету, приложить к ней три фотографии и паспорт, с которым она приехала в Танжер".

Я взял анкетный лист, и дня через два вернулся с ним, заполненным и подписанным моей матерью, вместе с тремя фотографиями и международным паспортом, выданным ей в Генуе. Чиновник их все просмотрел; положил в ящик своего письменного стола, и велел мне наведаться через месяц. В назначенный день я вновь пришел в Мендубию, надеясь получить мамин паспорт. К моему удивлению и разочарованию, заведующий отделом международных паспортов уехал отдыхать во Францию, а заменявший его помощник ничего, без него, сделать не мог. "Вам придется вернуться еще раз, месяца через два", — заявил он мне.

Делать было нечего: приходилось ждать. Ровно через два месяца я снова пришел в Мендубию. Заведующий отделом паспортов, действительно, вернулся из Франции, и сидел в своем кресле. Вежливо поздоровавшись с ним, я спросил его: готов ли мамин паспорт? Чиновник удивленно посмотрел на меня:

— Какой паспорт? Кто вы такой? Ничего не понимаю, и не понимаю о чем вы говорите. Вы хотите получить для вашей матушки международный паспорт на предмет выезда из Танжера? Заполните анкету; приложите к ней... и т. д.

Он мне повторил все, что им было сказано три месяца тому назад.

— Но у моей матери больше нет паспорта, с которым она приехала в Танжер: он остался у вас.

— У меня его нет, и никогда не было, да и вас я вижу в первый раз. Если вы не сможете мне доставить паспорт, с которым ваша матушка приехала в Танжер, я не смогу удовлетворить вашу просьбу. До свидания.

Я ушел чуть не плача.

Прошло около года. Однажды, сидя в "Парижской" кофейне, и беседуя, за чашкой кофе, с одним из беженцев, я рассказал ему историю маминого паспорта.

— Сходите вновь в Мендубию, там, по моим сведениям, произошли большие перемены, — посоветовал он мне.

Я пошел. В хорошо знакомом мне кабинете, на месте прежнего чиновника, сидел другой француз. Я объяснил ему мое дело.

— Чего вы, собственно, добиваетесь? Паспорта для вашей ма-

тушки? У нее, конечно, имеется свидетельство личности, выданное ей местной полицией. Принесите мне его, вместе с заполненной анкетой и тремя фотографическими карточками. Вот и все.

Назавтра я уже был у него со всеми требуемыми документами.

— Когда можно будет прийти за паспортом? — робко спросил я его.

— Дней через пять, — последовал неожиданный ответ.

Действительно, через пять дней мама получила свой паспорт. Увы! Ей никогда не суждено было использовать его для выезда из Танжера.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: Мои поэтические досуги.

Оставим на некоторое время чиновников всех национальностей, и разных людишек с их подлостью и злобой.

Сегодня у меня свободный день. Я сижу в моей излюбленной "Парижской" кофейне, и медленно пью крепкий кофе. "Кофе черный как ночь, горячий как любовь, сладкий как месть", якобы говорят арабы. Вокруг меня расселись за столиками такие же как я завсегдатаи кофейни, и туристы. Разговоры между ними ведутся на десятке различных языков, и сливаются в монотонный шум, не мешающий думать и мечтать.

К моему столику, на стоящий рядом свободный стул, застенчиво подсаживается, невидимая ни для кого, кроме меня, моя скромная муза. Ее приход меня и радует, и, немного тревожит. Она ласково глядит на меня, но настойчиво подсовывает мне лист бумаги, и вкладывает в мою руку перо. Приходится повиноваться. Я тяжело вздыхаю, оставляю недопитую чашку кофе, и начинаю писать. Конечно, я мог бы ее не послушаться, и продолжать спокойно сидеть, предаваясь сладкому ничегонеделанию, и разглядывать проходящие мимо меня толпы туристов, среди которых, нередко, мелькают весьма красивые женские лица и фигуры. Я устал от работы в лицее; да и что это за тирания! Ни ей, моей музе, поручили ежедневно объяснять, непослушным и невнимательным ученикам, начатки математики, и не она должна исправлять их письменные работы. Но я знаю, мое неповиновение ее рассердит и обидит, а у меня, здесь, кроме нее нет другой подруги. Нечего делать: я начинаю писать, а она, склонившись к моему плечу, нашептывает мне слова, размеры и рифмы.

Помещая в этой главе некоторые мои стихи, я только стараюсь нарисовать неверный портрет моей верной подруги, делившей со мной грусть танжерского изгнания. Большинство моих стихотворений потеряно, и я привожу здесь только несколько их образцов.

ВЕРЮ!

За что я люблю нашу жизнь, нашу землю?
За что я и радость, и горе приемлю,
Как Божий и благостный дар?

За что: средь борьбы, средь тоски, средь страданий,
Средь стольких несбывшихся светлых желаний,
Не гаснет молитвенный жар?

За солнце, за песню, за алую розу,
За миг вдохновенья, за малую дозу
Таланта, за пламя в крови,
За юность, что пляшет в дворцах и в подвалах,
За искру веселья в граненых бокалах,
За горе и радость любви.

МОЛИТВА

Молю Тебя: прости нас, Боже,
Что грешны мы, что плоть нам враг,
Что жизнь земная нам дороже
Всех райских кущ, всех райских благ.

Твою мы мудрость прославляем;
К Тебе, Отец, наш дух стремим;
За все Тебя благославляем;
За все Тебя благодарим:

За жизнь — мгновения короче;
За рой святых, туманных грез;
За искру света в мраке ночи;
За каплю счастья в море слез.

ПЕРВОЕ МАЯ

Дни длиннее; прилетает
Сонм крикливый птичьих стай.
Полный жизни наступает
Лучезарный, яркий май.

В этот лучший месяц года,
Пробудившись ото сна,
Жизнью полнится природа...
Здравствуй, новая весна!

Подымаются посевы;
Горячее в венах кровь,
И сильнее в сердце девы
Разгорается любовь.

В первомайский день весенний
Мы прославим мирный труд;
Для грядущих поколений
Годы светлые придут.

Славься, день веселый мая!
Сгинь, сомненье! прочь, нужда!
Пойте, братья, восхваляя
Мощь и радости труда!

Сын свободного народа,
Руку ты рабу подай.
Да сияет всем свобода
В вешний праздник — Первомай!

У моей матери, как я уже говорил выше, в Танжере имелась большая приятельница, одна русская, православная дама, Вера Порфирьевна Вальс. Она была только несколькими годами моложе мамы. Я очень любил и уважал эту старушку, а она, зная мое пристрастие к сочинению стихов, просила иногда написать ей что-нибудь. Однажды, по случаю дня ее Ангела, я ей преподнес следующие стихи:

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

В трудах, в скорбях,... и так от века,
Пока струится в сердце кровь,
Отрадой служат человеку:
Надежда, Вера и Любовь.

Святая Мудрость, правя светом,
Нам волю Вышнюю творя,
Жить указала в мире этом:
Надеясь, веря и любя.

У Веры Порфирьевны висела на стене гравюра русского художника, имя которого я забыл: "Бабушкин сад". На ней изображалась аллея сада, вдали виднелся одноэтажный дом с колоннами, а по аллее шла старушка — помещица в сопровождении ее молодой внучки. Вера Порфирьевна очень любила эту гравюру.

Однажды я написал ей следующие стихи:

БАБУШКИН САД

Этот милый пейзаж, на старинной картине,
Вызывает виденья, мечты о былом,
И рисуется мне: средь привольной равнины
Древней барской усадьбы, белеющий дом.

Здесь неведомы бури, неведомо горе;
Лишь слегка шелестя, и струя аромат,
Перед домом растет, на широком просторе,
Мирной жизни приют — старый бабушкин сад.

Зной июльский, усталая дремлет равнина;
Но в тенистом саду так приятно мечтать...
Слышен гравия скрип, слышен шум кринолина:
Это бабушка с внучкой пошли погулять.

Опираясь на палку дрожащей рукою:
Седовласа, спокойна, важна и добра,
Она медленно ходит неровной стопою,
А кругом все: деревья, цветы, тишина.

Рядом с бабушкой — внучка, вся в розово-белом,
Будто вешняя яблоня в цвете своем;
С взглядом ясным, веселым, невинно-несмелым:
Это шествует юность в сиянье святом.

Ночь настала, усадьба спокойно уснула,
Дремлет мирно старушка, и слуги все спят;
В лунном мареве тихая степь утонула;
Звезды яркие в небе глубоком горят.

Но не спится лишь деве, тихонько присела
У открытого настежь большого окна,
И на крыльях мечты далеко улетела
В царство девственных грез, романтичного сна.

Трель в саду соловья; эта милая дева;
Полный лунного света и звезд небосклон
Суть отрывки мотивов былого напева,
И рассеянный жизнью тургеневский сон.

"Разрешите взять у вас этот стул, если он не занят". Я вздрогнул и поднял голову: около меня стоял какой-то незнакомый турист. Пекло африканское солнце, и по-прежнему вокруг меня шумела многоязычная, космополитная толпа.

"Пожалуйста, возьмите, — ответил я учтиво, — стул не занят".

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: Сказки и легенды полицейского комиссара.

Пять часов пополудни; жара начинает спадать. Мы с мамой сидим за столиком, на террасе "Парижской" кофейни, и пьем зеленый чай с мятой. Мама беседует с сидящей за соседним столиком одной из своих приятельниц — беженок, а я, скучая, разглядываю по моему обыкновению проходящих мимо многочисленных туристов. Рядом со мной за другой свободный столик, садится "высокий и седеющий эффенди", араб, старший комиссар местной полиции. Ему около пятидесяти лет; он высок, строен и с сединой на висках. Весь вид его серьезен, и несколько строг. Он тоже заказывает себе стакан арабского чая, и, внезапно, обращаясь ко мне, говорит:

— Смотрю я на вас, и мое сердце радуется: почти все ваше свободное время вы проводите в компании вашей старушки-матери. Это очень похвально. Разрешите представиться.

Он назвал себя, а я себя. Мы разговорились.

— Знаете ли вы, что сказано у нас в Коране: — Ключи от рая лежат под ногой твоей матери; — и еще: для того чтобы попасть в рай нужно исполнить три завета: первый — "Чти мать свою", второй — "Чти мать свою", третий: "Чти отца своего". — Нет на земле для человека никого, кто был бы святей его матери. Если вам будет не скучно, то я вам расскажу старинную арабскую легенду.

Я поспешил заверить его, что, напротив, мне это будет очень приятно и интересно, и он начал:

— Однажды, много веков назад, в горах, по узкой тропинке, вьющейся по их склонам, шли трое, уже немолодых, путников. Справа от них зиял провал, и в нем, на страшной глубине, шумел горный ручей; слева возвышались отвесные скалы. Внезапно разразилась ужасная гроза. Дождь так и хлестал, ветер выл, как стая голодных волков, а ослепительная молния, сопровождаемая оглушительными раскатами грома, сверкала почти беспрерывно. Несчастные путники, перепуганные и промокшие до костей, напрасно искали себе убежища от непогоды. Наконец они увидали в скале глубокую пещеру, и забрались в нее. В ней ни дождь, ни ветер их не доставал, и они решили там терпеливо переждать грозу, а потом двинуться в дальшейший путь. Но велик Аллах! и да святится имя Его! не то было написано для них в книге судеб.

Внезапно, к грохоту грома прибавился еще какой-то подземный гул, земля затряслась, скалы зашатались, и огромная гранитная глыба, сорвавшаяся откуда-то сверху, упав, заслонила собой вход в пещеру. Она была такой формы, что вошла полностью в отверстие, ведущее из тропинки в убежище путников, и закрыло его герметически. Ни свет, ни воздух не проникали больше в него. Все трое бросились к глыбе, стараясь сдвинуть ее; но она была таких размеров, и такой тяжести, что если бы, вместо трех пожилых и усталых людей, там оказались триста молодых и сильных парней, то и они навряд ли сдвинули бы ее хотя бы на волос. "Мы пропали", — резюмировал положение один из них. "Да, — согласился второй, — здесь без воздуха и света, мы долго не проживем. Нам остается только приготовиться к смерти". "Нет, — возразил

третий, — умирать еще рано; Аллах всесилен: будем молить его о спасении. Давайте припоминать, друзья, может быть каждый из нас сделал в своей жизни хотя бы одно доброе дело. Начну хоть я:

В дни моей уже далекой молодости, я был полон буйных страстей, и не всегда вел себя хорошо. У меня была двоюродная сестра, в которую я влюбился, но она любила другого, молодого богатого и красивого человека, к тому же знатного рода. Ее родители прочили выдать ее за него. Однажды я заболел; у меня сделалась легкая лихорадка. Так как я был одинок, а Мина, так звали мою двоюродную сестру, была доброй девушкой, то она каждый день приходила ко мне ухаживать за мной во время моей болезни. В одно утро я, проснувшись, почувствовал себя совершенно здоровым, но решил притвориться еще больным, и когда она пришла, то слабым голосом попросил ее дать мне стакан молока. Она принесла его мне, но только что поднесла стакан к моим губам, как я вскочил, повалил Мину на кровать, с целью удовлетворить мою к ней страсть. Она взмолилась: "Ахмет, именем Всевышнего, оставь меня: если ты лишишь меня девственности, то мой жених, которого я так люблю, ни за что не женится на мне, и я погибну". Она начала плакать,... и я не тронул ее".

Только, что он окончил свой рассказ, как снова послышался подземный гул, закачались скалы, и гранитная глыба слегка сдвинулась с места, пропуская в пещеру малую струйку воздуха.

— Теперь мы не задохнемся! — воскликнули все трое хором; но их радость не была продолжительной; очень скоро они поняли, что это только отсрочка, так как, через образовавшуюся щель, не проникал даже дневной свет.

— Может кто из вас сделал доброе дело? — спросил рассказчик. — Аллах нас слышит; припоминайте поскорей.

— Я, — сказал второй спутник. — Несколько лет тому назад, так же, как теперь, я шел по дороге, и так же, как теперь, лил сильный дождь. Я был хорошо одет, и на мои плечи был накинут теплый плащ. Путь мой был дальний, и одна из моих жен дала мне в дорогу кусок жареного барашка и довольно большой ломоть хлеба. На повороте тропинки мне встретился старый нищий, одетый в рубища, и дрожавший от холода. При виде меня он стал умолять, жалобным голосом, дать ему что-нибудь поесть. Со вчерашнего дня у бедняги не было во рту крошки хлеба. Я пожалел его: отдал ему всю жареную баранину и весь хлеб, оставив

себе самую малость, а затем, сняв с себя теплый плащ, покрыл им плечи старика, и дав ему еще немного денег, пошел своей дорогой.

Только, что окончил путник свой рассказ, как, вновь, загудело в недрах земли, закачались скалы, и гранитная глыба сдвинулась настолько, что дневной свет стал свободно проникать внутрь пещеры, и можно было видеть, через образовавшуюся широкую щель, небо, далекие горы, с парящими над их вершинами орлами, и тропинку, по которой они пришли сюда. Буря окончилась, и сияло солнце, но там где свободно проходил воздух и свет, наши путники пролезть не могли.

— Нет, — сказал второй рассказчик, — все доброе, совершенное нами в течение нашей жизни, недостаточно, и если наш товарищ не совершил в своей жизни чего-нибудь действительно достойного, то мы все трое, несмотря на воздух и свет, обречены погибнуть в этой дыре от голода, жажды и холода.

Третий путник задумался:

— О, братья мои! Как я был бы счастлив если бы мог вас обнадежить; но, увы! ничего доброго я не сделал, во всю мою долгую и грешную жизнь. Постойте, однако, я расскажу вам про один мой поступок, впрочем очень обыкновенный. Я человек одинокий, не женатый, и до самой ее смерти, жил с моей престарелой матерью. Однажды, после очень утомительного дня, вернувшись домой и сев на ковер, я воскликнул: слава Аллаху! Я устал и проголодался, но теперь смогу спокойно поесть и отдохнуть. Не успел замолкнуть звук моего голоса, как в комнату вошла моя мать и сказала: "Магомет, мой сын, я больна, и меня мучает жажда, а свежей воды в доме нет. Возьми кувшин и принеси мне ее". Несмотря на мою сильную усталость, я встал с ковра, взял кувшин и вышел из дому. Ближайший колодец отстоял от дома в получасе ходьбы. Уже наступила ночь. Я один брел во мраке, спотыкаясь от усталости, глядел на частые звезды, и молил Аллаха дать мне силы принести моей матери, не расплескав, полный кувшин воды. Через час я был уже дома, отдал ей кувшин, и свалился на ковер. Ноги меня больше не держали. Моя мать начала пить, но поморщилась и сказала: "Вода невкусная, я знаю этот колодец — он нечистый. Мне очень хочется испить ключевой воды, что бьет из Большого Камня. Пойди, мой сын, зачерпни из него, принеси мне полный кувшин". Я, с огромным трудом, поднялся с ковра, и вновь вышел на дорогу. Ночь была глубокая и холодная. Не знаю, как я

шел, но идя читал все время стихи из Корана. Через два часа я вернулся домой, отдал полный кувшин моей больной матери, и свалившись на ковер, заснул.

Знаю, что мой рассказ ничего особенного не представляет — всякий сын сделал бы тоже самое для своей матери; но я никакого хорошего поступка, в моей грешной жизни, не нашел. Простите меня.

Страшный подземный гул прокатился под горами, и они закачались. Камни попадали с их вершин, и огромная гранитная глыба, заслонявшая вход в пещеру, была сброшена в пропасть, как перышко подхваченное ветром, по другую сторону тропинки. Выход из нее был свободен".

— Да, — заключил, с важным видом, полицейский комиссар, — теперь я вам предсказываю, что вы еще будете, в вашей жизни, счастливы и богаты.

Я поблагодарил его, и на этом, в тот вечер, наш разговор окончился.

— Добрый день! — приветствовал меня полицейский комиссар. — Присаживайтесь, пожалуйста, к моему столику — я хочу поговорить с вами об одном деле. Хотите чаю?

Я шел мимо кофейни, а он сидел на террасе, и медленно пил свой зеленый чай с мятой. Я подсел к нему.

— У меня есть сын, ему пятнадцать лет, и он учится во французском лицее. В этом году он должен был перейти из первого во второй класс, но не выдержал экзамена по математике. Ему дали переэкзаменовку на осень. Я был бы вам благодарен если бы вы взялись подготовить его по этой материи.

Я согласился, и мы быстро договорились с ним об условиях. Окончив деловой разговор он замолчал, но, видимо, ему хотелось еще немного побеседовать со мной. Надо было помочь комиссару.

— Вы знаете, — сказал я ему, — рассказанная вами в прошлый раз легенда, очень поразила мое воображение. В каждой сказке есть доля правды.

— Вот именно, — одобрил он мои слова, — в каждой легенде есть доля истины; но сегодня я вспомнил об одном реальном происшествии, почерпнутым мной из моей полицейской практики. Если хотите, то я вам его расскажу.

— Пожалуйста, — обрадовался я; — у меня еще имеется целый час свободного времени, и мне будет приятно вас снова послушать.

Видимо мои слова ему польстили, но он не изменил своего невозмутимого и серьезного вида.

— Я родом из Феца, — так начал он свое повествование. — Когда мне было десять лет, моя семья жила на окраине этого красивого города. Наш домик стоял в тихом переулке, населенном, главным образом, скромными огородниками, выращивавшими, на небольших клочках земли, овощи и фрукты, которые они продавали на местном рынке.

Однажды, слоняясь по улице, я услыхал крики и плач. Как и все дети моего возраста, я был любопытен, и пошел поглядеть на причину шума. На одном из огородов мирно трудился уже седобородый человек, а его сын, двадцатипятилетний парень, стоял невдалеке, курил папиросу, и глядел на трудящегося отца, ничем ему не помогая. В конце концов усталый старик рассердился, и приказал лентяю взять в руки лопату, и вместе с ним приняться за дело; но сын в ответ только рассмеялся, и продолжал, дымя папиросой, праздно глядеть на отцовский труд. Разгневанный отец подошел к бездельнику, укоряя его в лени и непослушании, и насильно сунул ему в руку лопату; но тот отбросил ее от себя, и грубо обругал отца. В ответ на оскорбление, старик ударил сына по щеке, а молодой человек, в свою очередь, ударил родителя кулаком в лицо. Потекла кровь. На крики отца пришла старушка-мать, и начала плакать. Собрался народ. В это время прибежал и я. Мне представилась следующая картина: по середине огорода сидел на земле старик, и плача вытирал струившуюся по его лицу и седой бороде, кровь. Рядом с ним сидела, причитая, его жена. В собравшейся толпе кричали и угрожали сыну, который, между тем, продолжал спокойно стоять в стороне, как если бы все происходившее его нисколько не касалось. Наконец несколько мужчин из толпы двинулись к нему, пытаясь его схватить и отвести к судье, но он вырвался и убежал. Чем кончилось это происшествие, я не знаю.

С тех пор прошло немало лет. Старики умерли, а молодые люди состарились. Я сам, из десятилетнего любопытного парнишки, превратился в пожилого полицейского комиссара. Однажды, когда я сидел в моем рабочем кабинете, мне доложили, что ко мне пришел с жалобой какой-то старик. Я приказал его впустить. Вошел белобородый старец. Правая рука его была забинтована и подвязана, а на лбу виднелась свежая царапина. Я указал ему на стул, и с участием спросил его о случившемся. Он подал мне пись-

менную жалобу, и, плача, рассказал мне, что его единственный сын, в споре из-за денег, избил его, и сломал ему руку.

Что-то далекое, почти забытое, всплыло в моей памяти: я смутно увидел, на окраине моего родного города, по которой я бегал в детстве в компании моих товарищей, огороды и скромный домик моих родителей. Я начал внимательно вглядываться в жалобщика, черты которого, несмотря на прошедшие годы, мне показались знакомыми.

— Скажи мне, пожалуйста, ты ведь родом, как и я, из Феца? Не жил ли ты...? — я назвал улицу.

— Да, — удивился старик, — это верно; но откуда ты меня знаешь?

— Твой отец, — продолжал я, не отвечая на его вопрос, — имел на этой улице свой огород?

— Имел, верно.

— А помнишь ли как ты, однажды, не хотел ему помочь в работе, и когда он пытался заставить тебя взяться за дело, ты ударил его кулаком в лицо?

Жалобщик побледнел.

— Откуда ты знаешь все это? Ты, верно, колдун.

— Я не колдун; но в детстве мне пришлось присутствовать при этом, мне было тогда всего десять лет. А теперь слушай, что я тебе скажу: сегодня сам Аллах, да святится имя Его! наказал тебя рукою твоего собственного сына. — С этими словами я взял его жалобу и порвал ее.

— Ты не смеешь так поступать! Ты теперь полицейский комиссар, и должен наказать моего сына, как он того заслуживает.

Тут я вскочил с моего места:

— Вон отсюда, негодяй! Если ты будешь настаивать на аресте твоего сына, то я арестую вас обоих.

— А меня за что?

— Об этом не беспокойся: причины найдутся.

Он испугался и ушел. Больше я его никогда не встречал; но это Божье наказание, поразившее, после стольких лет, недостойного сына, еще при его жизни, мне осталось памятным навсегда.

Я поблагодарил комиссара за его рассказ, извинился перед ним, что должен спешить на урок, и покинул кофейню.

Добавлю, что сына его мне удалось подготовить по математике, к осенним экзаменам, и он благополучно перешел в следующий класс французского лицея.

"Карьера полицейского чиновника должна быть очень интересной, — заметил я, однажды, моему знакомому комиссару. — Скольким необыкновенным, а иногда и трагическим происшествиям, вы, вероятно, были свидетелем".

— Всякое ремесло интересно тому кто его любит, — поучительно ответил он мне; — но, действительно, я немало видел странного и оригинального: например, однажды, мне, с двумя моими подчиненными, пришлось вмешаться на улице в драку, или, точнее сказать, в избиение. Два человека сильно поспорили, как позже оказалось, из-за пустяков; но оба ссорящихся быстро перешли от слов к делу. Один из дерущихся был высоким мужчиной, бычьей шеей, и с мускулами портового грузчика; а второй, напротив, был худеньким человечком, ростом не свыше одного метра шестидесяти. Очень скоро этот последний оказался лежащим на земле, а его противник, с пеной у рта, сидя на нем, безжалостно избивал его.

Когда мы подоспели, несчастный был весь в крови, и уже почти не сопротивлялся; но это обстоятельство, казалось, еще больше разжигало ярость нападающего, наносившего своей жертве удары по чем ни попало. Я уверен, что если бы мы тогда не подошли, то маленький человечек умер бы под кулаками своего врага. Нам, с великим трудом, удалось оттащить рассвирепевшего буяна от его бессильной жертвы, и я вызвал "скорую помощь", так как пострадавший был сильно избит, и довольно серьезно ранен, тогда как его истязатель не был даже поцарапан. Но не успел автомобиль "скорой помощи" прибыть на место происшествия, как буйный силач, которого мои два помощника, тоже не слабые парни, едва удерживали на месте, вдруг как-то обмяк, и бессильно повис у них на руках. Полные удивления мы положили его на землю, и пытались привести его в чувство, но он не приходил в себя, и прибывшему врачу осталось только констатировать его смерть. Недели через две, тот кто был жертвой избиения, выписался из больницы совершенно здоровым, в то время как богатырь, избивавший его столь жестоко, был уже давно зарыт в землю. Врач объяснил, что этот последний страдал болезнью сердца, и сильное волнение убило его. Как бы там ни было, но, для всех нас, такой исход этой драки был очень неожиданным.

— Да, — заметил я глубокомысленно, главным образом для поддержания разговора, — никто не может знать часа своей смерти.

— Никто, — подтвердил комиссар, — час смерти написан в книге судеб, и человек неволен ни приблизить его, ни отдалить.

Он замолчал и задумался, а мне вспомнился "Фаталист" Лермонтова. После недолгого молчания комиссар вновь заговорил:

— У нас есть такая легенда. Однажды Аллах, да святится имя Его! скорбя о нашей неправедной жизни, решил открыть всем людям час их смерти, дабы, зная его, они меньше грешили. Так Он и сделал, и с этого дня никто больше не совершал неправедных дел, ибо всякий считал часы, остающиеся ему до страшной минуты, когда он должен будет предстать пред Вечным Судьей. Тогда Шайтан явился к Аллаху, и пав ниц перед троном Его, сказал: "О, Творец, в великой мудрости Твоей Ты создал меня и наградил бессмертием; но на что я могу теперь быть Тебе годным? Люди более не слушаются меня, и не грешат". "Прав ты, Шайтан, — молвил Предвечный, — они тебя не слушают только потому что ими всеми теперь правит страх. Как я отличу, отныне, достойных от недостойных? — И Он вновь, и теперь уже навсегда, скрыл от нас день и час нашей кончины".

Не всякому, как мне, удалось, в своей жизни, беседовать с подобным полицейским комиссаром.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: Англичанка и испанка.

В середине пятидесятых годов страх перед призраком полного одиночества все усиливал во мне желание найти для себя подругу жизни, и создать, наконец, собственную семью. Этой моей навязчивой идее очень способствовала моя мать, которая, теперь, по нескольку раз в день, повторяла мне, и всем нашим знакомым, что ее жизнь уже "на донышке". Она любила цитировать слова своего отца: "Молодые люди могут умереть, а старики должны умереть". Ее пугала, больше своей собственной смерти, мысль оставить меня одиноким на этой огромной земле. Она знала, лучше чем кто-либо, до какой степени я был привычен к домашнему уюту, и мою принадлежность к тому типу мужчин, которые, по словам Жаботинского: "Не были способны, без помощи женщины, пришить обыкновенную пуговицу к своей рубахе".

Как-то раз я сказал моей матери:

— На ком, в моем возрасте, в сорок с лишним лет, я могу жениться: на молодой девушке, лет на двадцать моложе меня? на

старой деве, обозленной на весь мир, и, в особенности, на мужчин? на незамужней женщине с богатым прошлым? на разводке?

— На вдове соответствующего возраста, — ответила она мне.

Однажды, сидя в нашей излюбленной кофейне, мы случайно познакомились с одним, уже немолодым, израильтянином. Узнав, что наша фамилия Вейцман, он нам сказал:

— Знаете ли вы, что ваше имя звучит в Израиле, как имя династии в каком-нибудь королевстве?

Когда моя мать, по своему обыкновению, пожаловалась ему, что я не нахожу себе жены, он серьезно ответил:

— Мне удалось достаточно хорошо узнать Танжер и его население; здесь Вейцману жениться не на ком.

Такое его заявление приятно пощекотало наше самолюбие, но ставшего перед нами жизненного вопроса отнюдь не разрешило.

Было начало июня 1956 года. В итальянском лицее шли экзамены, но у меня уже прибавилось много свободного времени.

В один из теплых танжерских июньских дней, сидя в кофейне, мы с мамой заметили двух женщин, одну уже весьма пожилую, а другую еще довольно молодую и свежую, голубоглазую шатенку, вероятно ее дочь. Прошло несколько дней. Каждый раз когда мы садились за столик на террасе кофейни, мы встречались глазами с этими дамами. Так продолжалось пока, однажды, наши столики оказались рядом, и мы заговорили. Они были англичанками, и как мы предполагали, матерью и дочерью. Обе дамы объяснялись довольно бегло по-французски, и рассказали нам, что каждую весну уезжают на пару месяцев из Англии, и путешествуют. В этом году они посетили Грецию, потом Марокко, и теперь из Танжера через Гибралтар возвращаются в Англию. Дней через десять они надеются быть уже дома. Они нам сознались, что все время смотрели на нас, и мы им показались очень симпатичными. Мать, женщина весьма болезненного вида, была вдовой пастора какой-то крайней протестантской секты. Видимо, эти женщины были людьми зажиточными, и проживали в собственном особняке, в маленьком городке западной Великобритании, где-то вблизи границы Уэльса. Дочь не была замужем, в свое время окончила Оксфорд, и теперь занимала пост начальницы одной из воскресных школ. Мы скоро заметили, что обе леди, вероятно следуя законам их секты, не брали в рот ничего спиртного и не курили. Я быстро подружился с Кэт, так звали дочь. Разговаривали мы

с нею по-французски, и надо правду сказать, она владела этим языком много лучше меня. Через пару дней мы уже перешли с нею на ты. Наши матери тоже видимо симпатизировали друг другу, и все эти дни были, как и мы с Кэт, неразлучны. Вероятно, если бы не постоянное присутствие наших матерей, слишком короткий срок оставшийся до их отъезда, а главное, несмотря на мой возраст, моя неисправимая наивность в сердечных делах, наша с Кэт близость стала бы еще интимней. Во всяком случае я влюбился, как двадцатилетний юноша, хотя мне тогда было уже сорок четыре года. Кэт, как мне это удалось случайно узнать из ее паспорта, который она неосторожно открыла в моем присутствии, было ровно сорок лет.

Неделя прошла очень быстро. Только раз, оставшись случайно вдвоем, без свидетелей, в одном укромном уголке, мне удалось обнять ее и страстно поцеловать в губы, и она ответила мне таким же поцелуем, и не оттолкнула моей дерзостной руки. Увы! Ни место, ни время не были подходящими, да и матери наши ожидали нас за столиком все той же кофейни.

Настал день расставания. Я пошел провожать их на пароход, идущий в Гибралтар; оттуда, на следующий день, они улетали в Лондон. Я поднялся на палубу, и там мы с Кэт любовно ворковали с полчаса. Мы обещали переписываться; она должна была прислать мне открытку из Гибралтара, а через год, если все будет благополучно, вновь приехать в Танжер, а потом... У нас еще может быть много счастливых лет впереди.

За несколько минут до того, как всем провожавшим было предложено сойти на берег, мы обнялись, тесно прижались друг к другу, совершенно не обращая внимания на окружавших нас других пассажиров, и долго не отрывали губы от губ. Нет, Кэт не была холодной женщиной! Я сошел с парохода, и долго махал рукой, смотря на уплывавшую подругу, сделавшуюся мне сразу такой близкой и дорогой.

Прошло дня три; я был уверен в скором получении от той, которую я уже считал моей невестой, обещанной открытки, но она не приходила. Прошла неделя, прошла другая, и для меня стало ясно, что моя Кэт писать мне не собирается. Но у меня остался ее адрес, и я послал ей письмо полное упреков. Такие письма, вероятно, писали в прошлом веке соблазненные и покинутые девы своим непостоянным и коварным любовникам. Через нормальный срок я получил ответное письмо. Кэт в нем уверяла,

что она меня продолжает все так же любить, но из Гибралтара мне не писала, так как на целое письмо у нее не было времени, да и писать еще было нечего, а простой открытки она мне не прислала, боясь, что ее любовные излияния будут читать все желающие. Правда, что такую открытку можно было послать в конверте; но она, по ее собственным словам, по глупости, сделать этого не догадалась. Дальше шли нежные фразы, и клятвенные заверения в страстной любви. В общем, мы поменялись ролями. Я ей ответил, что люблю ее, и считаю, как мы и решили при расставании, своею невестой.

Переписывались мы по-французски, и так как письма были весьма длинные, а наши знания этого прекрасного языка весьма короткие, то составлялись они при помощи словаря, лежащего с одной стороны, и французской грамматики, с другой. На мое второе любовное письмо она мне ответила с обратной почтой, что получила оное в Лондоне, куда отправилась делать кое-какие закупки в больших магазинах, и куда его ей переслала мать. Не желая заставлять меня ожидать ответа до ее возвращения домой, и несмотря на отсутствие под рукой словаря и других необходимых пособий, она "смело бросается в пучину французского языка, и плывет к далекому берегу". Далее, оставив в стороне ее, впрочем, очень милый британский юмор, она мне сообщила, что хорошо продумала о возможности нашего брака, и пришла к следующему заключению: три серьезные затруднения препятствуют нам к вступлению в него:

1. Разность наших религий. Люди, такие как мы, развитые и культурные, так продолжала она, это первое препятствие могут преодолеть, конечно, при наличии любви, взаимного уважения и веротерпимости.

2. Наше будущее местожительство. Так как я не англичанин, и не знаю языка, то, по ее мнению, в Англии мне делать нечего, а ей жить в Танжере не хочется, да и для ее матери покинуть их дом, их город, их страну, будет очень трудно. Тут она перешла к третьему, и по ее мнению, главному препятствию:

3. Наличие наших матерей. В результате всего вышесказанного Кэт заключает, что пока жива ее мать, следует читать, наши обе матери, она за меня выйти замуж не может. Однако, после ее (их) смерти, мы сможем, вновь, вернуться к этому вопросу, и может быть, по ее собственному выражению: "Мы еще вкусим сладости Гименея".

Это длинное письмо она окончила предложением считать ее, если мне это приятно, моей невестой; но при условии, что мы оба не связываем друг друга ни обещаниями, ни сроками, и остаемся совершенно свободными.

Теперь, вспоминая всю эту переписку, мне делается смешно; но тогда, увы, мне было не до смеха. Однако, наша любовь "по корреспонденции" продолжалась.

В июле вспыхнула вторая израильско-арабская война, вошедшая в историю под именем войны за Суэцкий канал. Кэт мне написала, что эти события ее очень тревожат, и она не знает что думать: мудрость ли, подобный акт со стороны Идена или безумие? Все ее письма, надо сказать, были очень милыми,.. но и только. В начале осени, Кэт поздравила меня с праздником Рош Ашана, и со вступлением в субботний год. Сознаюсь, что эта дочь протестантского пастора, была осведомлена, в вопросах моей религии, лучше меня.

В одном из своих писем она, между прочим, сообщала мне, что в будущем году не приедет в Танжер, и когда мы снова сможем свидеться она не знает. Наконец я понял (но сколько же времени мне на это понадобилось!), что дальнейшая переписка с моею Кэт, беспредметна, и просто глупа. На одно из ее наиболее пустых писем, в котором она мне подробно описывала свое паломничество к месту ее рождения, туда где она провела свои детские годы, катаясь перед домом на трицикле, я не ответил. По прошествии довольно долгого срока, я получил от нее еще одно письмо, в котором она писала, что хотя ей и очень приятно получать мою милую почтовую прозу; но, что если я не хочу больше продолжать нашу переписку, то и не надо. Она даже не поинтересовалась о причине моего молчания, которое могло бы быть вызвано, например, здоровьем моей матери. На этом наши отношения прервались, и я навсегда потерял из виду Кэт.

В начале весны 1957 года, у нас в доме умерла жилица, Софья Осиповна Болдини. Мама с ней была дружна. О ее смерти я расскажу позже. Это событие сильно поразило мою мать, а мой роман с Кэт еще больше навеял тоску и страх на ее старенькое сердце. Так бывает, если в комнате, полной сгустившихся вечерних сумерек, кто-нибудь зажжет на минуту свет, а потом его вновь погасит; сумерки тогда покажутся еще более густыми. Теперь одна

и та же проклятая мысль, денно и ношно мучила мою мать: что будет со мной когда ее не станет?

Среди дам, с которыми мы, сидя в кофейне, свели знакомство, была некая танжерская еврейка, замужем за немцем, мадам Миллер. Она встречалась с мамой почти ежедневно, и подробно знала историю моей любви к Кэт. Однажды она сказала моей матери: "Вы боитесь оставить одиноким вашего сына, и мечтаете увидеть его, еще при вашей жизни, женатым. За чем дело стало? У меня в Танжере есть знакомая испанская семья. Не скрою, люди они простые. Отец, мастеровой, недавно умер. Семья состоит из старушки матери, милейшей женщины, двух сыновей и трех дочерей. Один из сыновей, ювелир, женат на местной еврейке. Старшая дочь, Розита, не замужем. Ей уже тридцать четыре года. Правда — она не так красива как англичанка вашего сына; но, зато, эта девушка серьезная, умненькая, а, главное, у нее очень доброе и отзывчивое сердце, и она будет вам любящей, нежной дочерью, а господину Вейцману верной и заботливой женой, и, быть может, матерью ваших внучат. Девушка она бедная, и большого образования не получила, но все же окончила низшую испанскую школу; читает и прекрасно пишет на своем родном языке. Пусть ваш сын перестанет страдать от любви к своей Кэт, и познакомится с Розитой. Я уже говорила о вас с нею, и с ее семьей: препятствий не встречается. Что касается разницы религий, то они уже привыкли к смешанным бракам, и ее брат очень счастлив со своей еврейкой. Розита служит продавщицей в одной кондитерской, хозяин которой — турецкий еврей".

Мама переговорила со мной, и я решился познакомиться с этой девушкой. Сказано — сделано. Сладок первый миг первого свидания, в особенности когда оно происходит в дверях кондитерской. Дело было вечером, кондитерская закрывалась, и я пригласил Розиту погулять немного во затихающим улицам Танжера. Моя андалузка была маленькой, полненькой, брюнеткой, со вздернутым носиком. Одета она была, по случаю недавней смерти ее отца, во все черное: любимый цвет испанок. На шее у нее висел простенький крестик. Красивой ее назвать было нельзя; но, как говорит сват в известном стихотворении Некрасова: "Нам с лица не воду пить". Впрочем, она обладала действительно прекрасными, аристократическими руками: белыми, холеными, с длинными красивыми пальцами. И откуда только у этой девушки, дочери простого мастерового и внучки андалузского крестьянина, взя-

лись такие руки, достойные какой-нибудь севильской графини? Если, увы, при всем моем искреннем желании, мне никак не удавалось влюбиться в целую Розиту, я пытался испытывать это чувство хотя бы по отношению к ее рукам. Ах! Розита, Розита. Не красоты я в тебе искал, но только любящее сердце. Я хотел найти себе верную подругу, пусть простенькую и не очень красивую, но добрую и симпатичную, а главное, нежную дочь для моей бедной старенькой матери, способной согреть и успокоить ее последние годы жизни.

По вечерам мы стали регулярно встречаться и гулять вместе. Я старался изучить, как можно лучше, характер этой девушки; но трудно быть беспристрастным, когда так хочется находить только достоинства. Во время одной из наших прогулок, она мне рассказала историю своей ссоры, совершенно не помню с кем и почему; но меня поразила неподдельная злоба, вдруг зазвучавшая в ее голосе. Однако, тогда, я не придал большого значения этому факту, а знакомая дама, сватавшая нас, продолжала воспевать доброе сердце Розиты. Прошло месяца два, и мы решили обручиться. В первую очередь я поставил ей одно условие: если у нас будут дети, то они будут исповедовать религию отца, то есть останутся евреями. Она согласилась, но за собой сохранила право не менять своей веры. Как только мы официально обручились, Розита демонстративно сняла со своей шеи крест, хотя я об этом ее совершенно не просил. Но надо сказать, что моей маме такой ее жест очень понравился.

Теперь, вспоминая мое сватовство к этой испанке, мне думается, что, помимо всего прочего, я решился на этот шаг, как говорят французы: "Par depit", т. е. с досады, так как все еще был влюблен в Кэт.

Мадам Миллер, наша добровольная сваха, пригласила нас всех к себе на ужин с шампанским. Между прочим, эта дама мне, конфиденциально, сообщила, что у Розиты, по бедности, нет не только приданного, но даже лишней рубашки. В виде подарка, который в день обручения жених преподносит невесте, я ей дал порядочную по тому времени сумму денег, на которую она должна была сделать себе все самое необходимое. У нас на Кавказе жених дает родителям невесты "калым"; так и я поступил.

Почти ежедневно, в послеобеденное время, когда я бывал свободен от моих учительских обязанностей, проводив мою мать в кофейню, и посидев с ней с полчаса, я отправлялся к Розите в кон-

дитерскую, и оставался там до ее закрытия. Хозяева нам покровительствовали, при условии, конечно, чтобы их продавщица не забывала своих прямых обязанностей.

В один из таких предвечерних часов, в кондитерскую вошла довольно высокая, красивая и полная дама. Хозяин нас познакомил. Она назвала себя мадам Беар, и оказалась начальницей женской низшей еврейской школы, принадлежащей к так называемому "Мировому Еврейскому Союзу" (Alliance Israelite Universelle), имеющему свой центр в Париже; существующему уже свыше ста лет, и находящемуся под покровительством французского Министерства просвещения, ставящего себе целью распространение французского языка и культуры среди еврейского населения, главным образом в странах ближнего и среднего востока. Эта дама предложила мне давать уроки математики ее младшей дочери Мишель, кончавшей французский лицей. Мадам Сарра Беар была вдовой, и двое ее старших детей, сын и дочь, уже получившие высшее образование, жили и работали во Франции. Сын был инженером-химиком, а дочь — провизором. Мы договорились о моем гонораре, и Мишель стала три раза в неделю приходить ко мне брать уроки.

Вскоре после нашей помолвки, я подал заявление в итальянское консульство о моем желании вступить в законный брак с испанской подданной, Розитой Д.

Теперь, всякий раз, проходя мимо витрин магазинов, мама искала глазами что бы такое купить в подарок ее будущей невестке, Розите.

Был март 1957 года. В один из весенних вечеров я гулял с моей невестой по улице Гойя. Этот день выдался для меня очень утомительным. Ученики, чувствуя приближения весны, делались все более шумливыми и непослушными. Кроме того я имел, не помню по какой причине, довольно неприятный разговор с моим директором. Я был уставшим и печальным. Теперь, наедине с той, которая вскоре должна была стать навсегда моей подругой жизни, мне захотелось поделиться с нею моими горестями и надеждами, и рассказать про мое тайное желание, когда-нибудь покинуть Танжер, и уехать в Европу, дабы пожить еще в больших городах, и, если это будет возможным, заняться чем-нибудь более доходным, нежели преподавание в итальянском лицее, с ежедневным риском, в один прекрасный день, потерять и эту работу. По правде сказать, я надеялся найти у Розиты моральную под-

держку и сочувствие. Случилось совсем не то: моя "нежная" невеста, внезапно прервала меня, и злым, довольно крикливым голосом заявила:

— Меня совершенно не интересуют неприятности, которые ты можешь иметь по службе. Это меня не касается. Пожалуйста, впредь мне их не рассказывай.

— Но с кем, как не с тобой, мне теперь делиться ими? Раньше я все мои неудачи, равно как и удачи, все мои мысли и желания рассказывал моей матери.

— И плохо делал: это ее, наверное, волновало. Умей держать все это про себя. И еще я тебе скажу: никуда из Танжера я ехать не собираюсь, разве только в мою родную деревню, возле Малаги. Я терпеть не могу больших городов; даже Танжер для меня слишком велик. Что касается твоих заработков, то они меня не интересуют. Я бедная девушка, всегда жила очень скромно, и впредь, если это будет нужно, могу продолжать жить даже в нищете. Об этом не беспокойся. Повторяю: больше от тебя подобных разговоров я слушать не хочу и не буду.

Я совершенно растерялся от неожиданности и замолчал; но с этого дня прекратил делать дальнейшие официальные шаги на предмет нашей свадьбы, решив в душе, что мы друг другу мало подходим и я, видимо, ошибся.

Моя быстро дряхлеющая и слабеющая мать, после смерти Софьи Осиповны, стала бояться оставаться одна дома. Она мне раз сказала: "Я отлично понимаю, что это очень глупо; но когда я одна, мне кажется, что вот, вот, дверь комнаты, в которой жила Софья Осиповна, откроется, и из нее выйдет мертвец. Прошу тебя: не оставляй меня одну. Достаточно будет простого шума, чтобы напугать меня, а сердце у меня уже такое слабое, что я сама могу умереть".

Кто-то сказал: "Призраки суть дети мрака: они являются перед нами, когда свет нашего разума меркнет".

Я не мог безразлично относиться к ее просьбе. Я знаю, что страхи, вызываемые воображаемой, не существующей и совершенно абсурдной причиной, таят в себе реальную опасность. Случайный шум, или даже, быть может, галлюцинация, могли убить мою мать. С тех пор я старался не оставлять никогда ее одну дома. К счастью, к этому времени, у нас сняла комнату молодая танжерская еврейка, банковская служащая, которая, возвращаясь со службы, проводила все вечера дома. После ужина я, обыкно-

венно, гулял с моей невестой. В один из воскресных дней, когда Розита была свободна, я повел после обеда ее и маму в кинематограф. Во время спектакля мама почувствовала себя плохо, и еле досидела до конца. Выйдя из кинематографа я извинился перед Розитой, что не могу на этот раз остаться с ней, и попрощавшись отвел маму домой и вызвал врача. В тот вечер у моей матери случился небольшой сердечный припадок. На следующий день, во время нашего обычного свидания, Розита стала осыпать меня упреками:

— Ты оставляешь меня одну и уходишь со своей матерью. У нас так не водится. Жених все свое свободное время должен проводить с невестой, а не с мамой и т. д.

Мне стало невыразимо больно и грустно, и захотелось плакать:

— Розита, пойми ты ради Бога, ведь моя мать уже очень старая и больная. Она одинока, вдали от своей Родины, и от своих близких. Я у нее один. Твоя мать живет всего в нескольких десятках километров от своей деревни, и окружена многочисленной семьей. Вокруг нее звучит ее родной язык, и она много моложе моей. Если бы твоя мать находилась в положении моей, разве ты не поступила бы точно так же как и я?

Но все мои объяснения были бесполезны.

— У нас так не принято, — упрямо повторяла Розита, — жених должен оставаться со своей невестой, а не возле матери. Вот и все!

Теперь я принял окончательное решение, что не женюсь на этой девушке; но еще не знал, как мне с нею порвать. С этого дня я все больше и больше времени проводил с моей матерью, и мои отношения с Розитой стали быстро портиться.

Однажды, мы с мамой были приглашены на пятичасовой чай в знакомую русскую семью. По дороге, зайдя в кондитерскую, я коротко предупредил Розиту, что буду отсутствовать до вечера. Вернувшись домой и поужинав, я отправился на обычное место нашего свидания. Моя невеста была уже там. Одного взгляда, брошенного на нее, мне было достаточно, чтобы понять, что в наших отношениях наступил кризис: Розита вновь надела на шею свой крестик.

— Добрый вечер, Розита, — сказал я ей, как бы ничего не замечая.

— Так больше продолжаться не может, — резко заявила она. —

Ты проводишь все свое свободное время с твоей матерью. Я тебе уже раз сказала, что у нас так не водится.

— Может быть, — ответил я ей не менее резко, — но у нас так водится.

— В таком случае я тебе больше не невеста.

— Послушай, Розита, хорошо ли ты продумала то, что мне теперь сказала? Это твое последнее слово?

— Да.

— Помни, Розита, что я уже не мальчик, и со мной играть в разрывы и примирения, нельзя. Еще раз я тебя спрашиваю: это твое последнее слово?

— Да.

— В таком случае: прощай!

С легким сердцем я вернулся домой. Редко какой жених, которому невеста возвращает слово, бывает в таком радужном настроении духа, в каком был я. Когда моя мать узнала о только что происшедшем моем окончательном разрыве с Розитой, бедняжка! от радости она не хотела мне верить.

Через несколько дней, встретив на улице Антонию, нашу домашнюю работницу, Розита, по ее словам, расплакалась. Вскоре, в один из вечеров, к нам пришел ее брат с женой-еврейкой. Они просидели у нас часа два. Брат Розиты долго говорил, что не винит меня, но, что ссоры между женихом и невестой — явления обычные. Его сестра, в гневе, зашла слишком далеко, и теперь сожалеет об этом, так что еще все можно поправить. Я терпеливо и внимательно выслушал его; но когда он окончил, исчерпав все свои аргументы, ответил ему:

"За время нашей помолвки я убедился в несоответствии наших характеров. Лучше порвать теперь, пока не поздно, так как между нами не произошло ничего непоправимого, чем после женитьбы, которая, вероятно, сделала бы несчастными нас обоих".

На этом мы расстались, и моя жизнь потекла по-прежнему; но я обогатился еще одним жизненным опытом. Теперь моя мать мне часто говорила: "Лучше, Филя, оставайся одиноким, нежели плохо женатым". Пути Господни неисповедимы, и я тогда не мог знать, что моя неудачная помолвка мне принесет, в будущем, столько счастья. Прибавлю, что Розита, вскоре, вышла замуж за какого-то испанца. От всего сердца я ей желаю быть с ним счастливой.

Есть хорошая, народная, итальянская поговорка: "Moglie e buoi del paese tuoi". В вольном переводе это означает: "Выбирай для себя жену и быков из твоей деревни".

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ: Итальянский лицей в "свободном" Марокко.

После окончания Второй мировой войны рухнула колониальная европейская империя, и бывшие колонии стали освобождаться одна за другой. Слишком быстро и беспорядочно произошла деколонизация Азии и Африки, и я боюсь, что в этой поспешности, граничившей порой, с бегством, таятся семена будущей третьей мировой войны. Если бы я был историком, то, вероятно, написал бы на эту тему многотомный труд; но я не историк, а подобная диссертация далеко бы вышла за пределы автобиографии обыкновенного русского еврея. Однако, по воле судьбы, я оказался в Танжере, в годы "освобождения" Марокко. Политикой я, в то время, совершенно не занимался; ни к прежним властителям, ни к новым, особой симпатии не чувствовал, и мирно преподавал математику в итальянском лицее; но даже и стены этого учебного заведения не ограждали преподавателей от последствий происходивших событий. До них нашими учениками были, почти исключительно, дети итальянцев и местных евреев, посещавшие классы в соответствии с их возрастом. Они были "дети как дети": на уроках нередко шумели, но чаще сидели спокойно, и в то время как "ученый" педагог объяснял им трудный урок: мальчики играли в "морское сражение", а девочки шептались между собой о виденном ими последнем фильме, или о своей первой, еще детской и навиной, любви к какому-нибудь парнишке двумя, тремя годами старше их. Все это было в порядке вещей. Но вот пришла "независимость". В наш лицей хлынула, жаждущая знаний, арабская молодежь, в большинстве своем весьма великовозрастная. В классах теперь, рядом с одиннадцатилетними мальчиками, сидели парни в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Эти юноши, не обращая никакого внимания на учителя, во время уроков громко переговаривались между собой по-арабски. Однажды я не выдержал:

— Послушайте, на уроках громко разговаривать не полагается, и кроме того вы находитесь в итальянском лицее, следовательно должны разговаривать здесь только по-итальянски.

— Мы говорим по-арабски, и ваш лицей находится в Марокко, — нагло ответил мне один из них.

— Но вы учитесь в итальянском учебном заведении, и этот язык является в нем общим, — возразил я ему. — Большинство

ваших товарищей по классу не понимают по-арабски. В обществе воспитанные люди говорят исключительно на языке всем понятном.

Молодой араб, не найдя подходящего ответа, замолчал.

В другой раз, во время моего урока, двое из них затеяли спор, конечно, все на том же языке Шехеразады. Спор быстро перешел в ссору, и в ответ на какую-то брань одного из них, второй спорящий побагровев, заорал по-французски: "ta gueule!", схватил стул, и бросился на своего обидчика, с явным намерением раскроить ему череп. Прочие арабы еле удержали их рассвирепевшего товарища. В тот день я очень испугался: представьте мое положение, если бы на моем уроке произошло убийство. А не хватало до этого малого. Когда класс немного успокоился, я спросил этого милого мальчика о причине его желания убить своего товарища.

— У меня совсем недавно умерла мать, — ответил он мне, — а Ахмет посмел оскорбить ее память.

Зная соответствующие выражения, татарского происхождения, имеющиеся в русском языке, я догадался о причине его гнева.

У нас в половине первого уроки кончались. Раз как-то, когда я, по окончанию занятий, собирался отправиться домой, один из этих молодцов подошел ко мне:

— Господин учитель, разрешите задать вам вопрос: в каком году вы приехали в Марокко?

Я удивленно взглянул на него:

— Почему, собственно, вы меня об этом спрашиваете? Но если вас это так интересует: я приехал в Танжер в 1939 году.

Он усмехнулся:

— Я так и думал, что вы приехали в нашу страну под крылышком французского империализма, — сказав это, он повернулся ко мне спиной, оставив меня совершенно растерявшимся от неожиданности.

Уроков арабские ученики никогда не готовили. Однажды я вызвал к доске такого "любителя наук". Он, по обыкновению, ничего не знал, и совершенно не беспокоился об этом. Я сделал ему очень серьезное замечание.

— Господин учитель, — ответил он мне, — здесь мы с вами находимся в итальянском лицее, но когда вы переступите его порог то окажетесь в Марокко, а там я смогу с вами свести счеты.

Все они, устрашившись бездны познаний, и не перейдя в сле-

дующий класс, через год покинули наш лицей, уступив место другим их сородичам, ничуть не лучше первых. Угрожавший мне ученик, через несколько месяцев, поступил в корпус королевских жандармов.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ: Тень смерти.

Всем азартным игрокам, и вообще всем людям риска, известно явление, которое они называют "черной серией". Эта "черная серия", явление иррациональное, существует и в области самых трагических происшествий. Есть старинная русская пословица: "Пришла беда — отворяй ворота".

В 1956 году, одна еще совсем молодая дама, жившая в соседней квартире, с которой у моей матери установились довольно дружеские отношения, скоропостижно скончалась от диабета. Я был на ее похоронах.

Несколько месяцев спустя, наша жилица и друг, Софья Осиповна Болдини, возвращаясь с работы, простудилась. Несмотря на сильный дождь, она, чтобы съэкономить деньги, не села в автобус, и решила идти пешком. Некогда Софья Осиповна была очень богатой женщиной, но после смерти своего мужа, разорилась, и теперь, работая в частных домах в качестве белошвейки, дорожила каждой копейкой. Простуда у нее прошла, но оставила после себя разные осложнения. Проснулись застарелые хвори, открылся процесс в легких, сердце ослабело. Может быть, отчасти, виновными были танжерские эскулапы, не умевшие хорошо лечить, но, только, здоровье ее все ухудшалось. Начались сердечные приступы, сопровождаемые сильными болями и обмороками. Теперь она больше не выходила из дому. Однажды, врач, пользовавший Софью Осиповну, мне сказал: "Больше ничего сделать нельзя — через два дня сердце остановится". Вечером следующего дня больная вышла из своей комнаты, и принесла нам несколько, имевшихся у нее русских книг: "Возьмите их себе, Филипп Моисеевич". Она, конечно, ничего не знала о роковом прогнозе врача; но чувствуя себя все хуже и хуже, смутно сознавала, что дни ее уже сочтены.

На следующее утро, перед уходом в лицей, я осведомился о ее здоровье. Мама мне ответила, что она еще спит.

Вернувшись в час дня домой, я застал мою мать в слезах. "Уми-

рает наша Софочка", — были ее первые слова. Я вошел в комнату умирающей. Она лежала спокойно, с закрытыми глазами, и была совершенно без движения. Около нее стоял врач. Когда он что-то сказал, больная внезапно открыла глаза, и сделала легкое движение головой, как бы желая дать понять, что она все слышит и сознает.

Мама мне рассказала о начале агонии. Утром пришла Антония, наша домашняя работница. Софья Осиповна попросила ее помочь ей подняться и пойти в уборную, так как она себя чувствовала очень слабой. Антония принялась поднимать ее, но едва больная села на свою постель, как вновь упала головой на подушку, и осталась без движений. Позвали врача. Он, больше для очистки совести, сделал ей какой-то укол, и ушел, сказав, что вернется к полудню. Между тем больная продолжала лежать все так же неподвижно, и дыхание было незаметно. Теперь врач, как и обещал, вновь пришел, осмотрел агонизирующую, и сказал нам, что самое большее через час, все будет кончено.

Мы с мамой наскоро пообедали и пошли к умирающей. Ничего внешне в ней не изменилось: она по-прежнему лежала неподвижно, с закрытыми глазами, и казалась без дыхания. В третий раз был вызван врач. Он пощупал пульс, послушал сердце, покачал головой, и объявив нам, что она уже умерла, сел к столу, написал свидетельство о смерти Софьи Осиповны Болдин, дающее право на ее погребение, и ушел.

Я протелефонировал в еврейское погребальное братство, так называемое "Хевра". Меня все еще мучило сомнение: а что если врач ошибся? Так мало в Софье Осиповне произошло перемен. Но пришедший человек из хевры подтвердил слова врача, и добавил, что так как сегодня пятница, то надо спешить с погребением, иначе придется оставить тело лежать до окончания субботы, т. е. два дня. Часа через три, бедная Софья Осиповна, была уже зарыта.

Прошло около года. У нас, уже много лет, снимал комнату итальянский еврей, родом из Бенгази, по имени Альфон. Это был господин лет сорока, и происходил он из очень богатой семьи. Война его полностью разорила, и Альфон, все еще мечтая вновь разбогатеть, пока что перебивался "с хлеба на квас". В последнее время он сильно страдал от геморроя, но боялся операции. Приехавший, совсем недавно, в Танжер какой-то французский врач,

предложил ему лечить его новым методом, посредством специальных уколов. Первый укол оказался чрезвычайно болезненным, а после второго ему стало так плохо, что его пришлось свезти в больницу. Я посетил там Альфона. В тот день ему было гораздо лучше, и он надеялся скоро вернуться домой. Дня через четыре мне сообщили о его смерти. Французский врач, делавший ему эти уколы, скрылся из Танжера.

После смерти Софьи Осиповны и Альфона, у нас сняла две комнаты танжерская еврейка, о которой я уже упоминал выше. Так как она служила в одном из многочисленных танжерских банков, и приходила домой только вечером, то для уборки комнат, мытья белья и прочего, она наняла испанскую домашнюю работницу, женщину лет пятидесяти, сильную и здоровую на вид. Как раз к этому времени, наша собственная домашняя работница, Антония, работавшая у нас уже много лет, нас покинула.

Сговорившись с новой жилицей, мама стала платить нанятой испанке отдельно от себя, с тем, чтобы она и ей помогала в хозяйстве. Новая домашняя работница оказалась женщиной трудолюбивой и честной, и в течение нескольких месяцев все шло хорошо. Внезапно она начала ощущать общую слабость, и с трудом передвигала ноги. Однажды утром, бедняжка пришла совершенно желтой. Мы отправили ее к врачу, который нашел у нее разлитие желчи, дал ей какое-то лекарство, и посадил на диету.

В течение целой недели, превозмогая все усиливающуюся слабость, она приходила на работу, но в конце концов была принуждена лечь в больницу. Мы навестили ее там — ей было очень худо; врач определил у нее рак печени. Еще через пару недель, в ноябре 1958 года, она умерла.

Тень смерти упала на наш дом.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ: Смерть моей матери.

С некоторых пор у мамы образовалась на голове, под волосами, у самого лба, небольшая опухоль, вначале мало ее беспокоившая; порой мама мне удивленно говорила: "Что это за шишка растет у меня на черепе?" Я тоже мало обращал внимания на эту "шишку". Но опухоль стала расти все быстрее и быстрее. В начале 1959 года, пользовавшему ее врачу-специалисту уда-

лось несколько поддержать сердце, и сердечные приступы, так пугавшие нас обоих, прекратились. Если бы не странный нарост на голове, то моя мать чувствовала бы себя довольно сносно. 14 мая 1959 года, ей исполнилось восемьдесят лет. По этому случаю я повел ее в лучшую кондитерскую в Танжере, где мы провели с нею, за чашкой чая, с прекрасными пирожными, часа два. В тот день она была очень счастлива. Наступили летние каникулы, в которых я нуждался как никогда. Прошедший учебный год, по вине арабских учеников, был чрезвычайно утомительным, и, как говорится, измотал мне все нервы. Очень хотелось отдохнуть; но кроме сидения целыми днями все в той же кофейне, другого отдыха, и другого способа развлечься я не видел, да и на сердце "скребли кошки".

Мама стала жаловаться на свою опухоль, сделавшуюся болезненной. Еще прошедшей зимой я повел мою мать к знакомому итальянскому хирургу, директору больницы, доктору Каппа, который меня тогда совершенно успокоил. По его словам это был ничего незначащий нарост, который можно легко удалить; но, впрочем, он особой надобности в операции не видит.

В начале августа у мамы, по вечерам, появилась легкая температура, и я вновь повел ее к доктору Каппа. На этот раз он сказал, что опухоль воспалилась, и это воспаление является причиной температуры.

"Придется ее все же оперировать, — объявил он мне, — но вы не волнуйтесь: эта опухоль вполне доброкачественная, и вашей матушке не угрожает никакая опасность".

Операция была назначена на 16 августа. Накануне был католический праздник, и один мой знакомый, директор отделения в Танжере испанского банка "Бильбао", предложил мне поехать с ним, в его автомобиле, в так называемую "Дипломатическую рощу". Я согласился, и после обеда мы отправились туда. Погода была прекрасная, было много гуляющих; но я все время думал о завтрашнем дне. Мне все мерещилось, что сегодня для меня кончается целая эпоха моей жизни, и, что завтра, быть может, произойдет нечто страшное и непоправимое. Спал я в ту ночь плохо. Наутро мы с мамой отправились в итальянскую больницу. Бедняжка очень волновалась. Доктор Каппа немного успокоил ее: "Операция самая пустяковая, и будет длиться не более двадцати минут. В больнице вы проведете одну ночь, а назавтра сможете

вернуться к себе. Помните, что во мне вы видите не только врача, но и друга. Будьте совершенно спокойны".

Я остался ждать в приемной исхода операции. Прошли обещанные двадцать минут, прошли полчаса, а доктор все не возвращался. Наконец, после пятидесятиминутного ожидания, я увидел Каппа. Он был взволнован, утомлен и бледен.

"В опухоли оказалась кровь, — были его первые слова. — Надо будет немедленно произвести анализ. У вашей матушки сделались рвоты, и теперь она себя нехорошо чувствует. Она останется в больнице, под моим наблюдением, трое суток. Я вас к ней сейчас не допущу. Приходите завтра утром".

Не трудно себе представить в каком состоянии духа я вернулся домой и, конечно, не спал целую ночь. В восемь часов утра я был уже в больнице. Мама немного отдохнула, и чувствовала себя лучше. Ее седая голова была вся забинтована. Я просидел у нее целое утро, в полдень ушел обедать, а затем вновь вернулся к ней, и остался у ее постели до вечера. Так продолжалось три дня. На четвертый день мама вернулась домой, но должна была каждые два дня ходить на перевязки. В один из таких дней доктор Каппа показал мне полученный им результат анализа, сделанного в лаборатории при танжерской испанской больнице. Анализ был отрицательным. Каппа снова меня успокоил: "Опухоль, как видите, несмотря на присутствие крови, доброкачественного характера, и ваша матушка скоро будет совершенно здоровой".

Перевязки следовали за перевязками, но рана не заживала и начала гноиться. У мамы вновь поднялась температура, и на этот раз выше прежней. Она стала забываться, и, порою, бредить. Все это, жутко, напомнило мне последние месяцы болезни моего отца. Несмотря на все уверения доктора Каппы, я стал терять надежду. Вскоре, и этот последний, признался, что неожиданное осложнение требует новой операции. Она была назначена на 15 сентября. В это утро, отправляясь в больницу, бедная мама в последний раз переступила порог своего дома. После второй операции она осталась лежать в больнице. Целые дни я проводил у ее постели. Однажды, придя к ней, я очень обрадовался, застав ее на ногах. В этот день у нее температура была совершенно нормальная, и в моей душе затеплилась маленькая надежда; но я сам очень изнервничался, устал, и почти все ночи проводил совершенно без сна. Теперь, при виде такого внезапного улучшения, я подумал: "Если мама выздоровеет, то я, на несколько

дней, лягу в постель, буду ничего не делать, только лежать, немного питаться и, главное, спать".

После обеда ее посетили знакомые дамы, и просидели у нее до вечера. Мама спокойно беседовала с ними, и была довольна. Вечером, уходя, я заметил, что у нее начался легкий жар; а на следующий день я застал ее лежащей в постели. Снова поднялась температура, и рана не заживала. Теперь она начала, все больше и больше, терять сознание и вскоре, кроме меня, не узнавала никого.

Я попросил доктора Каппа, который оставался неизменным оптимистом, созвать консилиум. Он пригласил другого хирурга, доктора Кабанье, и этот последний мне прямо объявил, что надежды больше нет.

Последние два дня ее жизни, она провела в полном беспамятстве, и перестала узнавать даже меня.

Утром 24 сентября, я протелефонировал в Еврейское Погребальное Братство, и хевра прислала в больницу одного из ее членов, который больше не оставлял умирающую. В это утро я спросил доктора Каппа: сколько, по его мнению, осталось жить моей матери. Он, авторитетно, заявил, что не менее сорока восьми часов. Я рассказал об этом человеку из хевры, но тот пожал плечами: "Врачи понимают в болезнях и способах их лечения, но не в смерти, в ней понимаем только мы, из хевры; сегодня вечером ваша матушка умрет".

Как всегда, я просидел у ее постели до семи часов вечера и, уходя, попросил вызвать меня по телефону, если это понадобится, в каком бы ни было часу ночи. В десять часов телефон позвонил, и в двадцать минут одиннадцатого я был уже в больнице. У моей бедной мамы сделались рвоты, и началась агония. Я подошел к постели. Человек из хевры меня предупредил: "Она отходит". Мама лежала в беспамятстве, и тяжело дышала. Наш хороший знакомый, Константин Павлович Гретько, тоже пришел в больницу. Мы стояли молча у постели моей матери, и я смотрел на ту, с которой у меня были связаны воспоминания всей моей жизни, начиная с первых проблесков моего сознания. Это она мыла меня в маленькой цинковой ванне, пока я играл с целулоидовым лебедем, и морщился от мыла, попадавшего мне в глаза. Это она кормила меня с ложки, уговаривая есть. Это ее я помню, неизменно склонявшуюся над моим изголовьем, во время моих частых детских болезней; а первая седая прядь появилась

у нее, когда я захворал скарлатиной. У нее я искал утешения от всяких ребяческих горестей, и много позже, когда я был уже студентом, она постилась целый день, всякий раз когда я шел держать мой очередной экзамен. Когда мой отец потерял работу, она открыла домашний пансион, и, своим непривычным и непосильным трудом, кормила нас всех.

Несколько дней тому назад мне удалось услышать от нее ее последние сознательные слова. Она сказала мне: "Все потеряно", и замолчала навсегда.

Последние дни она уже ничего не говорила, а только, изредка, стонала. Теперь дыхание ее стало быстро слабеть,... и прекратилось. "Она покинула нас", – сказал человек из хевры.

Кто имел несчастье пережить подобный момент, тот меня хорошо поймет: я видел, что все кончено, но был не в силах осознать происшедшее.

Константин Павлович мне посоветовал: "Плачьте, Филипп Моисеевич, вам станет от этого легче", но плакать я не мог. В ту же ночь тело мамы было отвезено в мертвецкую, при еврейском кладбище. На десять часов утра были назначены похороны. Константин Павлович отвез меня спать к нему домой. Утром, в половине девятого, я отправился на кладбище. Мне предложили остаться, в последний раз, наедине с телом моей матери. Я уселся на стул и стал пристально глядеть на лицо усопшей. Мне хотелось, как можно лучше, запечатлеть в памяти ее черты. Так прошло около часа. Потом все пошло очень быстро: тело мамы куда-то унесли, вымыли, забинтовали подобно мумии, по обычаю марокканских евреев, и опустили в могилу. Я положил над ее телом первые два бревнышка, потом могилу засыпали. Я прочел кадиш, и погребальная церемония была окончена.

Дай мне, Бог, больше никогда не переживать подобных минут! Свершилось то, чего так опасалась моя мать: ее сын, вдали от Родины и родных, остался, в необъятном мире, совершенно одиноким. По нашему обычаю я должен был провести целую неделю дома, и все знакомые евреи должны были бы, один за другим, меня навещать; но, во-первых, ни одна живая душа, кроме Константина Павловича, приходившего по-прежнему, по вечерам пить чай, не навестила меня в эти дни; а во-вторых, в лицее начались предварительные педагогические советы, в которых я должен был, обязательно, принимать участие.

Еще в больнице, когда моя мать была в сознании, я рассказал

ей о мучившей меня бессонице. Мама меня предупредила: "Никогда не принимай никаких снотворных, а если ты совершенно не можешь спать, то лучше чем пить лекарства, пей спиртные напитки".

Теперь, проводя ночи без сна, я пытался следовать ее совету, и начал пить коньяк; но он, как это ни странно, на меня совершенно не действовал: я даже не пьянел.

Раз мне встретился доктор Каппа. Я рассказал ему о моем состоянии. "Вы накануне нервной депрессии, и это довольно серьезно; вы должны, во чтобы это ни стало, спать. Я вам припишу гарденал, и, пожалуйста, не спорьте со мной".

Я послушался его, и раза два принял приписанную им дозу гарденала; но и это сильное снотворное не возымело никакого действия.

Снова я начал проводить все мое свободное время в кофейне, вызывая порицания знакомых и друзей моей матери; тех самых которые не потрудились навестить меня в первые дни моего траура.

В последние месяцы мама наняла, на место Антонии, новую домашнюю работницу. Она оказалась прекрасной женщиной. К этому времени, у нее самой в Испании умер отец. Она уехала на его похороны; но зная, что я остался один, очень скоро вернулась, чтобы продолжать помогать мне по хозяйству. Теперь я переменил квартиру, сняв ее в новом большом доме, куда должен был переехать к первому ноябрю.

Я старался, чем мог, заглушить мою душевную боль; но передо мной зияла черная пустота.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Сердце еврейки.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Первые дни после смерти моей матери.

Итак, я остался в полном одиночестве: ни жены, ни постоянной любовницы, ни близких, ни настоящих друзей.

"Не в дружной беседе друзья познаются:
Друзья познаются бедой;
Лишь горе нагрянет, да слезы польются:
Тот друг, кто заплачет с тобой."

Дружеских слез, по правде сказать, мне было не надобно, да и сам я плакать, при людях, не умел: плакал втихомолку, запершись в моей комнате; но в эти самые первые дни, последовавшие за смертью моей матери, я не нашел настоящих друзей. Теперь я испытал "прелесть" полной свободы: никто меня нигде не ждал, и никто мной не интересовался. Какая непомерная горечь скрывается порой в сладком слове свобода. Моя бессоница продолжала меня мучить, и часто, в глухую ночь, я выходил из дому, и бродил один по улицам заснувшего Танжера.

26 сентября в лицее состоялся первый педагогический совет, и я пошел на него. По его окончании, наш директор Фрументези пригласил меня в свой кабинет и заявил: "Я вами, Вейцман, не доволен: в прошедшем году вы не оказались на высоте положения, и совершенно не сумели ладить с арабскими учениками. Я буду, по этому поводу, писать о вас в Министерство в Рим".

Я хорошо знал Фрументези, и его манеру, под любым предлогом, ежегодно устранять одного из некадровых учителей. Теперь, видимо, настала и моя очередь. Этого только мне недоставало! Я пошел к консулу, прямому начальнику директора лицея за границей и все ему рассказал.

"Продолжайте спокойно преподавать, — посоветовал он мне. — Фрументези не может миновать меня, и если он вздумает послать на вас подобный донос в Министерство, эта бумага обязательно должна пройти через мои руки, и она не пойдет дальше ящика моего письменного стола."

Впоследствии мне рассказывали, что консульство, давно уставшее от ежегодных жалоб Фрументези на свою очередную жертву, теперь само начало делать шаги на предмет отзыва его в Италию.

Все-таки мне стало еще тяжелей. Я ясно сознавал, что при создавшихся условиях, я долго не выдержу. Что поделаешь! Не умел я быть учителем восемнадцатилетних арабов: полужандармов, полубандитов. Но, как говорится: "не имея ни кола ни двора", оставаться без работы было еще ужасней.

Почему я тогда не подумал, что ведь не все дороги мне заказаны, и есть, правда, маленький клочок земли, но над которым уже веет бело-голубое знамя, со щитом Давида? Может быть моя первая неудавшаяся попытка отправиться туда, меня обескуражила? Если бы, вместо того чтобы стучаться в двери советского консульства, я пошел бы в Париже в посольство моего Отечества, я, конечно, через несколько недель был бы в Израиле. А в Отчем Доме никто не одинок и с голоду не умирает. Вероятно я, подобно многим евреям в диаспоре, несмотря на мой сионизм, еще ясно не сознавал, что Израиль уже существует, и его двери настежь открыты для всех евреев мира.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Встреча.

Октябрь. Месяц Тишри. Шли наши осенние праздники — время воспоминаний и молитв. В лицее начались занятия.

7 октября, после обеда, я сидел за столиком, на террасе "Парижской" кофейни, в компании двух русских дам, посещавших нас при жизни мамы. Мы о чем-то беседовали. Мимо кофейни, как всегда в эти часы, шло много народу, и передо мной мелькали сотни чужих и малоинтересных лиц. Вдруг, среди них, я заметил знакомую даму, которую я уже давно не видал: мадам Беар, начальницу низшего женского училища "Еврейского Универсального Союза", мать моей бывшей ученицы, Мишель. Привстав я ей поклонился, она ответила мне на поклон, пристально и немного удивленно взглянула на меня, и пошла дальше. Что было

потом я плохо помню, и знаю о моем таком поступке больше с ее слов; в тот момент у, меня образовался в памяти провал. Внезапно встав с моего стула, и извинившись перед русскими дамами, с которыми сидел, я, почти бегом, догнал мадам Беар. Все произошло, как если бы невидимая рука схватила меня за шиворот и толкнула к этой, мне малознакомой, даме.

— Знаете ли вы, мадам, что две недели тому назад умерла моя мать?

Она не удивилась моему, несколько эксцентричному, поступку, и мне ответила с участием:

— Бедняга, я это поняла, увидав вас без нее и со знаками траура. Как вам должно быть теперь тяжело! У вас была такая симпатичная матушка. Приношу вам мои искренние соболезнования. Вы должны теперь чувствовать себя очень одиноким. Послушайте: приходите сегодня ко мне на чашку кофе.

Ровно в пять часов, с коробкой пирожных в руке, я был уже у нее. Она угостила меня прекрасным турецким кофе, расспросила о последних месяцах жизни моей бедной матери, и обо мне самом.

— А что же ваша испанская невеста? — осведомилась она.

Я рассказал ей о моем разрыве с Розитой. Внезапно мадам Беар переменила тон:

— И вам не стыдно было быть женихом какой-то простой испанской девчонки? Вы — учитель математики итальянского лицея! Вы — еврей! Вы забыли, что, к тому же, вы — Вейцман, и принадлежите к семье первого президента Израиля!

Что мне было отвечать? Я отлично сознавал, что она совершенно права, и мне было стыдно. Я опустил голову и молчал. Видя мою покорность, мадам Беар, сменив гнев на милость, заговорила со мной о чем-то другом.

Просидев у нее часа два, я встал, поблагодарил ее за прием, и вернулся домой к моему одиночеству и к моей бессонице. Я не думал, что этот мой визит будет иметь малейшее продолжение: просто встретил знакомую даму, с добрым и отзывчивым сердцем; пожалела она меня, пригласила к себе на чашку кофе, расспросила меня обо всем, "намылила" мне голову за недостойное сватовство; вот и все.

Ровно через три дня я, случайно, вновь столкнулся на улице с мадам Беар. Она шла с арабской девочкой-служанкой, Маликой. Мадам Беар остановила меня неожиданным вопросом:

— Вы что же, не получили моего письма?

Я удивленно уставился на нее:

— Какое письмо, мадам? О чем вы говорите?

— Да ты передала ли, Малика, мою записку сторожу дома, где живет господин учитель?

— Простите, но никакого письма от вас я не получал.

— Письмо я передала, мадам, — уверяла Малика.

— Беги к этому сторожу и принеси мне письмо сейчас же сюда.

Но прежде чем Малика успела побежать исполнять данное ей приказание, как мы увидали, идущего по улице, его самого. Я обратился к нему с вопросом:

— У вас имеется письмо на мое имя?

— Ах, простите, я забыл вам его передать.

— Малика, пойди и принеси мне его, — вновь приказала мадам Беар.

Минут через десять это письмо было у меня в руках. Оно было датировано 9 октября. Перевожу его с французского на русский:

"Месье, Вы должны себя чувствовать очень одиноким, вы — такой любящий и нежный сын. Приходите ко мне, на чашку кофе, сегодня в 2 часа дня. Если вы не свободны, то назначьте мне сами любой другой день. Я свободна до вторника. Я тоже одинока и вернулась только что из Франции, где провела длинные каникулы. Так как теперь праздники, то мое одиночество меня гнетет еще больше чем в будни. До скорого. С дружеским приветом, Сарра Беар."

В тот же день я пришел к ней, и мы провели, беседуя за чашкой кофе, несколько часов. Разговор о Розите не возобновлялся. Наши свидания повторились, и мы стали встречаться все чаще и чаще. Однажды она пригласила меня проехаться с ней за город, в ее автомобиле. Во время катания мы разговаривали о чем-то постороннем, и вдруг ее рука легла на мою, и застыла в ласковом пожатии. Я думаю, что эта минута решила наши дальнейшие отношения. Моя бессоница совершенно исчезла.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Помолвка.

Наше сближение шло быстро, и прогулки на автомобиле сделались ежедневными. В октябре, в Танжере, погода обыкновенно, стоит ясная, и так как перед вечером мы оба бывали свободны,

то ничего нам не мешало на пару часов покинуть город. Сарра, начну называть ее по имени, так как мы вскоре перешли на ты, во время таких прогулок мне напевала французские песенки. У нее оказался приятный голосок и довольно верный слух. Мне никогда не забыть этих минут, когда возвращаясь вечером домой, я слушал ее пение, одновременно любуясь алым закатом, догоравшим в небе над кровлями приближавшихся к нам домов Танжера. Первое время по вечерам мы читали вслух французский перевод "Войны и мира" Льва Толстого, пока это чтение нам не надоело.

Сарра всеми силами старалась отвлечь меня от черных мыслей. Первого ноября я покинул мою прежнюю квартиру, с которой у меня было связано столько тяжелых воспоминаний, и переехал на новую. Сарра осмотрела ее и одобрила.

3 ноября мы приняли решение связать навсегда наши жизни.

"Только не смей никому рассказывать об этом, пока я сама не скажу", — приказала она мне тоном, не допускающим возражений. Я обещал ей, хотя мне было трудно держать про себя подобную новость. Но на следующее утро она мне протелефонировала: "Филипп, можешь рассказать всем о нашей помолвке, я не выдержала характера, и теперь о ней знает вся моя школа".

Как раз, в тот самый вечер, я был приглашен на чашку чая в одну русскую семью, и там не замедлил сообщить во всеуслышание маленькой русской колонии в Танжере, о моей помолвке с начальницей французско-еврейской школы, Саррой Беар. Надо сказать, что почти все мои знакомые: итальянцы, русские и евреи, меня искренне поздравляли.

Я отправился в итальянское консульство и возобновил официальные шаги на предмет моей женитьбы. Кроме этого мы начали вести переговоры с местным старшим раввином, который, по своему невежеству, не хотел верить, что мы оба настоящие евреи. О сионизме, и о первом президенте Израиля, докторе Хаиме Вейцмане, этот служитель культа не имел никакого представления.

3 декабря 1959 года, мне исполнилось 48 лет. В этот день Сарра устроила у себя праздничный обед, на который, как у Лукулла, были приглашены только она и я. Под моей салфеткой я нашел автоматические часы марки Омега, с которыми с тех пор я неразлучен, и маленькую записку, в которой моя невеста выражала пожелание, чтобы они отсчитывали для меня исключительно часы счастья и спокойной жизни.

Бракосочетание в итальянском консульстве было назначено на 19 декабря, в 10 часов утра. Религиозный обряд решили совершить на следующий день, по случаю траура, скромно, у меня на дому. В те дни я был бы бесконечно счастлив, узнав впервые в жизни, большую и разделенную любовь; но одна неизменная мысль не покидала меня, и бросала на все свою тень: бедная мама! она не дожила до полного исполнения своего желания; ей не хватило нескольких недель жизни. Незадолго до нашей свадьбы мы отправились на кладбище на могилы моих родителей. Моего отца Сарра никогда не видела, но мою мать она хорошо знала в лицо. Перед ее могилой Сарра стала на колени, и громко поклялась ей положить все свои усилия для создания ее сыну счастливой жизни. Слово свое она сдержала. Я, в свою очередь, мысленно обещал самому себе сделать то же для Сарры.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Женитьба.

Писал о своем горе — пишу о своем счастье. Странное дело: когда я рассказывал о самых грустных, самых трагических минутах моей жизни, на сердце у меня было невыразимо тяжело, и вся горечь пережитого подымалась со дна моей памяти; но описывать это было не трудно: слова свободно составляли фразы и довольно точно, по крайней мере, так мне думается, передавали мое тогдашнее состояние духа. А вот теперь, я берусь за перо, чтобы описать самые светлые часы моей жизни; на сердце у меня легко, а моя шариковая ручка меня не слушается. Почему это так? Все что я теперь пытаюсь поведать воображаемому читателю выходит плоско и глуповато. Задали ученику низших классов средней школы урок: "Опиши домашний праздник"; он и описал его.

В последние годы жизни мамы, я нередко декламировал, полушутя, полусерьезно две строки поэта Иванова:

"Помни это, помни это!...
Каплю жизни! каплю света!"

Но жизнь вокруг меня иссякала, а свет медленно мерк.

Теперь, по великой милости Господней, не капля жизни и света, а целая Ниагара хлынула на меня; но как об этом рассказать?

Может быть и то — люди любят больше читать о чужом горе, нежели о чужом счастье; не потому что они так злы по своей натуре; но, если верить моему приятелю Гретько: нам всем кажется, что количество несчастий в мире постоянно, и если горе коснулось моего ближнего, то оно уже не коснется меня; а чужое счастье мало кого интересует. Ничего не поделаешь: я описываю мою жизнь, а не сочиняю роман, и кому эта глава покажется неинтересной — пусть он ее не читает; я в претензии не буду.

В декабре 1959 года в Танжере стояла ужасная погода: шли беспрерывные дожди и дул восточный ветер. Каждое утро Сарра заезжала за мной, и прежде чем отправиться к себе в школу, завозила меня в итальянский лицей. После окончания занятий, когда в половине первого я выходил из него, она уже ждала меня, сидя за рулем своей машины. Обедали мы всегда вместе, обыкновенно у нее. Мы считали дни и часы, остававшиеся до свадьбы, и в свободное время я заучивал древнееврейскую фразу, которую должен был произнести перед раввином.

В этом мире все кончается: и хорошее, и плохое. Эту истину, если сказать вам всю правду, я уже где-то слышал. Кажется, что до меня, немного другими словами, ее высказал еще царь Соломон. Но от древности она не сделалась менее достоверной.

19 декабря 1959 года, долгожданный день нашего бракосочетания настал. К десяти часам утра, в сопровождении двух свидетелей, мы отправились в итальянское консульство. Моим свидетелем был мой коллега, учитель французского языка, Джаймо. Когда консул позвал нас, Джаймо, шутя, взял меня за руку и сказал: "Вейцман, еще не поздно, подумай раньше, чем переступить этот порог". Я улыбнулся его шутке, но Сарре она не понравилась. Прежде чем приступить к нашему бракосочетанию, консул обратился с вопросом к той, которая должна была через несколько минут сделаться моей женой: достаточно ли хорошо она понимает по-итальянски? так как теперь он должен нам прочесть на этом языке текст о правах и обязанностях супругов. Сарра уверила его, конечно по-французски, что она отлично понимает язык Данте. Содержание официального текста, долженствующий быть нам прочитанным, если бы даже он был составлен по-китайски, ей был совершенно безразличен.

Консул торжественно и нарочито медленно и внятно прочел его нам, после чего он задал каждому из нас отдельно, тот самый

вопрос который задается в подобных случаях на всех языках мира. Выслушав наш утвердительный ответ, он объявил нас мужем и женой. Из итальянского консульства, после получения брачного свидетельства, мы прямо отправились во французское, так как Сарра являлась французской гражданкой, где этот гражданский акт был, в свою очередь, зарегистрирован.

В полдень имел место свадебный обед в зале одного из самых шикарных отелей города. Послеобеденное время мы с Саррой провели вместе, а перед вечером расстались в последний раз. На следующее утро она переехала ко мне, а после обеда в довольно большом зале нашей квартиры состоялся религиозный обряд. Народу набралось много. Пришли все коллеги мои и Сарры, мои личные и мамины знакомые, представители французского и итальянского консульства, и многие другие. Между прочим и члены русской православной колонии в Танжере, и между ними молодой граф Остен Саккен со своей женой — француженкой.

К немалому удивлению венчавшего нас раввина, я быстро и уверенно прочел древнееврейскую, сакраментальную фразу, что отчасти рассеяло его подозрения в моем нееврейском происхождении, затем я надел кольцо на палец Сарры. В тот самый вечер, по законам нашей веры, я снял мой траур. На следующее утро мы вылетели в Париж, совершать наше свадебное путешествие. У Сарры в Париже, на Пасси, оказалась небольшая собственная квартирка, приобретенная ею несколькими годами раньше. В ней, пока, жили ее сын Меер, инженер-химик, и Мишель. Мы остановились в небольшом отеле, в пятидесяти метрах от квартиры.

1960 год мы встретили в Париже.

Я имел право на месячный отпуск, но Сарра, к первым числам января должна была вернуться в Танжер, так что нам пришлось слишком скоро вновь очутиться в этом городе, и приняться за нашу работу; но теперь мы были вдвоем.

ГЛАВА ПЯТАЯ: Сарра.

Сарра родилась в Турции, в городе Адринополе, нынешней Эдирне, на берегу Марицы. Она была единственной дочерью зажиточного еврейского фабриканта восточных сладостей, Нисима Захария. Он умер когда его дочери было около трех лет. Вскоре после его смерти, как это часто бывает, вдова оказалась без средств,

и чтобы прокормить себя и малютку, принялась за шитье. Живя чуть не впроголодь, эта смелая и трудолюбивая женщина поставила себе целью вырастить и хорошо воспитать свою дочь. Ее мечтой было дать Сарре приличное образование, чтобы, впоследствии, она могла заняться чем-нибудь более легким и прибыльным, нежели шитьем. В те времена в Турции еврейским детям, а в особенности девочкам, трудно было сделать какую-либо приличную карьеру.

К счастью, в Адринополе, уже довольно давно, Еврейский Мировой Союз открыл одну из своих многочисленных школ, и, пяти лет от роду, Сарра поступила в нее. Родным языком моей жены был ладино, так как ее предки, чистокровные "сефардим", эмигрировали из Испании в Турцию, в годы темного и кровавого царствования Изабеллы Католической. Поступив в эту школу, девочке пришлось изучать французский язык, как если бы он был ей родным. Каких только трудов и лишений стоили вдове годы учения ее дочери!

Когда Сарре исполнилось пятнадцать лет, она, в числе трех лучших учениц, была послана в Париж, за счет все того же Мирового Еврейского Союза, продолжать свое образование в специальном учебном заведении — нечто вроде учительской семинарии, которую она в 1926 году успешно окончила и была назначена учительницей в Маракеш (Марокко), в одну из низших школ, принадлежащих "Союзу".

Два года спустя Сарра перевелась в другую школу в Фец, где вскоре вышла замуж за господина Нисима Беар, служащего одного коммерческого представительства. В том же году она блестяще выдержала экзамен "профессиональной абилитации", необходимой для дальнейшей карьеры. Через несколько лет семья Беар приобрела себе небольшой особняк, и переехала в него жить. У них родились двое детей: дочь Люсьен и сын Меер. В 1938 году, во время автомобильной катастрофы, погибла ее бедная мать, а в 1940 году, внезапно, от сердечного приступа, скончался ее, еще совсем молодой, муж, оставив ее беременной той самой дочерью, которая, много лет спустя, была причиной нашего первого знакомства.

В 1948 году Сарра была переведена в Касабланку, где оставалась всего два года. В 1950 году она была назначена в Танжер, начальницей большой школы, в тринадцать классов. В 1959 году, 20 декабря, Сарра стала моей женой.

Несколько слов о "Мировом Еврейском Союзе" (Alliance Israelite Universalle). Эта просветительная еврейская организация была основана во Франции, еще в царствование Наполеона Третьего. В 1860 году она ознаменовала начало своей деятельности открытием школы в Тетуане (Марокко).

За сто лет "Мировой Еврейский Союз" покрыл густой сетью низших школ весь Ближний и Средний Восток. Чем больше открывалось школ, тем сильнее ощущалась необходимость в образовании педагогических кадров. В конце семидесятых годов прошлого века, "Мировой Еврейский Союз", пошел в своей деятельности еще дальше, открыв в Париже, так называемую "Ecole Normale Israelte Orientale", род учительской семинарии. Она помещалась на улице Тревиз № 97. Эта семинария была признана общественно-полезной, министерским декретом от 12 февраля 1880 года, подписанным президентом Республики, Юл. Греви, и тогдашним министром просвещения, Юл. Ферри.

"Ecole Normale Israelite Orientale", несколько раз меняла свой адрес; но продолжает существовать до наших дней. Одно время она помещалась в Версале, и там, в двадцатых годах, училась моя жена.

Мне не известна точная статистика, но думаю, что благодаря "Мировому Еврейскому Союзу" и,(цезарю цезарево) французской Республике, ему покровительствовавшей, за все время ее существования, сотни тысяч еврейских детей, мальчиков и девочек, были вырваны из мрака полного невежества, безраздельно царившего, еще так недавно, на всем мусульманском Востоке.

Весь еврейский народ останется вечным должником основателей и продолжителей этой организации, и никакая официальная юбилейная речь не может выразить благодарности, которую мы все: ашкеназим, сефардим и еврейские выходцы из Среднего Востока, должны чувствовать по отношению к ним.

Когда мы с Саррой повенчались, то среди многочисленных писем, полученных нами по этому случаю, мы нашли поздравление, написанное собственной рукой председателя этого Союза, Рене Кассена. Много лет спустя, в Париже, я имел честь быть представленным автору "Декларации прав человека", и лауреату Нобелевской Премии Мира.

Теперь, после смерти Кассена, его место занял Юлий Бруншвик — умный, активный и талантливый деятель, и убежденный сионист.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Женское сердце.

Перечитывая главу, касающуюся моей женитьбы, я почувствовал, что, несмотря на все мои ухищрения, написал не то, и не выразил ясно моих переживаний; свадьба была удачная, народу набилось много и мы оба были счастливы. Я похвастал составом наших гостей, в числе которых был такой русский аристократ, как граф Остен-Саккен, между прочим — милейший человек; но при чем он тут? А главного я так и не сказал. Но менять что-либо из уже мною написанного, у меня нет желания: я для этого слишком ленив. Теперь же я вновь возвращаюсь к событию ставшему исходной точкой для всей моей будущей жизни.

После смерти моей матери, один мой знакомый итальянец, следующим образом объяснил мне мое собственное состояние духа: "Покуда живы наши родители, они являются для нас последним звеном длиннейшей цепи, связывающей нас со всеми нашими предками, и восходящей к далеким праотцам всего человечества: Адаму и Еве; а через них к потерянному раю. Когда человек становится сиротой, это звено отпадает, и с ним прекращается связь с Эдемом, двери которого за ним навсегда закрываются, как некогда они закрылись за изгнанным Адамом".

Мне понравилось тогда это поэтическое изображение той безысходной тоски, которую я ощутил после кончины моих родителей. Однако эту картину, по крайней мере для меня, следует продолжить:

"Захлопнулись ворота, за которыми был свет и уют, и грозный ангел, с огненным мечом, стал перед ними. Бедный, сиротливый, путник, глубокой ночью бредет один по дороге, уводящей его, все далее и далее, в холод и мрак. Позади него медленно угасают, поглощаемые расстоянием, огни рая, а впереди — темная пустыня. Путник идет, спотыкаясь на каждом шагу, и страшно ему и холодно. Внезапно, у края дороги, он видит обыкновенное человеческое жилище. В окне — свет.

В старину, в России, и в некоторых других странах восточной Европы, существовал обычай вырезывать в ставнях окон маленькие сердечки. Вот именно через такое сердечко в закрытых ставнях забрезжил свет, уже начинавшему отчаиваться путнику, и он робко постучался в них.

Двери домика открылись, и на его пороге показалась, не архангел с огненным мечом, но обыкновенная женщина, с теплым

сердцем, и этот незнакомый дом сделался одинокому путнику родным, и стал для него новым раем".

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Последние два года нашей жизни в Танжере.

По возвращении из свадебного путешествия, для нас настали рабочие будни, вскоре прерванные болезнью. Сарра схватила сильный грипп, а я заразился им от нее. У меня он принял довольно опасную форму, и доктор Каппа, опасаясь осложнений в легких, приписал мне террамисин. Все кончилось благополучно, но мы оба проболели довольно долго, и потому решили этим летом уехать отдыхать в горы, в Швейцарию. Между тем, сделавшись независимым государством, Марокко стало издавать законы и декреты. Между прочими шедеврами марокканского законодательства оказался один, временно касавшийся меня. Декрет гласил: "Все граждане стран, не заключивших обоюдного договора с Марокко о свободном въезде королевских подданных на их территории, должны, для въезда в него, просить визы. Те же из них, которые постоянно проживают в Марокко, и желают временно выехать из него, тоже должны просить обратной визы; в противном случае они, покинув, хотя бы на день, территорию Королевства, теряют право на возвращение".

Так как в Италии еще были свежи воспоминания о марокканских бравых солдатах французского экспедиционного корпуса, дравшихся на ее фронте в конце последней войны, и о массовом изнасиловании ими итальянских девушек, то Рим все еще не решался подписать с Рабатом подобный договор.

Впоследствии этого, для поездки на летние каникулы, я должен был, заблаговременно, просить у марокканских властей, обратной визы. Мне посоветовали начать официальные шаги, как можно раньше, и еще в начале марта я подал заявление о моем желании, с первого июля текущего года, отлучиться на месяц из Марокко.

Прошли март, апрель и май, а о просимой мною визе не было ни слуху, ни духу. Как и каждый год, в итальянском лицее занятия оканчивались к первому июня, а пятнадцатого июня, после закрытия весенней экзаменационной сессии, я оказался совершенно свободным. Сарра освобождалась только тридцатого числа;

но стало очевидным, что визы к первому июля мне не дадут. Мы рассказали об этих обстоятельствах некоторым из наших знакомых, и один из них, рабатский еврей, предложил нам свои услуги. Этот господин, довольно крупный купец, имел "деловые" связи с неким высокопоставленным чиновником Министерства, от которого зависело многое, а в том числе и выдача виз проживающим в Марокко иностранцам, на право их выезда и возвращения обратно.

Замечу мимоходом, что большинство марокканских сановников и всяких "значительных лиц" королевской службы, после объявления независимости, получая, как и все чиновники мира, довольно скромное жалованье, не позже чем через год обзаводились собственными домами, автомобилями и прочими "внешними признаками богатства". Правда и то, что почти над всеми народами Ближнего и Среднего Востока, над их султанами, эмирами, королями и диктаторами, правил и правит доныне единый и могучий повелитель... Да здравствует Его Величество Бакшиш!!!

В назначенный день, вечером, я поехал в Рабат, где меня уже ожидал в девять часов утра наш любезный знакомец, и с ним вместе мы отправились в министерство. Сановник, к которому мы пришли, оказался тридцатипятилетним арабом. Он нас принял в своем деловом кабинете, важно развалившись в кресле, перед большим письменным столом. Над его головой, на стене, висел портрет короля. Он встретил нас довольно высокомерно, но, впрочем, милостиво, и пригласил нас сесть. Поговорив, вполголоса, о чем-то с моим спутником, и позвонив кому-то по телефону, сановник встал и пригласил меня следовать за ним. Наш знакомый господин попрощался со мной, я горячо поблагодарил его, и мы расстались.

Сановник привел меня в комнату, служившую чем-то вроде приемной, и указав на другую дверь, велел ждать когда меня туда позовут, прибавив, что моя виза будет готова, самое большее через двадцать минут. Затем он кивнул мне головой, и ушел. Я стал ждать. Делать мне было совершенно нечего — в приемной не было даже газет. Минуты потекли за минутами. Наскучив любоваться все тем же портретом марокканского короля на стене, я подошел к окну и стал смотреть на улицу; но и на ней ничего интересного не было. Прошли полчаса и, устав стоять, я снова сел на стул. Прошел час. Сидеть надоело; я встал и начал мерить шагами комнату: в длину и в ширину. Когда и это занятие мне

надоело — я снова сел. Прошел еще час. Может быть про меня забыли? За таинственной дверью все было тихо. В сотый раз я взглянул на подаренные мне Саррой часы. Стрелка, медленно подвигалась к одиннадцати. В полдень, конечно, министерство закроется. Я буду принужден вернуться после обеда, и может быть и на следующее утро. Вот тебе и двадцать минут! Наконец я не выдержал, и преодолевая мою врожденную застенчивость, робко постучал в дверь, но не получив ответа, отворил ее и вошел в другое помещение. В довольно обширной комнате, за четырьмя столами, сидели четыре чиновника, и явно ничего не делая, мирно разговаривали между собой по-арабски. Я извинился, что позволил себе их побеспокоить, но заметил им, что жду обещанной визы уже несколько часов.

— Вон отсюда! — заорал на меня один из бездельников; вероятно старший в чине.

— Но, простите меня, пожалуйста, — пробормотал я, совершенно смутившись от такого приема, — я только хотел узнать: как долго мне еще ждать?

— Вон, немедленно, отсюда! Не смейте входить пока вас не позовут! Вон!

Я вышел совершенно подавленный и обиженный. Все же мое дерзостное вторжение в храм восточного, безмятежного, ничегонеделания, возымело действие, и через четверть часа меня позвали, и поставили на мой паспорт долгожданную визу. Вечером я был уже в Танжере.

Между Женевой и Лозанной, на горном перевале, на высоте около тысячи метров, расположился очаровательный поселок — Сен Серг. Уже давно, эта бывшая горная деревушка превратилась в туристский центр, и в нем мы провели наши первые, незабываемые, каникулы. Мы целые дни гуляли, лазили по лесистым отлогим горам, и наслаждались прекрасным воздухом и видом на Лиман и на далекие заснеженные вершины Савойских Альп. Потом, на несколько дней, мы посетили Лозанну. На обратном пути мы остановились в нашей квартирке в Париже, на Пасси, и побывали в театре. На сердце скребли кошки: очень не хотелось возвращаться в Танжер.

Накануне отъезда нам стало невыносимо грустно, и целый день мы бродили по городу, проделав, между прочим, пешком, весь путь от Пасси до площади Святого Павла, с целью еще раз

пройтись по Елисейским полям, взглянуть на площадь Согласия и на Луврский дворец.

При возвращении, Танжер нам показался еще более несимпатичным и грязным чем всегда. Число европейцев сильно уменьшилось: их заменили арабы. В этом году, усилиями консульства, был отозван в Италию наш директор, Фрументези. Его место, временно, заняла одна пожилая учительница счетоводства, очень милая женщина. 20 декабря мы с Саррой отпраздновали первую годовщину нашего замужества. С каждым месяцем атмосфера в независимом Марокко становилась непереносимей. Нам понадобилось свидетельство личности, но для его получения пришлось дать арабскому чиновнику крупную взятку. Чтобы добиться какой-либо простейшей официальной бумаги, Сарра стала посылать, служившего в ее школе, араба, так как европейцам чиновники делали всяческие затруднения, и драли бакшиши невероятных размеров.

После присоединения Танжера к независимому Марокко, бывший билетный контролер городских автобусов, сделался чем-то вроде начальника города, и за один год своего правления колосально разбогател.

Наш маленький автомобиль, в недавнем прошлом, доставлявший нам столько удовольствий, пришлось продать: ближайший гараж находился слишком далеко от нашего теперешнего дома, а оставлять его на улице на ночь, как мы первое время пытались делать, стало невозможным, так как, еженощно, какие-то хулиганы приходили его ломать. Но главное, за город выезжать сделалось опасно: арабы, среди белого дня, нападали на автомобили, грабили и насиловали женщин. Мы сговорились с одним испанским шофером такси, и он каждое утро заезжал за нами и отвозил нас на работу, а в полдень вновь приезжал, и мы возвращались с ним домой. Это оказалось проще и дешевле нежели, при создавшихся обстоятельствах, иметь собственную машину.

Еще при жизни моей матери я начал выписывать из Парижа русские книги, и составил себе маленькую библиотеку. На этот раз я выписал полное собрание сочинений Шекспира, в переводе Пастернака, Щепкиной-Куперник и других. Пакет с книгами был задержан на почте, и мне было предложено подать специальную просьбу, с приложенным к ней списком, сделанным на французском языке, или по-арабски, заключенных в нем книг, с кратким объяснением их содержания. Заведовал контролем получае-

мой по почте, в Танжере, иностранной печати, бородатый араб патриархальной наружности. Интересно было бы знать: чем он занимался до объявления независимости Марокко? Сарра составила, на хорошем французском языке, список всех книг, со всевозможными пояснениями; но он ровно ничего не понял, и велел ей подписать заявление о том, что она берет на себя уголовную ответственность, утверждая об отсутствии у Шекспира всяких крамольных антиарабских или сионистских идей.

Получать впредь, при таких условиях, книги, не представлялось возможным. Это была последняя капля, переполнившая чашу нашего терпения. К тому времени, во Франции, в связи с деколонизацией, вышел декрет, по которому весь педагогический персонал Мирового Еврейского Союза, находившегося в Марокко, зачисляется в кадры французского Министерства просвещения и, одновременно, Сарра узнала, что имеет право, в текущем году, подать, если она того желает, в отставку, и перейти на полную государственную пенсию. Взвесив все, за и против, мы с Саррой решились на этот шаг: покинуть в конце этого года навсегда Марокко, и поселиться в нашей парижской квартире.

На пасхальные каникулы к нам приехали гостить Меер и Мишель, и мы все вместе поехали в Фец, посетить могилы матери Сарры и ее первого мужа.

В эту зиму Сарра была награждена орденом "Академических Пальм".

В марте месяце в итальянский лицей прибыл новый директор, с которым у меня сразу установились хорошие отношения; но моего решения оставить Танжер я не переменил, тем более, что он объявил о своем намерении, с будущего года закрыть лицей, а на его месте открыть низшее и среднее технические училища, главным образом для арабских детей.

В этом году, как и в прошедшем, мы решили провести наши летние каникулы в швейцарских горах, но, так как итальянское правительство подписало с марокканским договор о свободном, обоюдном въезде и выезде их граждан, то, на сей раз, для меня никакой визы больше не потребовалось.

В конце учебного года я предупредил нового директора о моем решении переехать на жительство в Париж. Он остался очень недовольным, и долго меня уговаривал продолжать работать в лицее, обещая относиться ко мне много лучше чем это делал Фрументези; но было слишком поздно: Сарра уже подала в отставку, да и мне,

умудренному опытом, не улыбалось преподавать в классе, переполненном арабскими парнями.

30 июня, как и каждый год, в здании школы "Мирового Еврейского Союза", состоялось торжественное заседание, по случаю окончания учебного года. Среди присутствовавших были: французский посланник в Танжере, несколько представителей еврейской танжерской общины и один высокопоставленный арабский сановник, делегированный самим губернатором танжерской зоны. Сарре предстояло, в качестве начальницы школы, произнести последнюю речь перед ее уходом в отставку. Она поднялась на трибуну, и в течение часа говорила о просветительной деятельности школ "Союза" в Марокко и о той огромной роли, которую сыграла Франция, в деле распространения в стране культуры и прогресса, в годы ее протектора над Королевством. По окончании речи, большинство из присутствовавших ей дружно аплодировали; но представители еврейской общины в Танжере, услыхав такую крамольную речь, сильно испугались, и остались очень недовольными. К счастью для всех, арабский сановник ничего в ней не понял. Зато к Сарре подошел французский посланник, и горячо поздравив ее, попросил дать ему копию речи, которую обещал переслать во французское Министерство Иностранных Дел.

Перед нашим отъездом на летние каникулы, мы оставили танжерскую квартиру, и отправили всю нашу мебель в Париж.

Лето мы снова провели в горах Швейцарии, около Лозанны. В сентябре нам было необходимо еще раз, на пару недель, вернуться в Танжер, на осеннюю сессию экзаменов. На этот раз, не имея больше своей квартиры, нам пришлось остановиться в небольшом отеле.

Окончив мою работу, и развязавшись с итальянским лицеем, я, в сопровождении Сарры, в последний раз посетил, на еврейском кладбище, могилы моих родителей.

23 сентября 1961 года, на борту французского пассажирского парохода, общества Паке, мы навсегда покинули Танжер.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Париж.

. . . .

Вот и мы с тобой в Париж,
Что б не думали о нас,
Прикатили в добрый час.

. . . .

. . . .

Здесь — и добрая Сент Вьерж,
И консьержка и консьерж,
И жандарм с большим хвостом,
И республика притом.

Дон Аминадо

ГЛАВА ПЕРВАЯ: В Париже.

В Париже мы поселились в доме жены, на Пасси. Наша квартира находится на третьем этаже весьма старого дома. Говорят, что он был построен еще при Луи-Филиппе. В ней — три комнаты, кухня, ванная, кладовая и небольшой коридор. Все окна выходят на улицу.

Вместе с нами осталась жить Мишель; ее брат, Меер уехал в Лион, где получил, в качестве инженера, довольно высокий и ответственный пост. Мишель готовилась к поступлению в Сорбонну, на историко-географический факультет.

Приехав, мы загромоздили все комнаты, уже прежде меблированные, еще и нашей мебелью. Первые дни было немало работы с ее размещением. Кроме того, у Сарры оказалось много фран-

цузских книг, которые теперь были присоединены к моим, и составили вместе с ними солидную библиотеку. В один из первых вечеров, когда я увлекся размещением их по полкам, и забыл взглянуть на часы, в десять минут одиннадцатого, в дверь постучалась наша соседка и возмущенно заявила, что для столь позднего часа я слишком шумлю. Это было мое первое, серьезное знакомство с "шумобоязнью", болезнью которой страдают почти все французы. Рассказывают, что жители одного французского селения потребовали прекращения воскресной церковной благовести, которая им мешала утром спокойно спать.

Каждый парижанин, житель многоэтажного дома, всей душой ненавидит за шум своего соседа, живущего этажом выше, а тот, в свою очередь, по той же причине, рассматривает как своего личного врага жителя квартиры, находящейся над ним, и так далее. Только проживающий под самой крышей, не испытывает к своим ближним этих нехороших чувств.

Покончив с размещением мебели, книг и прочего, мы начали думать о том, что теперь следует предпринять. Прежде всего необходимо было узаконить мое пребывание во Франции. С этой целью, в начале ноября, я пошел в парижскую Префектуру; но там мне объяснили, что первые три месяца мне никаких разрешений на жительство не требуется, так как я рассматриваюсь как итальянский турист. В Марселе, портовые власти поставили на моем паспорте дату моего въезда: 25 сентября 1961 года. Следовательно я мог не подавать заявление до 24 декабря текущего года. Одновременно меня предупредили, что я буду обязан доставить в Префектуру свидетельство итальянского консульства о моем постоянном жительстве в Париже. Итальянское Генеральное Консульство находится в пятнадцати минутах ходьбы от нашего дома. Неделю спустя я пошел туда. Консульский служащий объяснил мне, что не может засвидетельствовать о моем постоянном жительстве в Париже, если я, прежде, не принесу ему "carte de segour", которое я могу получить только в Префектуре. Образовался порочный круг, и я указал ему на это обстоятельство. Подумав немного, чиновник согласился со мной, и написал на моем паспорте все, что требовалось. Пятого декабря, не желая дожидаться кануна рождества, я отправился в Префектуру. В метро, по дороге туда, мне встретился молодой болгарский еврей. Случайно мы с ним разговорились. Он рассказал, как ему удалось выбраться из Болгарии, и добраться до Парижа. К несчастью, этим не окончились

его мытарства. Будучи болгарским гражданином, он не имел права на трехмесячное проживание без визы, на положении простого туриста. В первый раз ему дали разрешение оставаться во Франции один месяц. Теперь этот срок истек, и он хочет просить о продолжении этого разрешения хотя бы еще на месяц. После довольно долгого ожидания, как всегда в Префектуре было очень много народа, меня принял молодой чиновник, оказавшийся весьма любезным, спросил меня о моих видах на заработки, и выдал мне розовую книжку, "carte de segour provisoire", на шесть месяцев, посоветовав мне, за это время, найти себе работу, ибо, в противном случае, для продления моего права жительства во Франции, могут возникнуть серьезные затруднения. Все-таки, при выходе из Префектуры, с розовой книжкой в кармане, подумав о мытарствах болгарского еврея и вспомнив Рабат, я почувствовал себя чуть ли не французским гражданином, и переполнился симпатией к Префектуре и ее чиновникам.

Вторую годовщину свадьбы мы отпраздновали на нашей квартире, а новый год поехали встречать в парижское предместье — Эзанвиль, где недавно поселилась, со своим мужем и маленькой дочкой, старшая дочь Сарры, Люсьен.

С января 1962 года, мы начали прилагать всевозможные усилия для нахождения для меня какого-нибудь занятия; но в пятьдесят лет, и без солидного знания французского языка, это оказалось практически невозможным. Я пошел в существующий в Париже итальянский лицей, но, несмотря на имеющийся у меня отличный аттестат, кроме довольно неопределенных обещаний на будущий год, ничего там не добился.

Прошли шесть месяцев; наступил предельный срок. 4 июля я явился в, уже мне хорошо знакомую, Префектуру. На этот раз меня приняла пожилая чиновница. С первого взгляда на нее я решил, что нахожусь в присутствии озлобленной на жизнь старой девы. Просмотрев мой итальянский паспорт, и розовую книжку, дающую мне временное право жительства, она сухо спросила:

— Вы работаете где-нибудь?

— Нет, — сознался я.

— Какие же в таком случае у вас имеются средства на жизнь?

— Я живу с моей женой, французской гражданкой, в ее собственном доме, и она получает приличную государственную пенсию. — Я назвал ей сумму.

— Она получает ее; но не вы.

— Совершенно верно, но нам этих денег вполне хватает на безбедное существование.

— Да, но что вы сами собираетесь делать? Вы предполагаете жить во Франции на пенсию вашей жены?

Я ей объяснил, что уже искал работу; но иностранцу, после пятидесяти лет, найти ее весьма трудно.

— Такое положение, по-моему, совершенно ненормальное, — заявила она мне. — Во всяком случае сегодня я ваше право на жительство не продлю. Приходите через два дня, и принесите, от комиссара полиции вашего района, свидетельство о вашей благонадежности.

На этот раз я вышел из Префектуры с чувством, непохожим на то, немного наивное, испытанное мной при моем первом визите.

На следующий день, в сопровождении моей жены, я пошел к комиссару полиции района Пасси. Он не заставил долго ждать, и принял меня очень любезно. Поговорив со мной минут с десять, он выдал мне свидетельство о моей полной благонадежности.

Назавтра я снова предстал перед ясными очами этой старой злюки.

— Вот, мадам, я вам принес от полицейского комиссара моего района, требуемую вами бумагу.

— Почему вы на два дня опоздали, и пропустили срок вашего разрешения на право жительства?

Я взглянул на нее во все глаза.

— Но я был у вас позавчера, т. е. ровно в срок, и вы сами велели мне прийти, со свидетельством о моей благонадежности, через два дня.

— Ах, да! Совершенно верно. Извиняюсь! Хорошо; на этот раз я вам продлю ваше право на жительство еще на шесть месяцев; но потрудитесь, за это время, найти себе работу.

Мое положение нас с Саррой сильно беспокоило; но на нахождение для меня какой-либо работы, надежды было мало.

Есть такой еврейский анекдот:

Однажды позвал к себе польский пан своего арендатора — еврея.

— Послушай, Мойше, я решил не продлевать больше твоей аренды. Завтра срок. Земля, на которой стоит твоя корчма, принадлежит мне, и у меня на нее имеются другие виды.

— Смилуйтесь, ясновельможный Пан! — возопил бедный еврей, упав перед ним на колени. — У меня жена, восемь человек детей, и старушка-мать. На что мы жить будем? Мы все с голоду умрем!

Пан подозвал к себе огромного, любимого им, пса, и указав Мойше на него, с усмешкой сказал:

— Ладно, будет плакать! Ты меня совсем разжалобил. Но я ставлю тебе одно условие: обещай мне выучить этого пса говорить по-польски. Даю тебе год сроку. Если ты мне теперь обещаешь, что через год Султан научится польскому языку, то я тебя оставляю еще на этот год владеть твоей корчмой, и в случае удачи продлю потом твою аренду на десять лет. Но, смотри, если тебе это не удастся, то, так и знай, через год я засеку тебя до смерти. Ты еще можешь отказаться; но в этом случае завтра же убирайся, со своей семьей, из корчмы.

Ясновельможный Пан! — обрадовался Мойше. — Да будет вам, и всей вашей семье, столько счастья, что и сказать нельзя! Ваш Султан, через год, будет говорить по-польски лучше вашей милости. — С этими словами он удалился.

Придя домой, Мойше позвал свою жену, Ривку и все ей рассказал.

Несчастная женщина разрыдалась:

— Ой, Мойше, что ты наделал! Ну где это виданно чтобы собака научилась говорить на человеческом языке, хотя бы и по-польски. Что будет с нами через год? Пан, я знаю его, он сдержит свое слово. Было бы лучше оставить эту проклятую корчму; может быть Господь и помог бы нам устроиться где-нибудь на новом месте. Теперь пан тебя убьет!

— Не плачь, Ривка, — успокоил ее Мойше, — год — большой срок, а за это время многое может произойти: или собака умрет, или ясновельможный пан сдохнет.

Основываясь на мудрости Мойши, и заключив, что шесть месяцев тоже срок немалый, мы решили временно оставить все заботы, и уехать на лето в Италию, которую я не видел с 1939 года. Первые несколько недель мы прожили в Нерви. Мне было и сладко и грустно. Все там было по-прежнему: те же горы, те же скалы, то же море, та же "Passeggiata al Mare", тот же парк, и даже те же скамейки,... но ни одного знакомого лица. Здесь, еще подростком, я гулял в компании таких же, как и я, мальчиков и девочек. Вот, на этой самой скамье, каждое воскресное утро, мы с отцом сидели, ожидая когда мимо пронесется экспресс "Рим—Париж". Вот тут, около башни над морем, я сфотографировался рядом с моей матерью. Странное ощущение охватило тогда меня. Что-то в этом роде должен был бы чувствовать выходец с того света, вернув-

шийся в места, где некогда, при жизни, он был счастлив, и, вдруг, поняв, что он там уже совершенно чужой.

Из Нерви мы поехали в Неаполь, где проживала, со своим мужем и двумя сыновьями, Рая Крайнина. Она нам очень обрадовалась; но годы прошли и для нее. Никаких общих интересов у меня с ней больше не оказалось. Даже о своей несчастной матери она ни разу не вспомнила. Во время нашего пребывания в Неаполе случилось небольшое землятресение. Хотя оно и было не сильным, но мы с Саррой решили тотчас покинуть эту "землю — танцовщицу", как выражаются итальянцы.

Вернувшись в Париж, мы занялись вопросом о моей деятельности, и надумали превратиться в коммерсантов, ...но торговать мы совершенно не умели.

Я знал одного русского дворянина — отчаянного пьяницу. Когда его благородию вздумалось заняться на чужбине торговлей, то он открыл кабак.

Мы оба — "запойные" чтецы книг,... и потому решили открыть книжный магазин. После нескольких неудачных поисков нам попался небольшой книжный магазин, в пятнадцатом парижском округе, на улице Бломе. Жена, будучи французской гражданкой, купила его на свое имя, за относительно сходную плату, часть которой мы выплатили сразу, а на остальную сумму Сарра подписала долгосрочные векселя. Она правильно решила, что рассчитывать на прибыль не следует, и установила суммы и сроки векселей, основываясь исключительно на получаемой ею пенсии. Впоследствии, такой рассчет оказался очень верным.

Теперь мое положение, в отношении парижской Префектуры, определилось: жена торгует, а я ей помогаю. Но несмотря на это мы решили, что следует предпринять еще и другие шаги. В одной, проживающей в Париже, родственной Сарре семье, мы случайно познакомились с, недавно ушедшим на пенсию, дивизионным комиссаром полиции. Узнав о моих затруднениях, он мне обещал помочь получить "обыкновенное" (ordinaire) право на жительство, продлеваемое раз в три года. Для этого я должен был, предварительно, пройти через специальный, строго официальный, медицинский контроль. Процедура неприятная и, по моему мнению, совершенно излишняя: в таком огромном и космополитном городе как Париж, всяких болезней не меньше, если не больше, чем во многих городах и странах мира. Так или иначе, но утром, 4 декабря 1962 года, с медицинским свидетельством в кармане,

в назначенный час, я уже ждал, на площади перед Префектурой, знакомого комиссара. Он был точен. Оставив меня в приемной зале, комиссар, взяв мои бумаги, ушел куда-то, но минут через двадцать вернулся и сказал, что все в порядке, после чего отвел меня к моей старой знакомой. Я его поблагодарил, и он ушел.

"Чего вы вздумали обращаться к какому-то дивизионному комиссару? — напала она на меня. — "Обыкновенное" право на жительство я бы дала вам и без него. И откуда, только, взялся этот комиссар? Никогда я его раньше не встречала".

Она была очень недовольна, и с большой неохотой выдала мне, взамен моей розовой, временной, книжки, зеленую, продлеваемую раз в три года. Все это она проделала, ворча себе под нос что-то об иностранцах и о трудностях жизни.

Я взял новенькую зеленую книжку, попрощался со старой девой, и ушел. Больше мою "приятельницу" из Префектуры мне не пришлось встречать.

Теперь, с легким сердцем, мы с женой могли заняться книжной торговлей.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Наш книжный магазин.

В пятнадцатом округе Парижа существует довольно длинная, узкая и немного кривая улица: Бломе. Несколько веков тому назад она была главной артерией селения, носящего то же имя, и доселе в ней есть что-то, если не деревенское то, во всяком случае, глубоко провинциальное. Обыватели этой улицы хорошо знакомы между собой, и каждый из них знает все самые интимные тайны семейной и личной жизни своих соседей. Почти на каждом ее углу бойко работают кабачки-бистро. Кстати, знаете ли вы почему парижские кабачки, расположенные, обыкновенно, на углах улиц, носят название "бистро". Слово это русского происхождения. Когда казаки графа Платова, в погоне за Наполеоном, и мстя ему за Москву, вошли в Париж; Платов хорошо зная слабости своих "нерушимых" героев, и справедливо опасаясь, что они сопьются и развратятся в этом "Новом Вавилоне", строго приказал им не посещать парижских кабаков и других злачных мест, коими была столь богата французская столица. Однако, бравые сыны тихого Дона, не могли полностью устоять перед соблазнами жизни, и частенько, украдкой, забегали в угловые кабач-

ки, прося налить им стакан вина. При этом, опасаясь своего начальства, они торопясь говорили кабатчикам: "быстро, быстро". Это "быстро", в произношении парижан, превратилось в "бистро", и сделалось названием угловых кабаков и кофеен.

Улица Бломе известна своим общественным бассейном для плавания, и танцулькой, посещаемой, главным образом, молодежью африканского происхождения.

Недалеко от этой улицы проходит другая, носящая громкое историческое имя Камброна. Может быть поэтому, а может быть и по другой, совершенно независимой, причине, но звучное слово героя Ватерлоо раздается там непрерывно, и является выражением всех человеческих чувств ее жителей обоего пола: гнева и одобрения, радости и горя, любви и злобы, наслаждения и страдания. Прибавлю, что для определения качества атмосферы этих кварталов пятнадцатого парижского округа, атмосферы как физической так, равно, и моральной, я тоже не нахожу другого слова.

В нижнем этаже одного из многоэтажных домов, стоящих на этой улице, находился купленный нами книжный магазин. Когда-то, очень давно, здесь помещалось какое-то торговое заведение. Однажды, роясь в найденных мною архивах, я наткнулся на пару приходо-расходных книг конца прошлого века. Позже это помещение занимал сапожник, а еще позже, одна молодая французская девица открыла тут книжный магазин. Этот магазин, если верить местному преданию, принес ей счастье — вскоре она вышла замуж за дипломата, и уехала с мужем в Канаду, предварительно продав его двум другим дамам (магазин, а не мужа) ; а те, в свою очередь, разделались с ним, перепродав некой мадам Пом, жене одного небольшого писателя, автора нескольких рассказов и сказок для детей; а эта последняя продала его нам. Будущая супруга дипломата, вероятно обладавшая богатой фантазией, окрестила свой магазин "Бломе", и под столь "неожиданным" именем, переходя из рук в руки, он достался и нам. И вот, в одно прекрасное осеннее утро, с заветными ключами в кармане, мы сели в метро на станции Пасси, пересели в другое на станции Пастер, сошли на Вожирар, пересекли довольно длинный сквер, и свернув направо, пройдя мимо двух "бистро" и одной винной лавки, достигли помещения, в котором нам суждено было проводить целые дни, в течение пяти лет. Магазин состоял из двух комнат: передней и задней. Входная дверь в первую из них на-

ходилась рядом с витриной. У стен стояли высокие полки с книгами. В одном из задних углов помещался письменный стол, и на нем стоял телефон. Этот стол служил также кассой. Рядом находилась газовая плита, необходимая в зимние холода. Слева от нее другая дверь вела в заднюю комнату полную старых книг. Эти книги, доставшиеся нам довольно дешево, должны были составлять нечто вроде библиотеки; но так как, обыкновенно, взявший книгу клиент, и заплативший за это несколько франков, дающих ему право в течение целого месяца брать на дом по одной из них, столько раз сколько ему вздумается, предпочитал оставлять ее у себя и больше не возвращаться; то мы, наученные опытом, скоро закрыли библиотеку, решив попытаться распродать ее за треть или четверть нормальной цены.

В глубине второй комнаты помещалось подобие маленькой кухоньки, и при ней водяной кран. Оттуда другая дверь вела, через внутренний коридор дома, во двор. Все другие необходимые удобства находились довольно далеко — на заднем дворе. Под магазином имелся еще небольшой подвал, сырой, темный и мало для чего годный. В него вел люк из первой комнаты. Население дома состояло из мелких чиновников и служащих, лавочников, рабочих и т. д. Жило в нем немало детей и подростков.

Несмотря на некоторую разношерстность сией фауны, на всех их лежал один общий отпечаток улицы Бломе.

В одном из верхних этажей дома проживала замужняя учительница низшей школы. Узнав про нее, моя жена обрадовалась, и написала ей очень любезное письмо, как коллега коллеге, приглашая ее посетить нас в нашем новом магазине. Она на письмо ничего не ответила, и не пришла; а два года спустя, по неизвестной причине, пыталась покончить с собой, выбросившись из окна. Впрочем, эта ее попытка успехом не увенчалась, и учительница осталась жива, но шума и сплетен, не только в доме, но и на улице, было немало.

Обыватели этих мест страдали порой приступами одной специфической, и довольно распространенной там болезни. Как-то раз к нам зашла одна из жилиц дома, и в разговоре с женой, пожаловалась ей, что муж был этой ночью свезен в больницу. "Что с ним?" — с участием спросила Сарра. "О! Ничего особенного: с ним случился приступ белой горячки", — последовал хладнокровный ответ. Действительно — болезнь самая обыкновенная и вполне нормальная.

В доме проживала семья, состоящая из мужа: мужчины щуплого, маленького и вечно больного; жены: женщины непомерного роста, толстой, некрасивой, и обладавшей голосом, способным разрушить стены Иерихона, и дочери лет двадцати пяти, одного роста с матерью, но с лицом довольно миловидным. Обе дамы были художницами, а дочь еще преподавала где-то рисование. Мать рассказывала нам, что ее дочь была очень строгих нравов и чрезвычайно стыдлива. Однажды мне довелось слышать, как эта благонравная девица, поспорив с кем-то на лестнице дома, ругалась как портовый грузчик.

Наш магазин работал почти со всеми главными парижскими издательствами: Ашет, Ларус, Плон, Фламмарион, Альбен-Мишель и некоторыми другими. Все эти издательства поставляли нам периодически пакеты с изданными ими новинками, но выбираемые по их собственному усмотрению. Эти книги мы обязаны были принимать. Такие пакеты книг назывались "обязательными" (d'office), и были нами оплачиваемы вперед, путем выдачи специальных, краткосрочных, векселей, учитываемых в указанном нами банке. Жена имела, в одном из самых крупных французских банков, текущий счет, на который, раз в три месяца, государство платило ей ее пенсию. Новые книги выставлялись на витрине магазина.

После трех месяцев все не проданные новинки возвращались издателю, и он, при новой присылке "обязательных" книг, вычитывал, из следуемой нами за них суммы, стоимость не проданного товара. На каждой книге мы зарабатывали от 30% до 33%. На этом торговля ограничиться не могла, так как покупатели часто требовали книги разных других издательств, или же старые, уже ранее возвращенные издателям. С целью удовлетворения требований клиентов, в шестом округе Парижа, существовал Дом Книги, где можно было найти требуемые издания; но платить за них приходилось наличными, и возвращать их было нельзя.

Вскоре после покупки магазина я расширил нашу торговлю, создав раздел русских книг. Для этой цели я стал работать с "Глобом", большим магазином, являвшимся представителем советского "Госиздата", и с прекрасным эмигрантским издательством "Имка-Пресс". Жена целыми днями сидела в магазине, продавая книги, распечатывая и запечатывая пакеты с ними, подписывая векселя и тому подобное; а я, почти каждое утро ездил в "Дом Книги", и в разные другие издательства, пересаживался по

несколько раз из метро в метро, и таскал пакеты, нередко непомерной тяжести. Остальное время я сидел в магазине, вел всю бухгалтерию и русскую корреспонденцию, и помогал жене в торговле. Бухгалтерия должна была быть в полном порядке, так как мы в ней были ответственны перед налоговым управлением. Работа была очень тяжелой, и оказалась, в конце концов, убыточной. Общие расходы: плата за помещение, освещение, отопление и прочее, составляли до 25% всей суммы денежного оборота. Остальное уходило на уплату налогов, патента и так далее. Но были еще и другие препятствия, которые мы, совсем неожиданно, встретили на нашем поприще.

Первые месяцы после открытия магазина к нам приходило немало покупателей, но, как мы это впоследствии поняли, их толкало простое любопытство. Вскоре, увы! количество клиентов стало заметно уменьшаться. Улица Бломе узнала, что мы не только иностранцы, преступление, по мнению многих, непростительное; но еще хуже того — евреи. Однажды, сидя в магазине за моим письменным столом, и приводя в порядок нашу бухгалтерию, я услыхал, за дверью, ведущую во двор, чей-то нарочито громкий голос: "Терпеть не могу евреев". Недалеко от магазина жила одна алжирская еврейка. Узнав, что мы ее единоверцы, эта дама стала нас изредка посещать. Она нам рассказала, что слышала собственными ушами, как некоторые из жителей улицы Бломе вели активную пропаганду, призывая всех бойкотировать "еврейский книжный магазин". Она нам советовала, если мы хотим продолжать книжную торговлю, переменить улицу. Однажды мы нашли на двери магазина, сделанную ночью краской надпись: "Евреи". В нашу дверь начали забегать мальчишки и хулиганить, отпугивая даже тех клиентов, которые еще продолжали к нам приходить. Сын той самой учительницы, которая выбросилась из окна, купив где-то книгу, имевшуюся у нас, и выставленную на витрине, показал ее издали моей жене, мол: "купил, да не у вас". Через несколько дней после открытия нашего магазина, к нам зашла одна дама, и принесла книгу дорогого издания, в которой не хватало пары листов. Такие браки нередки. Она нам объяснила, что, купив ее у прежней хозяйки, сразу не посмотрела, а теперь не знает как быть. Я взял эту книгу и отправился с нею в издательство. Там мне ее переменили. Когда, дня через два, дама вернулась, я ей отдал обмененный том, и на ее вопрос: "Сколько вам за нее следует?", конечно ответил: "Ничего". Она меня очень

благодарила, и обещала быть нашей верной клиенткой. Я часто потом встречал ее на улице Бломе, а иногда и с разными книгами в руках, но к нам она больше ни разу не заглянула.

Дорогой читатель, разреши теперь показать тебе портретную галерею наших покупателей. Переступи ее порог и следуй за мной. Эта галерея состоит из двух отделов: французского и русского. Начнем с французского:

Портрет 1-й:

Молодой человек мрачного вида. Являлся он только по вечерам, и часами рылся среди старых книг, в поисках описания ужасов гитлеризма, или, вообще, разных пыток и истязаний; а если находил такое произведение, то, немедленно, его покупал. Сарра боялась этого господина.

Портрет 2-й:

Молодая. красивая и образованная дама. Всегда приходила со своими тремя дочерьми-подростками. Она часто покупала у нас книги, и порой дорогих изданий. Увы, мы стали замечать, что всякий раз после ее покупки, исчезали из магазина два-три других, не менее дорогих тома. Она воровала и учила воровать своих миловидных, и как куколки одетых, дочерей.

Портрет 3-й:

Очень представительный, и уже немолодой, господин. Его фамилия, которую он сам нам назвал, носила приставку "Де". Однажды в разговоре со мной он заявил: "Семитская раса любит разрушать: это ее страсть; но между евреями и арабами, двумя главными ее представителями, есть разница: евреи, разрушая, мечтают, на развалинах старого, создать нечто новое, с их точки зрения, лучшее; тогда как для арабов разрушение является самоцелью".

Портрет 4-й:

"Я – внучка Альфонса Додэ", — представилась нам дама средних лет, и ничем не замечательной наружности. Она рассказала нам, что унаследовала все авторские права знаменитого писателя, и проживает в шикарном парижском предместье Неи. Рассказывая нам о славном предке, она почему-то умалчивала о своих собственных родителях. Неужели это была дочь Леона Додэ и

правнучка Виктора Гюго? У нее самой был уже взрослый сын. Однажды, купив у нас довольно дорогую книгу, она заявила, что у нее с собой нет денег, и просила подождать несколько дней. Мы согласились... и больше ее никогда не видели. Однако сын ее еще раз зашел к нам. На наш учтивый вопрос о здоровье его матушки, и о том когда она собирается нам заплатить за купленную ею книгу, юноша отвечал, что, слава Богу, его мать здорова; а что касается покупки у нас какой-то книги, то об этом он в первый раз слышит. С тех пор оба потомка великих писателей исчезли с нашего горизонта.

Портрет 5-й:

Пришел молодой, хорошо одетый, господин, купил у нас несколько дорогих книг, и заплатил за них нам чеком на солидный парижский банк. Чек оказался непокрытым, и мы решили его опротестовать, и передать дело судебным властям. К счастью, раньше чем мы успели привести это наше решение в исполнение, пришла к нам пожилая дама и, почти что плача, спросила нас о чеке. Узнав, что мы еще ничего не предприняли, она очень обрадовалась, выкупила его, заплатив нам наличными, и тотчас порвала. Покончив с ним она нам откровенно рассказала о своем горе: этот молодой человек — ее сын, и если бы не ее постоянные усилия, то он уже давно сидел бы в тюрьме. Бедная мать!

Портрет 6-й:

Их было трое. В это утро я не пошел за книгами к оптовым торговцам, и спокойно сидел за моим столом, проверяя счета. Сарра, пользуясь моим присутствием в магазине, отправилась на ближайший рынок, сделать кое-какие покупки.

В магазин они вошли все вместе, двое из них держали под мышками довольно большие портфели. Все трое были совсем молодыми парнями и имели вид серьезный, почти деловой. Один из них попросил меня показать ему довольно дорогую книгу, стоящую на верхней полке, и пока я ее доставал и показывал, двое других набивали себе портфели "карманными"книжками. Я сделал вид, что ничего не замечаю; а они сделали вид, что мне верят.

Набив туго свои портфели, эти "покупатели" пошли к выходу, а первый, ничего конечно не купив, вежливо меня поблагодарил и извинился за беспокойство. Что прикажете делать!? Со-

всем недавно, на той же улице, один торговец — еврей был убит в своей лавке. "Карманных" книжек пропало штук до двадцати, но товар это был дешевый, и большого убытка мы не понесли.

Всех портретов, за один раз, не пересмотришь, и я замечаю, дорогой читатель, что ты начинаешь уставать. Сядь вот на этот диван, он здесь стоит специально для посетителей, и хорошенько отдохни. После отдыха, если ты того пожелаешь, я тебя поведу осматривать второй отдел: русский.

Ну, что? Отдохнул? В таком случае следуй за мной:

Портрет 1-й:

Старый, седой человек, одет как парижский бродяга-клошар, но носит громкую фамилию одного из известных фаворитов Екатерины Великой. Он почти ежедневно бывал в нашем магазине, и покупал немало книг. Он был единственным русским клиентом, о котором я вспоминаю с симпатией.

Портрет 2-й:

Коренастый пожилой господин. Говорит правильно по-русски, но с легким немецким акцентом. "Имеются у вас русские юмористические книги?" Я указал ему на район, в котором у меня находились некоторые книги Зощенко, Аверченко, Тэффи и т. п. "Двенадцать стульев" и "Золотой Теленок", — прочел покупатель.

— Я уже слышал об этих произведениях. Кто их автор? Ильф и Петров? Ильф, вероятно — еврей?

— Право не знаю, — холодно ответил я ему. Он отложил в сторону эту книгу, и купил другую — Зощенко.

Портрет 3-й:

Вошел русский господин средних лет, внимательно осмотрел магазин, и попросил продать ему дорогую и редкую русскую книгу. Конечно, как и следовало ожидать, у меня ее не оказалось; но мне было известно где я мог ее купить, но только за наличные, и без права возврата.

— Хорошо, — сказал я ему, — я вам ее достану, но мне необходим задаток.

— Задатка я вам не дам; но даю вам честное слово, что дня через четыре зайду за нею и ее у вас куплю.

— Хорошо, пусть будет по-вашему, без задатка я рискую, но, хотя, я вас совершенно не знаю, хочу верить вашему честному слову.

Назавтра я купил эту книгу. Через четыре дня мой незнакомец действительно явился в магазин.

— Достали книгу?

— Да, — ответил я, — вот она.

— Великолепно! Но я у вас ее купить не могу. Очень сожалею.

— Простите, господин, не имею чести знать вашего имени; но как же так? Ведь я не взял у вас задатка, поверив вам на слово.

— Да вот так, очень просто: не покупаю ее у вас; вот и все.

Он ушел. По совершенно счастливой случайности мне ее удалось продать. Недели через две, этот подлец вновь зашел в наш магазин.

— Что? Небось вам не удалось продать эту книгу?

— Нет, сударь, как раз наоборот: я ее удачно продал.

Он взглянул на меня недоверчиво и зло, и ушел очень недовольный.

Портрет 4-й:

Унылый, сорокапятилетний господин. Часто заходил к нам, и изредка покупал разные русские книги; но, главное, рассказывал мне о своей жизни, и жаловался на одиночество. Ему не хватало женщины. Он говорил об этом трогательно, и мне его было искренне жалко. Однажды, после непродолжительного отсутствия, придя в магазин, он мне поведал о своей встрече с молодой, интересной и незамужней американкой, которая, по его словам, была к нему благосклонна.

"Я хотел было на ней жениться, — рассказывал горестно он, — но узнал, что она еврейка". При этих словах он взглянул на меня, растерялся, очень смутился и, желая поправиться, сказал: "Конечно, это не так уж важно — все же лучше, чем если бы она была негритянкой или арабкой". Затем он окончательно растерялся, запутался, и поспешно ушел. Больше этот несчастный к нам не приходил.

Портрет 5-й:

Старый русский адвокат, лет шестидесяти с лишним. Первое время он не знал, что я еврей, и зачастил свои визиты, но узнав,

сразу охладел. В последний раз этот юрист пришел в наш магазин в сопровождении своей жены, которую я ранее никогда не видел. Купить — они ничего не купили, но его супруга, безо всякой видимой связи, стала говорить что-то о людях, предки которых мучили Христа.

Портрет 6-й:

"Вы — хозяин этого русского магазина?"

Передо мной стоял какой-то полупочтенный господин, с большой папкой под мышкой.

— Я самый! Чем могу служить?

— Я хочу вам предложить чрезвычайно редкое и очень выгодное дело.

— Я вас слушаю. Если оно действительно выгодное, то отказаться от него было бы грешно.

— У меня в этой папке несколько подлинников картин кисти великих мастеров. Только не подумайте, пожалуйста, что они мне достались нечестным путем. Их я получил от наследников одного любителя... и очень дешево. Вот, судите сами: это — Рембрандт, а это — Гойя, а вот неизвестная картина нашего соотечественника, Репина. Смотрите сюда, это — Мадонна Рафаэля.

Говоря всю эту чепуху, он ловко вытаскивал из папки картины и холсты с невероятной мазней.

— Простите меня, но я продажей картин не занимаюсь, и, по правде сказать, в них плохо разбираюсь.

— Но взгляните хорошенько на произведения мастеров, которые я вам предлагаю; и за какую цену! О, я знаю! вы мне не верите; вы думаете, что это только копии. Я вам ручаюсь, что все предлагаемые вам картины — оригиналы. Но, положим, что это только хорошие копии. За подобную цену их все-таки стоит купить.

— Если, действительно, как вы утверждаете, вы владеете подлинниками картин кисти столь великих художников, то в Париже, при музеях, есть много крупных специалистов-экспертов, которые оценят их по заслугам, и заплатят вам за них огромные деньги.

— Мне не охота искать специалистов, и я хотел дать возможность хорошо заработать моему земляку.

— Премного вам благодарен; но я картинами не торгую.

В конце концов он ушел, но месяцев через шесть явился ко мне с новыми "шедеврами", и вновь удалился с тем же результатом.

Портрет 7-й:

— Вы торгуете русскими книгами?

— Войдите, пожалуйста, какие книги вы ищете?

— Я не покупатель, а продавец. Интересуют ли вас старинные русские книги и документы?

Я насторожился:

— Очень интересуют. Что именно у вас имеется для продажи?

— О! У меня есть много разного, — неопределенно ответил продавец; — но теперь я вам принес единственное в своем роде, и совсем недорого: пятьдесят тысяч франков, не более.

— Деньги эти для меня не малые, — заметил я ему, — но все же покажите, что вы мне принесли.

— Вы ни за что не догадаетесь! Документу, который я вам принес, и цены нет; но если она показалась вам слишком большой, то я могу ее сбавить.

— Ладно, — сказал я, — о цене поговорим позже; покажите теперь ваш редкий русский документ.

Он развернул передо мной, начерченную карандашом, плохую копию физической карты Европейской России.

— Мне кажется, — заметил я, — что для географической карты, указанная вами цена, немного высока.

— Когда вы узнаете кто ее начертал, вы поймете, что цена, указанная мной, ничтожна. Это та самая карта Российского Царства, которую рисовал царевич Федор Годунов.

Я чуть не упал со стула.

— Скажите, может у вас еще имеется и подлинник письма Татьяны Лариной Евгению Онегину? Я бы купил оба документа вместе.

Он понял, что я смеюсь над ним, и ушел. Дорогой читатель, я чувствую, что ты мне не веришь, но даю тебе честное слово, что я не лгу, и все мною рассказанное — чистейшая правда. Закончу эту русскую галерею двумя последними портретами:

Портрет 8-й:

Восьмидесятилетний старик-киевлянин, клятвенно уверявший меня, что вся императорская семья жива, и скрывается инкогнито в Северной Америке. Ее, будто, спас какой-то русский еврей.

Портрет 9-й:

Донской казак лет пятидесяти. Он пришел в наш магазин один только раз, и долго мне жаловался... на зверства Петра Первого,

совершенные им на Дону. Одновременно он обвинял в измене известного казацкого поэта, проживавшего в Париже, за его стихи, воспевающие Великого Императора.

До того как я, в качестве книжного торговца, начал тесно сталкиваться со всевозможными людьми с улицы, я не имел представления о том сколько существует злых, подлых и просто неуравновешенных людей: пьяниц, развратников и сумасшедших.

Французская дама — вдова. Изредка приходила покупать у нас книги. Жила одна в квартире, переполненной кошками и клетками с птицами. Говорила часто о самоубийстве. Ее мать, в свое время, покончила с собой.

Почтенная старушка. Пришла к нам искать, для своего взрослого внука, песенки; но обязательно похабного содержания.

Молодой парень лет двадцати. Часто подходил к дверям нашего магазина, складывал свои пальцы в виде револьвера, и делал вид, что стреляет в нас. Последнее время с ним стала приходить молодая девица, и хохотала вместе с ним.

Девушка лет девятнадцати. Она регулярно покупала у нас книги по философии, и зачитывалась Платоном, Кантом, Гегелем, Спинозой и другими философами; а по вечерам пьянствовала в угловом бистро.

Немолодая женщина, жена рабочего и мать троих взрослых дочерей, не могла спокойно смотреть ни на одного мужчину, не пропуская даже полупарализованного старика.

Вспоминается А. К. Толстой:

"Поведай, шуток кроме —
Спросила тут невеста —
Им в сумасшедшем доме
Ужели нету места?"

"О свет ты мой желанный!
Душа моя ты, Лада!
Уж очень им пространный
Построить дом бы надо!"

Прошло три года, и в первых числах декабря 1965 года я снова должен был отправиться в Префектуру для продления, на тот же срок, моей зеленой книжки, дающей мне право на жительство во Франции.

С утра, закрыв наш магазин, мы с женой поехали туда. На этот раз я был уверен в моих правах. Как всегда, в приемной Префектуры толпилось множество просителей всех наций и цветов. Теперь там моей старой знакомой не оказалось; должно быть она ушла на пенсию. Вместо нее сидели две чиновницы средних лет: одна писала, а другая принимала посетителей. Последним, в длинной очереди перед нами, оказался молодой серб. Он оправдывался в чем-то, и в голосе его слышались слезы: "Но я ведь телефонировал по этому поводу в Префектуру, и мне так и сказали".

— Ты только послушай его, — обратилась, с усмешкой, чиновница к своей коллеге, — он, видишь ли, телефонировал в Префектуру.

Кончила она тем, что прогнала беднягу. Наступила наша очередь. Чиновница взяла все принесенные нами бумаги, просмотрела их, и спросила жену: какие она имеет средства к существованию? Сарра объяснила, что живет на пенсию, которую ей выплачивает, раз в три месяца, Министерство просвещения, внося на ее текущий счет в банке. Кроме этого она теперь является хозяйкой книжного магазина, а я ей в нем помогаю.

— В таком случае принесите мне свидетельство, из вашего банка, о получаемой вами пенсии.

Было уже около одиннадцати часов утра, а расстояния в Париже огромные. Мы отправились в банк доставать нужную бумагу, получили ее только к полудню, сильно устали, и зная, что в полдень Префектура бывает закрыта, пошли обедать в ближайший ресторан. К открытию бюро мы приехали в Префектуру. Снова, как и утром, нам пришлось долго ждать.

— Принесли банковское свидетельство?

— Вот оно.

— Прекрасно. А чем занимается ваш муж?

— Я вам уже объяснила, что он мне помогает в моей книжной торговле.

— Покажите мне свидетельство Коммерческой Палаты, что вы являетесь, действительно, хозяйкой вашего магазина.

— Но у меня его с собой нет.

— В таком случае принесите мне его.

— Мадам, почему вы об этом нам сразу не сказали? Теперь мы страшно устали, и уже вечер.

— Мне нужна эта бумага, — сухо ответила чиновница.

К счастью вмешалась, сидевшая рядом, ее подруга:

— Да полно тебе: оставь их в покое.

Наша мучительница что-то ответила ей; но на свидетельстве Коммерческой Палаты больше не настаивала, и продлила мне право на жительство еще на три года.

Я узнал из письма от одного из моих бывших танжерских коллег, что мой свидетель на свадьбе, преподаватель французского языка, Джаймо, любивший хвастать своим умением ладить с арабскими учениками, не выдержал, и попросил перевода. Его назначили на пост "культурного атташе", при итальянском посольстве в Египте. Уезжая он сказал: "Вейцман был прав: в Танжере нет никакой возможности продолжать преподавание". Вскоре я получил письмо от его жены. Она мне сообщала о скоропостижной смерти ее мужа: он был раздавлен автомобилем.

Вследствие все усиливающегося бойкота нашего магазина, и не очень лойяльной конкуренции самих издателей, наши дела пошли столь плохо, что мы решили его продать. Дело оказалось нелегким; но в 1967 году нам это, наконец, удалось. Мы его продали молодым супругам, французам. Жена была уроженкой пятнадцатого парижского округа. Они подписали векселя, но очень скоро отказались по ним платить. Пришлось судиться. Суд длился долго; но кончился тем, что присудил в нашу пользу. Все же они, еще до сего дня, не выплатили следуемых нам денег.

Нет худа без добра! За эти пять лет, несмотря на все встретившиеся нам трудности и неприятности, мы узнали много интересного из области литературы, и значительно пополнили нашу собственную библиотеку.

Были у нас и чисто семейные радости: Меер женился в Лионе на дочери коллеги Сарры, инженере по своему образованию, выбравшую своей специальностью электронику. Незадолго до продажи нашего магазина, Мишель вышла замуж за молодого француза, сына учителя математики и учительницы низшей школы. Через год он уехал в Женеву работать в одном крупном швейцарском издательстве, а Мишель, бросив Сорбонну, последовала за ним, и устроилась там учительницей в государственной школе женевского кантона. Она очень довольна своей педагогической деятельностью.

Покончив с магазином, мы с Саррой остались жить одни, в на-

шей маленькой квартирке на Пасси, готовясь встретить в ней приближающуюся старость.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Шестидневная война.

Весна 1967 года. Мы находились накануне продажи, надоевшего нам и убыточного магазина. Теперь нашей мечтой стало покинуть навсегда улицу Бломе, с ее жителями и устроить нашу жизнь тихо и просто, без необходимости ежедневно сталкиваться со всяким сбродом. Кроме всего прочего, мы оба устали, и я больше не имел сил таскать, через весь город, тяжелые пакеты с книгами. Что касается моих прав на жительство, то мы решили, что парижская Префектура не имеет никаких серьезных оснований отказать мне в продлении моей зеленой книжки, даже если я нигде не буду работать; тем паче, что мне исполнилось уже 55 лет, а во Франции, даже французскому гражданину, потерявшему, после пятидесяти лет, свою работу, было очень трудно найти другую.

Продажа магазина состоялась в мае; но еще до этого акта наше духовное спокойствие было внезапно нарушено: над Израилем, над вновь воскресшим после девятнадцати веков Отечеством, собрались черные тучи. Мы досиживали последние дни в нашем магазине, когда до нас дошли устрашающие вести: радио и газеты оповестили всему миру, что Насер стянул в Синайскую пустыню армию в 80.000 человек и 900 танков. Одновременно он потребовал ухода голубых касок из Синая, Газы и Акабского залива. ООН немедленно повиновалась, и отозвала голубые каски; а 22 мая, египетский диктатор объявил блокаду этого залива, занял своими войсками Шарм-а-Шейх, и закрыл Тиранский пролив. В тот же день он произнес речь, напомнившую мне некоторые речи другого диктатора — Муссолини. Приведу наиболее характерную выдержку из нее:

"Мы ожидали того дня когда мы будем готовы. Впустую я не говорю. Недавно мы себя почувствовали достаточно сильными чтобы, с Божьей помощью, победить Израиль. Однажды я уже сказал, что мы имеем возможность, в полчаса, потребовать ухода голубых касок, и когда мы будем готовы, мы это сделаем. Занятие нашими силами Шарм-а-Шейха, это война с Израилем. Наши теперешние мероприятия обозначают, что мы готовы к войне. Наша цель — уничтожение Израиля."

Этот отрывок исторической речи Насера, я заимствовал из известной книги Аба Эвена: "Мой народ".

Теперь я нередко слышу, и как это ни странно, но иногда и от самих евреев, что 5 июня 1967 года, войну начал Израиль, и, следовательно, он является агрессором. Правда, при этом, евреи обыкновенно прибавляют, что "шестидневная" война была, вероятно, необходима, но все же, в этот роковой день, с чисто юридической точки зрения, Израиль был виновен в нападении на арабов.

Не только совсем недвусмысленная насеровская речь, но и все истерические крики арабских вождей, призывавших в те страшные дни, по радио и в печати, к уничтожению Израиля, и к массовому, физическому, истреблению его населения, совершенно очевидно указывают на ошибочность, если не на преднамеренную ложь, подобных утверждений; но, кроме того, одно из постановлений ООН, сделанное еще в самом начале ее существования, постановление, номер которого я не помню, но на котором, главным образом, настаивал СССР, гласит, что всякое закрытие проливов рассматривается как характерный акт агрессии. СССР настаивая, в свое время, на принятии этого международного закона, конечно, имел в виду не Тиранский пролив, но Дарданелы и Босфор; однако закон был принят, и закрыв Тиранский пролив, и блокировав Акабский залив, Насер, юридически и фактически, явился агрессором. Арабы организовались, и кроме вышеуказанного египетского войска в 80.000 человек, к рубежам нашего крохотного Отечества начали стекаться еще многие десятки тысяч сирийцев, иорданцев, иракийцев, алжирцев, марокканцев и других. Население Израиля насчитывало, в то время, приблизительно 2.400.000 евреев и 400.000 неевреев, из которых большинство — арабы. С другой стороны, мусульманский мир насчитывал несколько сот миллионов человек. Израиль объявил всеобщую мобилизацию. Под ружье стали все, кто только мог держать оружие: мужчины и женщины. До нас дошли слухи, что даже дети помогали рыть окопы. Чтобы хоть немного оправдать свою военную авантюру, Насер заявил, что Израиль стянул большие военные силы на границу с Сирией, готовясь напасть на эту страну. Специальная комиссия ООН, посланная в Израиль, официально опровергла это заявление; но такое опровержение Насера не смутило. К израильскому министру иностранных дел явился советский посол и заявил, что ввиду концентрации изра-

ильской армии на сирийской границе, СССР порывает с Израилем дипломатические отношения. Министр предложил советскому послу поехать с ним на эту границу, и воочию убедиться в неверности этого утверждения. В ответ, советский посол вручил ему ноту о разрыве, и отказался от предложенной свободной ревизии.

4 июня были подписаны договоры военного союза между большинством арабских стран, направленного против Израиля.

Израиль, которому Великие Державы некогда гарантировали независимость, обещая, в случае крайней необходимости, их помощь, обратился к ним за ней; но они под разным предлогом ему в ней отказали.

5 июня наше Отечество, оставшись одиноким перед лицом неминуемой гибели, открыло военные действия против своего формального агрессора, Египта. Одновременно оно обратилось к иорданскому королю Хусейну, умоляя его оставаться нейтральным. Все было тщетно, и в тот же день, объединенные арабские армии, со всех сторон напали на Израиль.

Много с тех пор было написано строго технических объяснений и анализов той молниеносной победы, которую крохотный Израиль, в шесть дней, одержал над более чем стотысячной, и прекрасно вооруженной союзной армией врага.

Все это, конечно, верно; но... я не представляю себе другого государства, на месте Израиля, способного, при одинаковых условиях, одержать подобную победу. Слишком малочисленной была наша армия. Нет! Против сотен тысяч арабских солдат, на помощь Израилю, встали шесть миллионов наших мучеников. Они пришли из газовых камер Аушвица и Бухенвальда; из огненного ада варшавского гетто; из черных ям Бабьего Яра.

Шесть миллионов воинов: мужчин и женщин, стариков и детей: непобедимых, невидимых и уже более неуязвимых, поднялись они спасать недавно воскресшее Отечество, дабы впредь стали невозможными ужасы гитлеризма. И дрогнули, и побежали перед ними арабские полчища, и вместе с живыми воинами Израиля, перед Стеною Плача, молились на коленях, в отныне освобожденном и объединенном Иерусалиме, незримые шесть миллионов. А бело-голубое знамя, со щитом Давида, развевалось над Святым Городом, над плоскогорьем Голан, и над восточным побережьем Суэцкого канала.

Во Франции, да, пожалуй, и во всем мире, никто не ожидал подобной развязки. Еще только 4 июня 1967 года все дипломаты

и политики, журналисты и известные писатели, сидя в креслах первого ряда партера, или в правительственной ложе, Театра Истории, готовились через пару дней, а то быть может и через пару часов, присутствовать на грандиозном спектакле. Предлагаемая им пьеса носила на афишах, приятно щекочущее их нервы, название: "Гибель вековых надежд или кровавая трагедия Израиля". За право присутствовать на этом спектакле все они заплатили, не деньгами, но честью и человеческой совестью, т. е. правом на бессмертие их душ. Цена немалая! Журналисты вынули блокноты и самопишущие перья, и приготовились строчить рецензии, а дипломаты вставили в глаза свои монокли.

Один очень известный французский писатель, ныне покойный, имя его я не назову, написал заранее, со свойственным ему талантом, прекрасную, прочувствованную надгробную речь, полную громких похвал и крокодиловых слез. Раздались три удара и занавес взвился. И, вдруг: какой неприятный сюрприз! Артисты перепутали роли, или, быть может, великий драматург — История, попросту обманула публику и посмеялась над ней. Разразился неописуемый скандал. Избранная публика потребовала обратно плату за билеты; но дьявол не вернул им их душ. "Ничего — во всеуслышанье твердили некоторые из них — Израиль, на сей раз, победил на фронте военном, а, вот, победит ли он на фронте дипломатическом? Это еще бабушка надвое сказала."

Не беспокойтесь дорогие друзья, за Израиль не бойтесь — победит и на нем.

Насер отказался от всяких переговоров с Израилем, и продолжал громко призывать к борьбе с ним, "до победного конца"; пока, вскоре, преждевременная и внезапная смерть не заставила его навсегда умолкнуть.

Шестидневная война, прозвучавшая как набат среди глубокого сна, пробудила во всех евреях, достойных этого имени, сознание органической связи диаспоры с Израилем. Все мы кинулись на помощь Отечеству. Многие молодые люди отправились проливать за Израиль свою кровь, а остальные евреи, всех возрастов и социальных классов, помогли и продолжают помогать, своими деньгами, своей пропагандой и влиянием. Если Израиль, без диаспоры, пока еще слишком мал и слаб, то диаспора без Израиля — лишь несколько миллионов рассеянных по миру париев, всячески унижаемых и гонимых, осужденных, в близком или далеком будущем, на газовые камеры и крематории.

Вскоре после окончания Шестидневной войны я имел очень характерный спор с одним, мне близко знакомым, французским коммунистом. Он, зная что я сионист, и при первой встрече со мной, стал меня горячо упрекать:

Комм.: Почему вы начали эту превентивную войну? Малого нехватало до мировой катастрофы. Зачем вам нужна Палестина? Она вам не принадлежит. Вы взяли ее у арабов.

Я: Эта страна наша! Если вы читали историю или библию, то об этом знаете не хуже меня.

Комм.: То, что вы мне говорите – не резон. Уже много веков Палестина принадлежит арабам. Если следовать вашему рассуждению, то и Италия имеет право на Англию, потому что полторы тысячи лет тому назад ею владели римляне.

Я: Пример нехорош: римляне, как и арабы, суть завоеватели. Коренное население страны, ныне именуемой Палестиной, после полного исчезновения древних мелких народностей, некогда ее населявших, являются евреи.

Комм.: Евреи могли бы жить среди арабов, как они живут в Алжире или Марокко.

Я: Евреи, как и арабы, как и всякий народ, имеют право на свою собственную землю и на свое Отечество. Почему моему народу должно быть отказано в том, в чем не отказывают никакому другому?

Комм.: Это неверно: ваш народ не единственный не имеющий своего Отечества. Существуют еще и цыгане.

Я: Но и цыгане страдали как и мы. Гитлер пытался совершенно их всех уничтожить, как и нас. Отсутствие Отечества, в течение последних девятнадцати веков, вызывало и вызывает постоянные гонения на мой народ. Я не говорю уже о Гитлере, но вспомните русские погромы.

Комм.: Когда евреев гнали в одной стране, им ничего не мешало переехать в другую. Почему ваши русские евреи, в эпоху царизма, не приехали жить в нашу свободную Францию, в которой никогда не существовало антисемитизма?

Я: Вы совершенно правы, и примером всего вами сказанного служит дело Дрейфуса.

Комм.: Сионизм и теперь способен вызвать во Франции вспышку антисемитизма.

Я: Не будем путать причину со следствием: не сионизм вызвал

антисемитизм, но антисемитизм — сионизм. Знаете ли вы какие страдания перенес еврейский народ в эпоху гитлеризма?

Комм.: Не один еврейский народ, но все народы перенесли, в ту эпоху, много страданий.

Я: Но не один из них, даже приблизительно, не перенес того, что перенесли мы. Известно ли вам сколько евреев было умерщвлено Гитлером во время Второй мировой войны: 6.000.000.

Комм.: Другие народы тоже потеряли не меньше этого.

Я: Да, но ни один народ не потерял половины всего своего европейского населения.

Комм.: Все равно — вы не имеете права на Палестину.

Я: Нет, мы имеем на нее и исторические и моральные права; но если бы даже мы их не имели то, подумайте только: арабы владеют всеми землями, от границ Индии до Марокко, и большая часть этих земель баснословно богата; а еврейский народ, пережив все гонения, все погромы, все костры инквизиции и газовые камеры, просит теперь, у своих братьев — арабов, крохотный и совсем бедный клочок земли, на который мы, что бы там ни говорили, имеем исторические права. Неужели мы просим так много?

Комм.: А если арабы вам его дать не хотят?

Я: Тогда мы возьмем его силой.

Комм.: Ваш народ сам виноват, что его не любят. Сколько зла причиняют ваши богачи, ваши фабриканты, ваши банкиры. Руки барона Ротшильда обагрены французской кровью!

Когда дело дошло до еврейских богачей, сосущих кровь христианских бедняков, то я решил замолчать, и прервал спор.

Пусть сам читатель нас рассудит, и сделает соответствующие выводы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Израильский юмор.

В России, задолго до революции, существовали, так называемые, еврейские анекдоты. Их часто сочиняли сами евреи, и они отличались остроумием, и являлись характерным отражением нашего народного юмора. После образования Израиля появился юмор израильский, отличный от прежнего, порожденного в изгнании. Приведу несколько примеров таких анекдотов; но если читатель, что весьма возможно, их уже знает, то он может пропустить эту главу.

Как-то раз сошлись три путешественника: египтянин, индус и израильтянин. Сошлись они и заспорили: чья культура древней.

Египтянин сказал: "Наша культура, несомненно, самая древняя. Недавно у нас были совершены очень важные археологические раскопки, и на глубине 300 метров был найден рельс. Это доказывает, что три тысячи лет тому назад у нас, в Египте, уже существовала железная дорога".

"Простите, но наша культура древнее вашей, — сказал индус. — И у нас, в Индии, делали археологические раскопки, и на глубине 500 метров нашли проволоку. Это доказывает, что в Индии, пять тысяч лет тому назад, уже существовал электрический телеграф".

"О, нет! — воскликнул израильтянин. — Самая древняя культура, бесспорно, наша. У нас, в Израиле, археологических раскопок делают множество. Недавно наши ученые дорылись до 700 метров глубины, и что бы вы думали, что они там нашли? Ничего! Это доказывает, что на нашей земле, семь тысяч лет тому назад, существовал уже беспроволочный телеграф".

После основания Израиля страна переживала очень тяжелый экономический кризис, и для его разрешения правительство созвало специальную сессию Кнессета. До поздней ночи продолжалось его заседание; но депутаты ничего надумать не смогли. К полуночи все страшно устали, и председатель уже был готов закрыть заседание, когда один из депутатов поднялся и сказал:

"Дорогие друзья, мне кажется, что я нашел верное средство обогатить нашу страну. Вам всем, конечно, хорошо известно, как широко помогает Америка Германии, Италии и Японии. Соединенные Штаты имеют обыкновение осыпать золотом своего побежденного врага. Основываясь на этом я предлагаю объявить Америке войну, и после ее окончания эта Великая Держава нам даст столько миллионов долларов, что мы их и считать устанем".

Сделанное предложение вызвало всеобщее одобрение.

"Ты мудр, как царь Соломон", — сказал ему председательствующий.

Но в тот момент, когда Кнессет уже совсем собрался проголосовать объявление Соединенным Штатам войны, поднялся со своего места другой депутат — старый талмудист.

"Погодите с голосованием, хаверим, и раньше послушайте, что я вам скажу: проект великолепен, но он имеет одно чрезвы-

чайно слабое место, и потому заключает в себе огромный риск: хорошо если, в войне с нами, победит Америка; но что будет если победим мы?"

Президент одной, нам дружественной, державы, однажды, посетил Израиль. Совершив все обычные, предусмотрительные протоколы, визиты; высокий гость выразил нашему первому министру свое желание преклониться перед могилой неизвестного солдата. Скрыв свое смущение Бен-Гурион ответил, что на следующий день покажет Его Превосходительству эту могилу. По уходе президента, он вызвал к себе, спешно, генерала Даяна.

"Послушай, Моше, что мы теперь будем делать? Президент хочет, перед своим отъездом, преклониться перед могилой нашего неизвестного солдата. Во всех странах мира существуют такие могилы, но у нас, как ты сам знаешь, неизвестных солдат нет — все известны. Что мы ему завтра покажем?"

— Ну, что ты так волнуешься, Давид? Будь совершенно спокоен. Не позже чем завтра утром я сам покажу этому гою могилу неизвестного солдата.

На следующее утро президент, в компании Моше Даяна, отправился на одно из кладбищ Тель-Авива, и там Даян привел его к могиле, на надгробной плите, которой, на иврите и по-английски, было написано:

"Здесь покоится Соломон Альтерман. Родился в Кишиневе, в 1882 году. Умер в 1958 году".

Президент внимательно прочел надпись, и удивленно взглянул на, невозмутимо стоящего рядом, Моше Даяна.

— Объясните мне, генерал, какой же это "неизвестный солдат", когда на его могиле написаны и имя, и фамилия его, и год рождения?

— Видите ли, Ваше Превосходительство, — ответил хладнокровно Моше Даян, — я покойника лично хорошо знал: он был отличным коммерсантом, примерным отцом семейства и, вообще, прекрасным человеком; но, могу вас заверить моей честью, что как солдат он был совершенно неизвестен.

Брежнев вызвал к себе главного раввина Москвы.

— Гражданин главный раввин, я вас попросил придти ко мне чтобы спросить у вас совета, по поводу все того же еврейского вопроса, продолжающего, увы, существовать в нашей свободной,

социалистической стране. Какие, по вашему мнению, существуют возможности для его окончательного разрешения?

— Гражданин Генеральный Секретарь Коммунистической Партии Советского Союза, для его разрешения существуют две возможности: первая — вполне реальная и естественная, а вторая — сверхъестественная и совершено фантастическая, в которую, по правде сказать, я и сам плохо верю.

— Вы знаете отлично, гражданин главный раввин, что я — марксист и материалист и, следовательно, в сверхъестественное верю еще меньше чем вы, а фантастикой совершенно не интересуюсь. А потому прошу вас, не теряя времени, объяснить мне, какая, по вашему мнению, существует реальная и вполне естественная возможность для разрешения этого вопроса?

— Первая, совершенно естественная и реальная возможность, — ответил главный раввин, — это появление Архангела Божьего, с огненным мечом, который, собрав всех евреев, проживающих в СССР, выведет их из социалистического рая и приведет их в Израиль.

Откинувшись на спинку своего стула, Брежнев громко и искренне расхохотался.

— Вы великолепны и бесподобны, гражданин главный раввин! Но теперь, прошу вас, скажите мне, что же вы называете возможностью сверхъестественной и фантастической, да еще такой, в которую, даже человек, обладающий вашей богатейшей фантазией, не может серьезно поверить?

— Такой возможностью, гражданин Генеральный Секретарь, является ваше собственное разрешение, сделанное вами по доброй воле, всем евреям, желающим покинуть СССР, уехать в Израиль.

ГЛАВА ПЯТАЯ: "Революция" 1968 года.

Отшумела Шестидневная война. Там где сливаются Белый Нил с Голубым, в Хартуме, столице Судана, состоялась историческая конференция. На нее съехались представители почти всех арабских государств, и на ней было вынесено решение, ныне заброшенное в пыльные архивы международной дипломатии; но вошедшее в историю примером исключительной наглости и глупости. Это постановление было доведено до сведения ООН и основывалось на трех пунктах:

1. Ни при каких условиях, ни одно из арабских государств, не будет вести переговоры с Израилем, непосредственно.

2. Арабские государства никогда не признают Израиля.

3. Ни одна арабская держава не подпишет мира с Израилем.

Некоторые, весьма крупные, западноевропейские политические деятели, выразили арабам свое сочувствие и симпатию, обвиняя весь еврейский народ в, ему совершенно несвойственных, грехах, как то: в непомерной гордыне, агрессивности и склонности к империализму; смешивая, по словам одного нейтрального наблюдателя, Аушвиц с Аустерлицем. На Израиль, со стороны ООН, посыпались обвинения и анафемы. Но ведь этот шум не мог изменить факта контроля Израилем всей территории на запад от Иордана, тянущуюся от вершин Голан до Тиранского пролива. Многие месяцы, после молниеносной победы нашего крохотного Отечества, радио и газеты всего мира, ежедневно говорили и писали об Израиле, и надо сказать, в своем огромном большинстве, без особого доброжелательства. Но время шло и "новизна сменяет новизну".

Весной 1968 года, в Западной Германии начались серьезные студенческие беспорядки, анархо-троцкистского характера. Образовалась террористическая организация, которую впоследствии окрестили именем ее вождя и вдохновителя: "Бадеровская банда". Эти новости немного отвлекли всех журналистов от Израиля.

В один из майских вечеров я сидел перед моим телевизором и слушал спикера, который, подробно описав берлинские события, не без самодовольства, заявил: "У нас, во Франции, подобные события совершенно невозможны". Через пару дней в Париже начались "Майские Дни" 1968 года.

Кто-то сказал: "Неудавшаяся революция называется бунтом, а удавшийся бунт — революцией".

До сих пор я затрудняюсь сказать, что это такое было: бунт или революция? Все началось из-за пустяков; но в подобных случаях пустяк является только предлогом: студенты, проживающие в их общежитии, потребовали для себя большей свободы, и в частности, права приводить к себе в комнаты женщин. Им в этом отказали, и они взбунтовались. Меня, как иностранца, эти события близко не касались, но как жителя Парижа не интересовать не могли. Начались уличные бои, с баррикадами и бросанием булыжников в головы полицейских. Студенты заняли Сор-

бонну и некоторые другие общественные здания и театры. Вскоре к ним присоединились и рабочие. Началась всеобщая забастовка: все остановилось.

Мишель, проживавшая уже тогда, со своим мужем, в Женеве, нас звала к себе; но мы решили спокойно переждать события, живя в нашем тихом шестнадцатом парижском округе и, думается мне, хорошо сделали. Сидя в удобном кресле, в тишине нашей квартирки на Пасси, мы, по вечерам, смотрели на экран телевизора, наблюдая за полетом булыжников, дымом слезоточивых бомб, и грандиозными шествиями манифестантов, с красными и черными флагами, поющими хором Интернационал.

Пусть меня не упрекают в равнодушии или даже в цинизме старого эгоиста, но, повторяю, эти исторические события меня хотя и интересовали, но прямо не касались; я был только их иностранным свидетелем.

Созвали конференцию на улице Гренель, на этой конференции рабочие добились для себя ряда весьма положительных результатов. Правительство пошло на уступки. В июне пришли, из Западной Германии, войска генерала Масю, и Париж, видевший, в свою долгую и буйную историю, и не такие виды, понемногу успокоился и поехал отдыхать на летние каникулы.

Все пошло по старому... и ничего не пошло по старому. Что-то изменилось, и изменилось коренным образом. Весьма возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что после этих событий даже уличное движение сделалось беспорядочней. Сильно увеличилась преступность, участились нападения на банки, почтовые конторы и, попросту, на частных лиц. Ездить в парижском метро, после известного часа, стало небезопасно. Политика, которая всегда, более или менее, царствовала в университетах, проникла даже в лицеи; а с ней проникли в среду учащихся: гашим, опиум, морфий, кокаин и героин. Условия жизни изменились; и вот почему, по прошествии восьми лет, я себя спрашиваю: что же произошло в мае 1968 года: бунт или революция?

К первому декабрю 1968 года я был вновь принужден пойти в Префектуру, просить очередного продления моего права на жительство. На этот раз, для устранения возможных препятствий, мы с женой решили купить, на мое имя, маленькую квартирку в две комнаты, долженствующую, теоретически, приносить мне некоторый доход, могущий оправдать, в глазах требовательных

чиновниц, мои личные материальные возможности проживать в Париже. Из этой попытки, как и можно было предполагать, тоже ничего не вышло, и после ее продажи, к счастью без особых убытков, мое положение не изменилось.

Придя в Префектуру, я был приятно поражен исчезновением пожилых и, явно недоброжелательных, дам, заседавших в приемной для иностранцев. Их заменили еще совсем молодые и миловидные чиновницы. Кто знает: может и эта перемена была следствием майских событий?

На этот раз дело обошлось без больших затруднений, и после того, как молодая особа, правда очень вежливо, выразила свое удивление по поводу того, что я ничего не зарабатываю, и живу, вместе с женой на ее пенсию, мое право на жительство было продлено еще на три года. Все ж таки вся эта процедура оставалась для меня крайне неприятной и унизительной. Уходя из Префектуры я взял, предлагаемый там публике, анкетный лист просьбы о переходе с положения "обыкновенного" иностранного жителя на положение "привилегированного". Голубая книжка, выдаваемая "привилегированному" иностранцу, продлевается раз в десять лет. Придя домой, и прочтя условия, необходимые для получения этой книжки, я убедился, что они, увы, совершенно не соответствуют моим, и потому, спрятав печатную просьбу в ящик моего стола, решил спокойно ждать еще три года.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Моя Муза.

Стареют поэты, но не музы. Я ясно понял эту истину когда, во время майских событий 1968 года, сидя спокойно у себя дома, как и подобает уже пожилому и солидному господину, и глядя на маленький экран телевизора, услыхал как кто-то быстро и шумно вошел в комнату, и оглянувшись увидал перед собой мою Музу. Она имела такой вид, как будто только что вернулась с баррикад Латинского квартала: волосы у нее были растрепаны, платье порвано, глаза горели. Входя ко мне она запела громким голосом "Черное Знамя":

Споемте же, братья, под громы ударов,
Под пули и взрывы, под пламя пожаров,

Под Знаменем Черным великой борьбы,
Под звуки набата, призывной трубы!

. . . .
. . . .

Довольно позорной и рабской любви!
Мы горе народа потопим в крови.

Я взглянул на нее удивленно и неодобрительно: "Скажи мне, пожалуйста, что это означает? Разве так себя ведут благовоспитанные музы из хорошего общества? Ты похожа теперь не на Музу, а на пьяную вакханку".

Она, действительно, была словно пьяная. Ведь и музы способны пьянеть: иногда от вина, а иногда и от других причин.

"Ничего мне теперь не возражай, Старина, — ответила мне она, — возьми свое перо и пиши".

Я раза три, внимательно, прочитал эту восторженную революционную поэму, ею мне продиктованную.

"Послушай, моя милая Муза, по своей форме твоя поэма весьма неплоха, но по своему внутреннему содержанию совершенно не соответствует моим теперешним взглядам. Кроме того ты, вероятно, забыла, что не находишься у себя, и эти события тебя не касаются".

С этими словами я взял написанное и, разорвав на мелкие кусочки, бросил в корзину с сором. Моя Муза ужасно обиделась и рассердилась. Пробормотав что-то совсем нелестное о старых жирных буржуях, она ушла, хлопнув дверью, пообещав, напоследок, мне ужасно отомстить. Угрозе ее я не поверил и не очень испугался: ну чем, в самом деле, мне может отомстить моя Муза? В крайнем случае она больше не придет. Ну и не надо! Спокойней будет! Все-таки мне было не по себе: уж очень я привык к моей взбалмошной Музе. Прошло некоторое время — Муза, действительно, не являлась. Но вот, в один прекрасный день, когда я ее совершенно не ждал, она пришла ко мне: с виду такая миленькая, хорошо одетая и причесанная. Как если бы между нами не произошло никакой ссоры, она смиренно уселась возле меня. Я покосился на нее, но она мне ласково улыбнулась, и предложила писать.

Я человек крайне доверчивый! А теперь, дорогой читатель, суди сам:

ДРУГУ-КРИТИКУ:

Увы! ты прав: я не поэт,
А только рифмоплет.
Вины моей, поверь, в том нет:
Мне чужд орлиный взлет.

Я не любовник пылких муз,
И жалкий мой Пегас
Не разорвет своих он уз
Для взлета на Парнас.

Смешна вам рифмоплетов роль:
Что ни строфа — надрыв!
Но ты пойми весь стыд, всю боль,
Когда бескрыл порыв!

Поэты очень самолюбивы, а у меня даже слезы навернулись на глаза; но эта злючка, довольная своей местью, расхохоталась мне в лицо, и ушла уверенная, что я и эти стихи, как и предыдущие, порву. Но она ошиблась, и я их не порвал. Да будет ей стыдно! Кроме того, как знать, может она и права. Через несколько дней она вновь пришла, сильно смущенная, опустила глазки, и извинившись передо мной, стала меня уверять, что все ею продиктованное, совершенно не соответствует ее обо мне мнению. Мы помирились. Однако я заметил, что Муза не успокоилась, и ее душу продолжали волновать, не знаю какие, бунтарские чувства. Я не ошибся. Извинившись и помирившись, она сама принесла мне лист бумаги, сунула в руку перо, и громко провозгласила:

"ДЕТИ БУРИ"
(Четырехстопная хорея).

Нам ли, нам ли, детям: бури,
Белых вьюг и черных гроз;
В царстве солнца и лазури
Пить дыханье вешних роз?!

Нам ли, нам ли жить во власти
Легких ласк и нежных грез?!
Нам родившимся для страсти,
Для борьбы, страданья, слез!

Нас ли, нас ли вновь связали
Ложью дивных слов и снов?!
Мы стальные цепи рвали,
Нам куют их из... цветов!

Наша жизнь — лишь ветер вольный,
Волны, тучи, ночи жуть!
Братья! нам сверканья молний
Кажут в мраке верный путь.

"Правда — красиво?!"

— Муза, моя Муза! — воскликнул я, невольно пародируя Кольцова. — Неужели, действительно, ты находишь это стихотворение таким красивым? Разберем его хорошенько: четыре раза "нам ли", два раза "нас ли", и кроме того: это ты себя вообразила дочерью бури? Скажи мне: что это за мрачная романтика? Ты, никак, Байрона начиталась?

— Ты и эти мои стихи собираешься порвать? — угрожающе спросила она меня.

— Нет, — обещал я ей, — эти стихи я не порву.

На этот раз мы с нею не поссорились.

Однажды, войдя в мою библиотеку, я застал там Музу, роющуюся в книгах русских поэтов, и уже отложившую в сторону А. Блока, Майкова и некоторых других.

— В чем дело, Муза? Что ты ищешь?

— Я ищу все русские переводы замечательного произведения Генриха Гейне: "Песня Лорелей". Их очень много, но ни одно меня не удовлетворяет. Хочешь, напишем теперь мы с тобой вольный перевод этой Песни.

Я согласился.

ПЕСНЯ ЛОРЕЛЕЙ.
(Вольный перевод).

Отчего тоскою гложет
Душу, шум речной волны?

Иль забыть она не может
Песню давней старины?

Ветер влажный, ветер нежный
Веет, реет над рекой;
Гаснет свет на белоснежной —
На вершине снеговой.

День погас и солнце скрылось,
Звезды смотрят с высоты;
На утесе появилась
Дева — чудо красоты.

Клубы поднялись седые,
И сырой туман встает;
Гребнем кудри золотые
Дева чешет, и поет.

Песня льется; сердце, млея,
К ней летит, зовет, ведет...
Лорелея, Лорелея,
Лорелея рейнских вод!

Слыша песню, забывает
Об опасности рыбак;
Бросив сети уплывает,
Ей навстречу, в ночь и в мрак.

Об утесы разбивает
Рейн челны рыбарей.
Люди гибнут; ... распевает
Про любовь им Лорелей.

Генрих Гейне.

Люди, переступившие порог своего шестидесятилетия, начинают, изредка, думать о той курносой особе, которая, раньше или позже, но должна их навестить. Эта мысль посетила и меня.

"Что ты сидишь такой невеселый, и нахохлился словно мокрая курица?"

Я поднял голову: передо мной стояла моя Муза. Я промолчал.

"Не о смерти ли задумался?
Брось! пустая это думушка."

Процитировала она, с маленьким изменением, Некрасова. Я ей сознался, что, действительно, думал о ней.

"Не хнычь, Старина, я тебе, в нескольких словах, разъясню ее тайну. Садись и пиши".

ТАЙНА СМЕРТИ.

Когда смерть к нам приходит стопою неслышной,
И уносит навеки любимых людей;
Мы взываем к Тебе: О! Всесильный, Всевышний,
Пожалей Ты Своих неразумных детей!

Объясни нам загадку последней разлуки:
Что случилось теперь? и, что будет потом?
Утоли Твоим светом душевные муки,
Дабы мыслить могли мы спокойно о том.

И стремимся, вотще, через бездну незнанья,
Перекинуть, гипотез ошибочных, мост,
Умоляя Творца дать нам свет упованья;
А ответ на вопросы короток и прост:

Мы пришли, чтоб прожить, в этот мир бесконечный,
Небольшое число нам положенных лет,
Сознавая, что смерть только сон... хоть и вечный;
Но и вечность — лишь ночь,... а за нею рассвет.

По моему, моя Муза мне ничего не разъяснила, но мою тоску она все же рассеяла. Слова и только слова, значения которых мы не понимаем; но я искренне посмеялся над попыткой этой дурочки разрешить неразрешимое.

Однако теперь довольно! Пусть моя Муза не обижается, но это стихотворение — последнее, которое я помещаю в моем третьем томе воспоминаний. За будущее я не ручаюсь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: После продажи магазина.

История моей жизни приближается к концу; но до этого я собираюсь описать еще два, три события, касающиеся или моего Отечества, или лично меня с Саррой. Пусть читающий эти строки простит автора за излишнюю болтливость, и за некоторые повторения: слабость свойственную всем пожилым людям. Кроме того, в этом немного виновата сама жизнь, тоже болтливая и любящая повторяться, старушенка. Итак, дорогой друг-читатель, прошу у тебя еще чуточку терпения: ну, скажем, на пять или шесть других глав.

Ликвидировав наш магазин и мою "доходную" квартиру, у нас с Саррой оказалось много свободного времени, так что мы решили серьезно заняться изучением иврита. Дело оказалось крайне трудным из-за отсутствия хорошего самоучителя; а для хождения, в назначенные дни и часы, слушать, существующие почти при всех синагогах, курсы этого языка, и для приготовления заданных уроков, мы чувствовали себя слишком старыми. Все же, окружив себя имеющимися учебниками, книгами и словарями, мы смело взялись за его изучение. Это занятие заполнило наши досуги, а в погожие дни, не такие уж частые в Париже, мы уходили гулять в Булонский лес.

Так начался для нас этот, вероятно, самый счастливый период нашей жизни, и если бы не постоянные опасения за будущность Израиля, за существование независимого Отечества еврейского народа, опасения которые, порой, нам, буквально, не давали спать, на нашем горизонте не было бы ни одного облачка. С нашей стороны мы старались и стараемся помогать Израилю посильными денежными взносами и пропагандой.

У Меера за эти годы родилось двое детей: дочь Йоэль и сын Давид; а вскоре Меер, со всей своей семьей, эмигрировал в Израиль, и поселился в Беэр-Шеве, где ему дали место инженера-химика. Там же устроилась, по своей специальности, и его жена. Так прошли еще три года.

3 декабря 1971 года мне исполнилось шестьдесят лет. Я хотел бы воскликнуть: "Как быстро пролетели годы!" если бы и до меня не испускали такое же удивленное восклицание многие сотни миллионов людей.

Мне чрезвычайно наскучило, почти в каждой главе, рассказывать о моих визитах в парижскую Префектуру, а если эти повто-

рения так надоели мне самому то, воображаю, каково читателю. Но я не роман сочиняю, а повествую мою быль. Итак, 1 декабря, т. е. за два дня до шестидесятилетней годовщины моего рождения, я, как и во все предыдущие разы, с неприятным чувством, вошел в столь знакомый мне приемный зал Префектуры. В нем уже толпилась и шумела пестрая, космополитная толпа, и как и в прошлый раз, там находились молодые и пригожие чиновницы. Когда настала моя очередь, одна из этих дам вновь выразила мне все то же, коробившее меня, удивление:

— На какие же вы средства живете?

— Мы с женой живем на ее пенсию.

— Но, следовательно, вы лично не имеете никаких средств к существованию?

— Послушайте, мадам, если муж окончил работать, и перешел на пенсию, неужели спрашивают у его жены: на что она живет?

— Так то — муж, а то — жена.

— Я не вижу тут никакой разницы. Во Франции закон уравнял оба пола в правах и обязанностях.

— Все же это странно, и я не знаю, как мне с вами быть.

С этими словами она пошла советоваться со своим прямым начальником восседавшим, в том же зале, за отдельным столом. Выслушав ее, он что-то ей ответил, и они оба громко рассмеялись. Моя зеленая книжка была продлена еще на три года, но я, в который уже раз, почувствовал себя обиженным, и вообще вся эта дурацкая процедура мне сильно надоела. В тот же день, заполнив и подписав анкетный лист прошения о моем переходе на положение "привилегированного" иностранца, я послал его по почте в Префектуру. По прошествии семи месяцев я получил от нее запрос о некоторых, касающихся меня, деталях. Я обрадовался, решив, что это хороший признак, и послал ей, обратной почтой, все требуемые сведения. Прошло еще два месяца, но никакого ответа я не получал. В начале сентября, мы с Саррой отправились в Префектуру, для выяснения положения дел. Нас приняла чиновница, принадлежавшая к старому поколению. Выслушав нас, она достала папку с моим делом, и рассматривая его принялась странно посмеиваться. Мы подошли к ней ближе, желая понять причину этого неуместного веселья, но она довольно грубо прикрикнула на нас, и велела не подходить. Окончив чтение, веселая чиновница объяснила нам, что мы должны ожидать решения о котором, когда найдут это нужным, нас осведомят письменно. Мы вернулись до-

мой с чувством некоторого уныния, отлично понимая, что ответ вряд ли будет положительным. Дома мне пришла в голову мысль посоветовать Сарре написать ее депутату, прося его помочь нам в этом деле.

Депутат Сарры, личность весьма высокопоставленная и влиятельная, но человек милейший, объяснил ей, в подробном письме, что мой переход на положение "привилегированного" иностранного жителя очень затруднителен, но он постарается сделать все возможное. Вскоре я убедился в правильности местной поговорки: "Во французском языке слова "невозможно" не существует". В начале октября я был снова вызван в Префектуру, но не в общую залу, а в отдельное бюро, где молодая чиновница, без дальнейших слов, обменяла мою зеленую книжку на голубую. С этого момента я сделался "привилегированным", и мое право на жительство продлевалось раз в десять лет. Мои префектурные мытарства были окончены.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Война Йом-Кипур.

С первого года нашего переезда на жительство в Париж мы записались в члены "Еврейской Либеральной Общины". Этот выбор был нами сделан по двум причинам: во-первых, богослужение в нашей синагоге происходит на двух языках: французском и древнееврейском, что нам облегчало понимание молитв, и все обряды в ней были упрощены и модернизированы.

Во-вторых, "либеральная" синагога оказалась самой близкой к нашему дому.

На время праздников Рош-Ашана и Йом-Кипур наша община ежегодно нанимает большой музыкальный зал Плеель, и мы, неизменно, присутствовали там на торжественном Богослужении этих двух праздников.

Зал Плеель отстоит от нашего дома на расстоянии часа ходьбы, и такая прогулка, с каждым годом, становилась для нас все более утомительной; а садиться в метро, автобус или такси, во время поста Йом-Кипур, мы не хотели.

Не знаю почему, но в 1973 году я себя чувствовал более усталым, нежели в предыдущие годы, и в первый раз предложил Сарре провести эти праздники дома. В канун Йом-Кипур, после загов-

ления, мы остались сидеть у себя без света. Было непривычно и немного грустно без Кол-Нидрей и других молитв.

Вечером 29 сентября, мы зажгли свет, и пожелав друг другу и всем членам нашей семьи, быть записанными в Книгу Жизни, сели разговляться за праздничный стол. Жена принесла дымящийся, ароматный, куриный бульон, и разлила его по тарелкам, а я включил телевизор.

После Йом-Кипур 1945 года, когда в нашей танжерской синагоге мне довелось увидеть беженцев, приехавших из Европы, переживших все ужасы концентрационных лагерей гитлеровского режима, и во все время богослужения рыдавших как малые дети, я не испытал другого такого грустного разговления.

На экране телевизора французский спикер рассказывал как неожиданно, в этот торжественный день, на Израиль напали все арабские страны и, что египетские войска уже переправились через Суэцкий канал, и высадились на его восточном берегу. В Израиле, еще до окончания богослужения, правительство объявило всеобщую мобилизацию, и наша молодежь покидала синагоги, сменяя молитвенники на ружья. Враг напал на наше Отечество в самый святой для нас день. Никто не предвидел этой подлости. Я не столь наивен, и хорошо знаю, что на войне все хитрости законны; но все-таки!

Через два дня мы, как и все евреи Парижа, как и все евреи Франции и всего свободного мира, были приглашены на заседание одного из бесчисленных комитетов, организованных еврейскими союзами, для подачи спешной материальной помощи Израилю. Идя туда я взял с собой заранее приготовленный чек на довольно значительную, для нас, сумму; но на заседании, выслушав призывы к спасению нашего Отечества, я к этому чеку прибавил все имевшиеся при мне деньги.

Сарра очень волновалась о судьбе Меера, мобилизованного с первого часа открытия военных действий; но, слава Богу, ее сын остался невредимым.

Я не собираюсь, на этих страницах, рассказывать историю войны Йом-Кипур, но вполне согласен с нашим талантливым генералом Даяном: в эту войну, несмотря на очень тяжелые потери, Израиль одержал блестящую победу. Скажу больше: перед ней бледнеет победа, одержанная в Шестидневную войну. Атакованные внезапно, в самый разгар торжеств Йом-Кипур, наша маленькая армия, в несколько дней, геройскими усилиями израильских юношей

и девушек, восстановила положение на всех фронтах, окружила египетскую армию, находящуюся на нашей стороне, и сама перешла Суэцкий канал. По своему обыкновению ООН остановила военные действия, когда наши полки начали наступление на Каир, а на северном фронте израильская артиллерия уже громила предместье Дамаска.

Вечная память и слава героям Йом-Кипур! Многие из них не вернулись домой, и много было пролито слез; но враг понял, что даже неожиданное нападение, в самой середине поста, не может принести победы.

Разбитые и побежденные на всех военных фронтах арабские государства ответили нефтяной войной; но и эта война, подорвавшая вероятно, на многие десятилетия, экономику всего мира, не дала им победы над нашим Отечеством. Мир дрогнул и пошатнулся, но не Отечество наше. После этих событий мы решили отложить немного денег и через два, три года поехать на месяц в Израиль.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: Энтеббе.

Каждое лето мы с женой уезжаем на несколько недель куда-нибудь из Парижа, отдыхать от его шума и дыма.

Весной 1976 года мы навели справки об условиях поездки в Израиль, но морское агентство, к которому мы обратились, не смогло нам указать ни на один удобный пассажирский пароход, совершающий регулярные рейсы между портами Франции или Италии и Хайфой. Что касается воздушного сообщения, то в связи с участившейся пиратской деятельностью террористов, лететь самолетом нам не хотелось. На "семейном совете" было решено отложить поездку в Израиль до следующего года, а на это лето уехать в Италию. Такое решение имело еще то преимущество, что итальянская версия туризма была для нас едва ли не самой, с материальной точки зрения, выгодной, так как железнодорожный билет, для итальянских граждан, проживающих за границей, исключительно дешев, да и сама жизнь, в этой стране, благодаря низкому курсу лиры, не дорога. Сообща с Саррой мы выработали план путешествия.

1 июня, с вечерним поездом, мы уехали в Стрезу, где провели, в этом очаровательном городке, на берегу озера Маджере, три недели. Там мы получили письмо от Меера из Беэр-Шевы, в ко-

тором он нам сообщал, что в начале лета, по долгу службы, должен отправиться в Брюссель, куда вылетает самолетом в воскресенье 27 июня. Из Стрезы, 21 июня, мы уехали в Болонью. Остаток наших каникул было решено провести на адриатическом побережье, в одном из южных предместий Римини.

Совсем недалеко от нашего отеля в Болонье находилась витрина, в которой вывешивались все ежедневные местные газеты. В Париже мы очень устали от постоянной политики, которой нас усиленно питал наш телевизор, а потому я "декретировал" полный запрет, на время каникул, читать газеты и слушать радио. По моему мнению мы оба нуждались в душевном отдыхе, так как слишком сильно переживали все сведения, касающиеся Израиля. Но в Болонье, несмотря на мои протесты, каждый вечер, гуляя, Сарра останавливалась перед газетной витриной и прочитывала внимательно все заголовки новостей дня.

В воскресенье вечером 27 июня, накануне нашего отъезда в Римини, мы, по настоянию жены, вновь остановились перед этой витриной. На странице одной из газет, в рубрике новостей последнего часа, сообщалось о захвате террористами самолета, типа "Эрбюс", принадлежавшего обществу "Эр Франс", совершавшего регулярные рейсы между Лодом и Парижем. Этот самолет, благополучно вылетев из Лода, после его остановки на афинском аэродроме, был захвачен пиратами. На борту самолета находилось более ста израильтян.

Первой мыслью моей жены было: "Сегодня Меер вылетает из Тель-Авива в Брюссель; что если он решил вначале посетить Париж, город в котором, кроме сестры Люсьен, проживали еще несколько его старых друзей-сослуживцев?" Утром, садясь в поезд, идущий в Римини, мы купили итальянские газеты, из которых узнали, что "Эрбус Эр Франс", опустился в Ливии на бенгазийском аэродроме. Пока это было все, что нам удалось узнать. Имена пассажиров нам оставались неизвестными.

На следующий день газеты оповестили о дальнейшей судьбе французского самолета, вынужденного опуститься в Уганде, на аэродроме Энтеббе, и об ультиматуме террористов, предъявленном правительству Израиля, угрожавший смертью всем находящимся на борту израильтянам, если их требования об освобождении заключенных в тюрьмах других террористов, не будет удовлетворено.

Мы продолжали ничего не знать о местонахождении Меера,

но я, как мог, старался успокоить жену, утверждая, что ее сын, по всей вероятности, вылетел прямо в Брюссель, так как в Париже делать ему было нечего. Это мое утверждение, к счастью, впоследствии оказалось справедливым. Но и помимо Меера, судьба сотни евреев, над которыми нависла угроза ужасной смерти, превратила всю эту первую неделю нашего пребывания в Римини, в настоящий кошмар. Утром 4 июля мы зашли в ближайшую от нашего отеля лавчонку, с целью купить в ней кое-какие продукты. И вдруг я насторожился — до меня донесся обрывок фразы спикера, передававшего по радио последние сведения ночи: "Израильский воздушный десант, после внезапного ночного захвата аэродрома Энтеббе, убив всех террористов, освободил заложников"; затем последовали другие утренние сведения и музыка.

"Сарра, — спросил я жену, — ты ничего не слышала? Может быть я ошибся и плохо понял спикера? Возможно ли? Кажется, что заложники освобождены израильским воздушным военным десантом".

Вскоре все итальянские газеты, в восторженных статьях, описывали подробно как этой ночью Израиль, на расстоянии 4000 километров от своих границ, освободил евреев из рук их врагов.

История этой геройской, воздушнодесантной операции, носящей теперь имя ее вождя, заплатившего своей молодой жизнью за спасение сотни своих братьев, подполковника Йонатана Нетаниагу, можно найти в прекрасной книге "Энтеббе", авторы которой: И. Бен-Порат, Е. Габер, З. Шиф.

Славное имя Йонатана вошло в длиннейший список наших мучеников и героев.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ТОМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ОТЕЧЕСТВЕ

Совершилось! Возвратившись
К Отчему Порогу,
Мы пред ним теперь, склонившись,
Шлем хваленье Богу.

Наши предки, средь страданий,
Веру сохранили,
И тебя, Солим, в изгнаньи
Мы не позабыли.

Твое имя нас сзывало
Словно горн в битвах —
В песнях наших нам звучало
В гимнах и молитвах.

Не угасло в душах пламя
Верности святое!..
Над Солимом вьется знамя
Бело-голубое!

Я думал создать из нашей, в конце концов, обыкновенной туристской поездки, нечто вроде апофеоза; но приехав в Израиль, и ступив на ее святую землю, я испытал не восторг, который можно было бы выразить рядом громких фраз, а скорее тихую радость очень усталого путника, после длинного и тяжелого пути, добрав-

шегося до отчего дома, и воскликнувшего, упав тяжело в покойное кресло, стоящее перед пылающим камином: "Слава Богу! но как я устал!" Поэтому я приступаю теперь к самому обыкновенному описанию нашего путешествия.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: К берегам "Отчизны дальней".

В самом начале весны 1977 года, мы с женой принялись энергично за реализацию нашей поездки в Израиль. Мы надеялись, что существуют пассажирские пароходы, плавающие по Средиземному морю под бело-голубым флагом; но, увы! таких не оказалось. Наведя дальнейшие справки, нам удалось узнать о существовании двух пароходных обществ: греческого и итальянского, суда коих совершали регулярные рейсы между Венецией и Хайфой. Мы выбрали итальянский пароход, отплывавший из Венеции, в понедельник 25 апреля. Перед вечером, 24 апреля, старшая дочь жены, Люсьен, приехала за нами, в компании своего мужа, и отвезла нас, в собственном автомобиле, на Лионский вокзал. Поезд отходил в 20 часов.

На следующее утро, в 7 часов 30 минут, мы прибыли в Местре. Выйдя из вагона, мы быстро убедились, что здесь никто ничего толком не знает, а автобус, долженствовавший доставить нас в венецианский порт, не пришел. Какой-то итальянский чиновник железнодорожного ведомства, к которому я обратился за справками, вообще усомнился в существовании нашего парохода, отнеся его к области мифологии. Нам все это крайне надоело, и сговорившись с одной из пассажирок, очень милой английской дамой, мы, сообща с ней, наняли такси и поехали в порт. Во всем венецианском порту не оказалось ни одной приличной кофейни, в которой можно было бы провести несколько часов остающихся до отплытия. Было холодно и дул неприятный, сырой ветер, но мы, предусмотрительно, взяли с собой в дорогу теплые пальто и шарфы.

В ожидании нашего парохода понемногу собрались в порту и другие пассажиры. Большинство из них были евреи, но мы довольно близко познакомились с одной молодой французской девицей, уже второй раз едущей в Израиль, и мечтавшей там остаться навсегда, приняв израильское гражданство. Ее только смущала

религия, так как, будучи католичкой, она, не без основания, предвидела для своей натурализации некоторые затруднения.

Пускаясь в столь дальнюю дорогу, и справедливо предполагая встретить на своем пути резкие перемены температуры, мы взяли с собой много багажа, главным образом одежды, и потому были нагружены сверх меры. Молодая француженка, сообща с алжирским евреем, "поднимающимся", в Израиль, помогли нам перенести наш багаж в таможню и на борт. Этот еврей эмигрировал со всей своей семьей: женой и двумя сыновьями, шести и десяти лет. Переехав из Алжира во Францию, он очень скоро понял, что для молодого еврея, несмотря на все трудности жизни и возможные опасности, существует только одна страна в которой он будет себя чувствовать дома — Израиль.

Наша каюта, за которую мы заплатили довольно дорого, оказалась комфортабельной, и мы в ней хорошо устроились.

Пароход отчалил, и в наступающих вечерних сумерках скрылась на севере "Царица Адриатики". Проснувшись на рассвете, через окно нашей каюты мы были свидетелями очень красивого восхода солнца.

Живя в Париже, и видя перед собой, на другой стороне довольно узкой улицы, окна и стену шестиэтажного дома, наблюдать подобные спектакли природы невозможно, и от них отвыкаешь. Тем сильнее они поражают своей красотой непривычного к ним зрителя.

В кают-компании мы перезнакомились с большинством пассажиров. Между прочим, среди них находился какой-то левантинец, уже довольно пожилой господин, кажется иранский подданный. Он ехал в Израиль лечиться от весьма сложной болезни, и уверял, что самые лучшие врачи, на всем ближнем и среднем востоке, находятся в Израиле.

По мере продвижения к югу погода делалась все более и более теплой. После обеда, довольно посредственного, мы вышли на палубу полюбоваться южной Адриатикой. С левого борта виднелся далекий берег Албании. К вечеру он исчез. Уже глубокой ночью, все с того же левого борта, показались огни Корфу. Море не волновалось и качки, к счастью, не было. Утром, после прекрасно проведенной ночи, мы поднялись на палубу. Ровно в 8 часов наш пароход вошел в Коринфский канал. Этот канал я уже и раньше видел, так как пару раз пересек его по железной дороге, но теперь мне удалось его рассмотреть не сверху, а снизу. Чтобы

проплыть шесть километров, составляющих длину этого канала, нам понадобились полтора часа. В 11 часов мы вошли в Пирейский порт. Во время наших с женой предыдущих туристских путешествий, мы несколько раз бывали в Греции, и в частности: Пирей, Афины и Коринф, нам были хорошо знакомы. В полтора часа пополудни пароход покинул Пирей. Несколько лет тому назад мы прожили пару дней в этом портовом городке, и можем честью заверить читателя, что нигде так отвратительно не кормят как в его ресторанах.

Вскоре нас начало немного качать. Поздно вечером мы остановились часа на два в Лимасоле (Кипр). На следующее утро все пассажиры высыпали на палубу: на горизонте медленно вырисовывались еще далекие побережья Израиля. Забелели дома красавицы Хайфы, заблестел ее золотой купол. Пароход довольно долго стоял на ближнем рейде. Всюду веяли бело-голубые знамена со щитом Давида.

В здании таможни мне сразу бросился в глаза, висящий на стене, большой портрет отца сионизма и пророка современного Израиля, Теодора Герцля.

Во время контроля багажа, один из таможенных чиновников спросил нас: не везем ли мы что-либо нам лично не принадлежащее, но которое было нами взято для передачи кому-нибудь, по просьбе наших знакомых или друзей? Мы его успокоили по этому поводу.

"Я вас предупредил, дабы ваше пребывание в Израиле прошло для вас вполне благополучно", — сказал он нам, слегка улыбаясь.

У выхода из двора таможни нас ждал Меер со всей своей семьей.

Остаток дня мы провели в пути, в его автомобиле: обедали в одном из придорожных ресторанов, посетили мастерскую прекрасной израильской скульпторши, и т. д. В пути дети Меера нам пели еврейские и французские песни. Ночью мы приехали в Беэр-Шеву.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Месяц в Израиле.

Беэр-Шева, где уже несколько лет живет сын жены со своей семьей, является столицей юга Израиля, и стоит на самой границе Негевской пустыни. Население его немногим превышает 100.000

человек, но разбросан он очень широко, благо — кругом него пустыня; город быстро растет.

Когда, лет восемь тому назад, Меер впервые приехал в этот город, он поселился в доме, стоящем в самом конце улицы, и на присланной им фотографии можно было ясно видеть его дом, а рядом с ним начало каменистой пустыни. Теперь он не живет в нем больше, а приобрел себе прекрасную квартиру, ближе к центру города, но на следующий день после нашего приезда повез нас показать нам свое первое местожительство. Мы узнали дом, изображенный на фотографии, но пустыни возле него больше не было, а вместо нее стояли ряды многоэтажных домов и тянулась длинная улица. За эти несколько последних лет город сильно вырос.

В компании Меера мы посетили памятник павшим, и при нем карту военных действий, которая объясняла, как наши войска, во время войны за независимость, в 1948 году, освободили город.

На окраине туристам показывают место, на котором, по преданию, стояла Беэр-Шева времен Патриархов. Замечу, что текст православной русской Библии, в отличие от других, различает основанное Авраамом селение: Вирсавия, от города основанного Исааком: Беэршива.

"Потому и назвал он сие место: Вирсавия: ибо тут оба они клялись."

על-כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שנהם

Бытие: XXI — 31.

"И он назвал его: Шива. Посему имя городу тому Беэршива до сего дня."

ויקרא אתה שבעה כל-כן שם-העיר באר שבע עד היום הזה.

Бытие: XXVI — 33.

Кто же из двух Великих Патриархов был основателем современной Беэр-Шевы?

В первое утро после нашего приезда, еще до завтрака, мы с женой вышли погулять, и решили, с риском заблудиться, совершить маленькую экскурсию. В одной из ближайших улиц, у двери своего домика, сидела пожилая женщина. Услыхав французскую речь, она заговорила с нами на этом языке, и рассказала нам, что она североафриканская еврейка, но уже много лет живет в Беэр-Шеве. Узнав от нас, что мы приехали сюда только на месяц, она удивилась: "По-

чему вы не остаетесь жить в Израиле? Тут мы у себя дома, и пожилым людям государство всячески помогает. Зачем, на старости лет, продолжать жить в изгнании, когда у нас теперь есть собственная страна?" Она была примером удачного "поднятия" в Израиль, и слушать ее нам было очень приятно.

Мне хотелось познакомиться с русскими евреями. В Беэр-Шеве оказались не один, а целых два центра, вокруг которых группировались все выходцы из СССР. Была там и небольшая русская библиотека, состоящая, главным образом, из советских изданий. Знакомиться с людьми в Израиле легко, не то что во Франции, и мне удалось интервьюировать некоторых из них. Главным образом меня интересовали мотивировки их отъезда из Советского Союза, и их теперешнее самочувствие на Земле Отцов. Их ответы сводились, приблизительно, к следующему: на Родине их не очень преследовали, а так: самую малость; но быть париями даже "самую малость", все же неприятно. Вот они и уехали в Израиль. Одна русская еврейка мне объяснила причину своего отъезда из Советского Союза, причину с которой я, полностью, согласиться не могу: "В СССР царствует режим диктатуры — полное отсутствие свободы, и я приехала в Израиль, чтобы вырваться на волю. Выбор страны мне был продиктован моим еврейским происхождением; но если бы я и не была еврейкой, то все равно попыталась бы уехать куда-нибудь на запад". Как еврейку я ее вполне одобряю: она променяла Родину на Отечество; но если бы она была настоящей русской и, при этом, над ней не висела бы угроза тюрьмы, ссылки или чего-нибудь еще хуже, то я бы ей никогда не советовал менять Отечество на чужбину. Лучше жить в своей собственной лачужке, чем в чужих хоромах. Плохая штука — чужой дом; а в своем и стены помогают. Родина — случайна, но Отечество неизменно, и ему изменять не следует. Вспомните о многих сотнях тысяч русских беженцев, и об их, в большинстве случаев, столь жалкой судьбе. Кстати добавлю, что я заметил у некоторых русских евреев желание покинуть Израиль, и уехать жить в одну из западных стран. Раз возвратившись жить в свое Отечество, ни в коем случае не следует покидать его.

1-го мая Меер был свободен, и пользуясь этим, повез нас и детей показывать нам пустыню, Мертвое море и Массаду.

Камениста пустыня Негева, в ней нет песков, и воздух ее жарок, чист и сух. Когда там дует ветер хамсин, ртуть в градуснике легко подымается до 40° в тени, и тогда, для нас, за тысячелетия изгна-

ния, привыкших к умеренному европейскому климату, переносить подобную температуру, весьма трудно. Но в остальное время сухость и чистота ее атмосферы приятны. Мы поднялись на Массаду. Какие горестные исторические воспоминания навеивает, на всякого еврея, эта вершина холма с остатками дворца Ирода и укреплений Элеазара Бен Яира. Здесь пали последние защитники нашего древнего Отечества, предпочитая смерть рабству; и с этого столь героического и трагического часа наступили долгие века изгнания, во время которых, к постоянным жестоким преследованиям нашего народа, присоединились глумления над ним, и легенды об его трусости. Да не повторится "Массада" больше никогда! Удивительное зрелище представляет собой Мертвое море: издали кажется, что оно катит к своим берегам волны, покрытые белой пеной, и удивляешься, что не доносится до твоего слуха шум прибоя; но приблизившись, видишь, что волны неподвижны и мертвы, а их пена — не пена, но соль. Все там покрыто солью, и глядя на соляные глыбы у его берегов, зрителю начинает чудиться некоторое сходство этих глыб с человеческим обликом; может быть даже с женским. Не это ли жена Лота, пожелавшая, в последний раз, несмотря на строгий запрет, оглянуться назад, чтобы увидать кровлю своего родного дома? Но немного дальше стоит другая, приблизительно такой же формы, соляная глыба; а дальше еще другая... Да сколько же жен имел Лот?!

Я убежден, что если бы сделать раскопки на дне Мертвого моря, то нашли бы там развалины двух библейских городов, на территории которых не нашлось и десяти праведников.

Во время нашего пребывания в Израиле, мы несколько раз возвращались в Беэр-Шеву, к сыну жены, и в общей сложности пробыли там около двух недель. Остальное время мы с Саррой путешествовали, осматривая нашу страну.

Первым городом, куда мы направились прямо из Беэр-Шевы, был Тель-Авив. В нем мы остановились, в довольно комфортабельной гостинице, в самом центре города. Первое, что я увидел в ней, и, что меня глубоко тронуло, это мезузы на косяке каждой двери каждого номера. Иногда малая деталь заставляет тебя почувствовать, сильнее всех громких речей и звонких песен, что ты действительно находишься в стране твоих отцов. Утром мы сошли завтракать в столовую, довольно обширную комнату. На огромном столе стояло множество всякой всячины: кофе, молоко, чай,

фруктовый сок, масло, сметана, сыр, яйца, маслины и т. д. Каждый житель гостиницы, выбрав свободный столик, мог брать себе на завтрак все, что хотел, и сколько хотел. Молодая девушка — сабра, сидя за отдельным столом, следила за порядком, приносила, в случае нужды, недостающие блюда, и помогала клиентам. В глубине комнаты сидела другая дама и вела счетные книги. Она оказалась русской еврейкой. Во время завтрака электрофон, почти беспрерывно, передавал модную французскую песню, выигравшую, в этом году, первый приз на европейском конкурсе. Утром третьего дня, музыки не было: случилось большое несчастье: упал израильский военный самолет, и на нем погибло несколько летчиков. Молодая сабра была печальна, и голосом, дрожавшим от волнения, рассказывала клиентам о происшедшей катастрофе. Я понял до какой степени все в Израиле составляют одну семью, и каждая жизнь дорога всем его гражданам. Ночной Тель-Авив, при свете неоновых реклам, довольно красив, и производит впечатление большого города, но днем ясно видно, что он был построен пионерами. Нет нужды! Тель-Авив является великолепным памятником тем героям, которые, в ужасных климатических условиях, в окружении враждебно настроенного населения, и смело опровергая известную параболу Христа, строили на песках первые дома "Весеннего Холма".

В предместьях Тель-Авива, проживают несколько семейств близких родственников моей жены. Один из ее двоюродных братьев очень желал, чтобы мы поселились у него. Я поблагодарил, но отказался — такое гостеприимство весьма приятно, но отнимает свободу передвижения, тем паче, что он жил далеко от центра.

Целыми днями мы слонялись по городу, стараясь осмотреть все что было возможно. Два раза пытались посетить музей Бен Гуриона, но всякий раз он бывал закрыт для посетителей. В Реховоте живет старшая двоюродная сестра моей жены, и выбрав день, мы наняли такси, и с утра поехали в этот город. Все утро было нами посвящено осмотру Института Вейцмана. Там мы посетили его могилу. Он похоронен в собственном саду, недалеко от своего дома. Рядом с его могилой находится могила его жены. Среди личных документов Хаима Вейцмана, которые показывают публике, я нашел портрет его отца, и был поражен семейным сходством этого последнего с моим дедом, Давидом Моисеевичем. Проживающая в Реховоте двоюродная сестра моей

жены, старая сионистка, вскоре по окончании Второй мировой войны и образования Израиля, переехала туда из Марокко, с мужем и двумя детьми. Ее старший сын, сообща с некоторыми другими марокканскими евреями, основал в Негеве новый кибуц. Много позже все они переехали жить в Реховот. Вторую половину дня мы провели у нее.

До сих пор я следовал строгому хронологическому порядку, но конец нашего туристского пребывания в Израиле я буду описывать в порядке наиболее для меня удобном.

На морском побережье, к югу от Тель-Авива, лежит маленький, но очень привлекательный, городок: Ашкелон. Там живет, со своей женой, другой двоюродный брат Сарры, тоже горячий сионист. Недавно Меер приобрел рядом с его домом небольшую дачу с садом. От нее рукой подать до, известного во всей стране, ашкелонского пляжа. Один из субботних дней мы провели в этом городе, в компании Меера и двух двоюродных братьев жены. Недавно в Ашкелоне были произведены интересные раскопки, и найдены хорошо сохранившиеся саркофаги.

В конце нашего пребывания в Израиле мы поехали в Тибериад. Сам город довольно неказист, хотя в его верхней части построили ряд прекрасных и дорогих гостиниц; но они нас мало интересовали. В старой части города мы разыскали могилу Маймонида, и посетили небольшой, но довольно интересный, археологический музей. Во второй день нашего пребывания в Тибериаде мы совершили, на туристском пароходике, прогулку по озеру. Накануне отъезда из этого города мы приняли участие в коллективной, сделавшейся классической, поездке в автокаре по северу Израиля, до Голанского плоскогорья. Там мы остановились около нашего пограничного поста, и выйдя из автокара, подошли к двум военным, стоявшим на бугре, около знамени Израиля. Дальше по шоссе, в двухстах метрах от нас, находился пост голубых касок, а еще дальше, на расстоянии километра, виднелись: сирийская граница и первые дома Кенитры. На обратном пути наш автокар остановился у подножия горы Хермон, места зимнего спорта. Некоторые туристы, в их числе и я, пожелали подняться на его вершину, но фуникулер, в тот день, не действовал. Потом мы посетили развалины замка крестоносцев, и вечером вернулись в гостиницу. Забыл добавить, что, в начале нашей поездки, на

берегу Тиберского озера, наш проводник и комментатор указал нам на несколько развалин, пояснив, что это все, что осталось от города Магдалы, но там еще можно видеть могилу святой грешницы.

Ветхозаветные воспоминания великолепно уживаются в Израиле с евангелистскими, а тысячелетние могилы царей, пророков и патриархов, с шоссейными дорогами, автокарами и железобетоном. Последнюю главу я посвящаю нашему пребыванию в Иерусалиме.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Иерусалим.

Приезжая впервые в какой-нибудь незнакомый мне город, у меня всегда рождается к нему чувство, похожее на то, которое испытываешь при знакомстве с новым человеком. Некоторые города мне совершенно не нравятся и вызывают к себе род антипатии и неприязни; а другие, напротив, порою приводят меня в восторг, и я, положительно, в них влюбляюсь. Не то я почувствовал в Иерусалиме. Красив ли он? — я не знаю; но если бы я был волен, помимо всех жизненных трудностей и обязанностей, выбирать для себя место моего постоянного жительства, то остановился бы на нем.

Иерусалим есть Иерусалим: царь всех городов мира, как в старину говорили русские. Его нельзя сравнить ни с чем. Он — столица монотеизма; столица трех религий. Его западная половина (Новый город), представляет собой ряды широких улиц, с красивыми домами. Там же находится великолепный дворец Кнессета, который нам, увы, не удалось посетить. Старый город, замкнутый в своих древних стенах, заключает в себе наибольшие святыни евреев, христиан и, отчасти, мусульман.

Желая рассказать про наше посещение Иерусалима, я, положительно, не знаю, с чего начать. В первый день мы столько ходили по его улицам, что к вечеру, буквально, свалились от усталости. Одной из самых интересных достопримечательностей нового города, которую нам удалось осмотреть, был археологический и исторический музей имени Герцля, находящийся недалеко от здания Кнессета. Между множеством других редких документов этого музея, особенно интересны знаменитые рукописи Мерт-

вого моря. Около музея расположено военное кладбище, на котором, отдельно, находятся могилы Герцля и Жаботинского.

Первая святыня, которую мы посетили, расположенная с внешней стороны стены Старого города, была могила царя Давида. Около нее сидел старый раввин. Узнав, что мы евреи, он подозвал нас к себе и благословил.

Древний Иерусалим, как мне тебя описать? Много часов мы посвятили хождению по твоим узким и кривым улицам. На твоем месте был еще дикий холм, когда Авраам, по велению Всевышнего, привел на него, для заклания, единственного своего сына, Исаака, рожденного ему его любимой женой, Саррой. Много веков спустя царь Давид отвоевал это место у древних народов, и основал там столицу Израиля, Иерусалим; а сын его, Соломон, построил в нем Храм Богу Единому. Потом потекли века, и древние стены Святого Города, видели вавилонян и персов, греков и воинов-освободителей Иуды Маккавея. Разрушались и вновь восстанавливались его стены. Был построен Второй Храм. Позже пришли римские легионы. Вновь, за свою независимость, восстали наши предки, и на короткий срок изгнали римлян из его стен. Но вернулись они, и несмотря на мольбы принцессы Вереники, Титус сжег Храм, и ознаменовал этим начало двухтысячелетнего рассеяния нашего народа. Потом пришли византийцы и арабы. Пришли крестоносцы и снова ушли. Все здесь побывали: крестоносцы и арабы, турки и англичане. Кто еще? Но Иерусалим был и остался столицей Иудеи, столицей Израиля, и нашей первейшей святыней, и останется ею навеки. Теперь он вновь освобожден, и вновь ему угрожают враги. Да не попустит Господь!

Солнце жжет, и дует хамсин. Я смотрю на твои стены, о Иерусалим! И мне вспоминается Песня Песней (Шир ха-Ширим). Какое замечательное поэтическое произведение!

Извиняюсь перед раввинами, а заодно и перед христианскими священниками, утверждающими, что Песня Песней есть символ любви Бога к Субботе, или к церкви; но я этому совершенно не верю. Я слышал, что когда окончательно составлялся и утверждался текст Ветхого Завета, был поставлен вопрос об исключении этого произведения из Библии, но один из членов комиссии, более мудрый и чуткий к красоте чем другие, спас его, выдумав символическое объяснение, к счастью принятое всеми. Я перечел сейчас строки, единственной по красоте, поэмы, написанной рукою Великого и Мудрого Царя, страстно влюбленного в свою Сула-

мифь, в загорелую и простую девушку из виноградника. Кстати: красива ли была Суламифь? Я глядел на башню Давида и думал: не это ли та самая "Ливанская башня, обращенная к Дамаску", с которой, шутя, сравнивал Соломон нос своей возлюбленной? Правда, она сама говорила: "Дщери Иерусалима! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что смугла; ибо солнце опалило меня".

Хороша я и смугла,
Дочери Солима!
Не корите, что была
Солнцем я палима, —
Не найдете вы стройней
Пальмы на Энгаде:
Дети матерей моей
За меня в разладе.
Я за братьев вертоград
Ночью сторожила,
Да девичий виноград
Свой не сохранила...

Сплю, но сердце мое чуткое не спит...
За дверями голос милого звучит:
"Отвори, моя невеста, отвори!
Догорело пламя алое зари;

Над лугами, над шелковыми,
Бродит белая роса
И слезинками перловыми
Мне смочила волоса;

Сходит с неба ночь прохладная —
Отвори мне, ненаглядная!"

— "Я одежды легкотканные сняла,
Я омыла мои ноги и легла,
Я на ложе цепенею и горю —
Как я встану, как я двери отворю?"

Милый в дверь мою кедровую
Стукнул смелою рукой:

Всколыхнуло грудь пуховую
Перекатною волной,

И, полна желанья знойного,
Встала с ложа я покойного.

С смуглых плеч моих покров ночной скользит;
Жжет нога моя холодный мрамор плит;
С черных кос моих струится аромат;
На руках запястья ценные бренчат.

Отперла я дверь докучную:
Статный юноша вошел
И со мною сладкозвучную
Потихонько речь повел —

И слилась я с речью нежною
Всей душой моей мятежною.

Все шестьдесят моих цариц
И восемьдесят с ними
Моих наложниц пали ниц
С поклонами немыми.

Перед тобой, и всей толпой
Рабыни вслед за ними, —
Все пали ниц перед тобой
С поклонами немыми.

Зане одна ты на Сион
Восходишь, как денница,
И для тебя озолочен
Венец, моя царица!

" — Мой возлюбленный, милый мой, царь мой и брат,
Приложи меня к сердцу печатью!
Не давай разрываться объятью:
Ревность жарче жжет душу, чем ад,

А любви не загасят и реки —
Не загасят и воды потопа вовек...
И — отдай за любовь все добро человек —
Только мученик будет навеки!"

Отрывки из перевода Песни Песней
русского поэта Л. Мея (1822–1862).

Во время нашего пребывания в Иерусалиме мы посетили и христианские святыни: гробницу Христа, гробницу Марии, его матери, и дом, в котором она, по преданию, провела последние годы своей жизни, и умерла.

Русский поэт, Иван Бунин, так описал мать Христа:

Лет пятнадцать;
Ожерелье из серебрянных монистов;
На руках татуировка;
Легкий хитонный покров;
Загорелая, босая...

. . . .

Сколько святой были и прекрасных легенд заключает в себе история Израиля!

Совершенно случайно, в одном из туристических бюро, мы получили приглашение на торжественный прием, по случаю десятилетия объединения Иерусалима, у президента Израиля, Кацира. Прием состоялся в его резиденции, 9 мая в 10 часов утра. Президент произнес речь, пожал нам всем руки, и угостил коктейлем. "Наси" произвел на меня чарующее впечатление милейшего и простого господина. Одна из туристок, американская еврейка, жившая с нами в одной гостинице, привезла ему из Америки, от их общих знакомых, привет, и они расцеловались. По окончании официальной части приема, хор молодых девушек, под аккомпанемент гитары, вместе с солисткой, пропели несколько еврейских песен.

На прощание мы все получили по экземпляру копии декларации независимости Израиля. В тот же день, в 13,5 часов, мы совершили паломничество к наибольшей святыне нашего народа: к Стене Плача. Я стоял перед Святой Стеной, и в душе горячо благодарил Предвечного, что Он привел меня, быть может первого из многих

десятков поколений моих прямых предков, коснуться Стены Храма.

Не одному автору истории собственной жизни еще не удалось ее довести до естественного конца всякой человеческой биографии: "Кончаю, потому что сегодня, такого-то числа, часа и минуты, меня не стало". Я считаю, что склонившись перед Стеной Плача, я достиг высшей точки моей автобиографии,... и прекращаю ее.

Париж, 30 ноября 1978 года.

КОНЕЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ